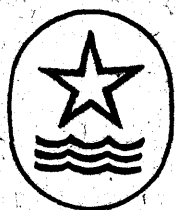


05. 570
3515

Sundeksemplar.

VIISNURK



MAI/JUUNI

1941

S I S U K O R D

J. VARES-BARBARUS:	1940. a. (21./VI) pööre ja eesti kirjanduse perspektiivid. Artikk.	387
M. J. LERMONTOV:	Poeedi surm. Mõtiskelu. Poeet. Ennustus. Hädaaega... Tamaara. On igav ja kurb, Äike. Luuletused. Tõlk. M. Under	397
B. EICHENBAUM:	M. J. Lermontov. Artikkel	406
M. J. LERMONTOV:	Deemon. Katkend. Tõlk. J. Sumakov	417
N. BELJAVSKI:	Lermontov kunstnikuma. Artikk.	420
M. J. LERMONTOV:	Vilmaseld luuletusi. Tõlk. A. Oras	427
	Laul kaupmees Kalašnikovist. Katkend. Tõlk. H. Adamson	433
V. UIBOPUU:	Falkide peal. Novell	438
J. VAHTRA:	Kui tahtsime avaldada artiklit Nõukogude Vene graafika üle. Mälestus	456
K. MAID:	Kevadöö improvisatsioon. Luulet.	460
E. UIBO:	Lumelill. Luuletus	460
JOH. BUVEN:	Oma tuba, oma luba. Novell	462
M. NAUMOVA:	Praktika osa tunnetuses. Artikk.	488
A. SANG:	Müüdi mind. Ihnus. Luuletus	497
L. SOONPÄÄ:	Formalismist. Artikkel	500
V. BAAM:	Constantin Meunier' kaks reljeefi Tallinnas. Artikkel	503
I. EHRENBURG:	Unenägude vabrik. Novell	506
E. L.:	A. Lalkmaa mõtteld kunstist. Artikkel	518
E. AAVASAAR:	Tähelepanekuid Jaan Kärneri lüürlku-teenkonnalt. Artikkel	522
BINGVAADE:		
J. GENSS:	Lermontovi teoste illustreeritud väljaandeist. Artikkel	527
H. PARREST:	Kunstidekaadi eelvõistluse puhul Tallinnas. Artikkel	530
P. VIIDING:	Töötajate olukorrast Prantsusmaal. Artikkel	532
K. E.:	Maksim Gorki: Okurovi linnake. Arvustus	535

REPRODUKTSIOONE:

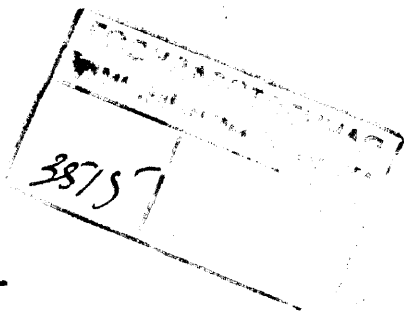
A. Klünder'ilt, M. Lagorlolt, A. Lalkmaalt, M. J. Lermontov'ilt, V. Masjutin'ilt, C. Meunier'ilt, L. Pasternakilt, N. Puzõrevskilt
K. N. Savitski'lt, M. Vasnetsov'ilt, M. Vrubel'ilt.



A. Klünder

M. Lermontovi portree

12 1946-47
10 1946-47



Демоно

I.

Ночью демон, дух изгнанья,
Внушает под сводом голубином,
И лирична днй воспоминанья
Чредой тоскливых передо мной;
Милая днй, когда он небеса зливил,
Когда ширится на славу Бога
И обращается отъ него,
Когда заботы и тревога:
Чурданья чужа его,
Как днй вбится прако точили,
И много много... и все
Представитъ не. и много оное сими.

AR Pr. R. Kreutzfeldt
nim. ENSV Rijk
Raamtuksu

57 714

В И Й С Н У Р К

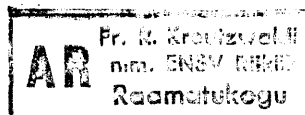
VIISNURK — ПЯТИУГОЛЬНИК

№ 5/6

RESÜMEE — PEZJOME

С О Д Е Р Ж А Н И Е: (SISUKORD)

Н. ВАРЕС-БАРВАРУС:	Переворот 1940 г. (21/VI) и перспективы эстонской литературы. Статья	357
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ:	Смерть поэта. Дума. Поэт. Предсказание. Прощай, немая Россия . . . Тамара. И скучно и грустно. Стих. Перев. М. Ундер	397
Б. ЭЙХЕНБАУМ:	М. Ю. Лермонтов. Статья	406
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ:	Демон. Отрывок. Перевод Ю. Шумакова	417
Н. БЕЛЯВСКИЙ:	Лермонтов-художник. Статья	420
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ:	Последние стихотворения. Перев. А. Ораса	427
„	Песня про купца Калашникова. Отрывок. Перев. Х. Адамсона	433
В. УЙБОПУУ:	На бревнах. Новелла	438
Л. ВАХТРА:	Как мы хотели напечатать статью о советской графике. Воспоминания	456
К. МАЙД:	Импровизация весенней ночью. Стих	460
Э. УЙБО:	Подснежник. Стих.	460
И. РУВЕН:	В своем доме — своя воля	462
М. НАУМОВА:	Роль практики в познании. Статья	488
А. САНГ:	Продали меня. Скупой. Стих	497
Л. СООНПЕА:	О формализме. Статья	500
В. РААМ:	Два рельефа К. Менше в Таллине. Статья	503
И. ЭРЕНБУРГ:	Фабрика снов. Новелла	506
Э. Л.	Мысли А. Лайкмаа об искусстве. Статья	518
Э. ААВАСААР:	О поэтическом пути Яна Кярнера. Статья	522
О Б О З Р Е Н И Е :		
Ю. ГВНС:	Иллюстрированные издания произведений Лермонтова. Статья	527
Г. ПАРРЕСТ:	О предварительном соревновании таллинских театров. Рецензия	530
П. ВИЙДИНГ:	О положении трудящихся во Франции. Статья	533



57 714

МАЙСКИЙ — ИЮНЬСКИЙ „ВИЙСНУРК“

На этот раз новый номер „Вийснурка“ (май-июнь) не посвящен, подобно предыдущим какой-нибудь из братских республик. Основным содержанием номера являются посвященные Лермонтову статьи и переводы его стихотворений. Следует отметить, что эстонское молодое поколение почти-что не знакомо с творчеством Лермонтова. Хотя стихотворения Лермонтова и имеются в переводе на эстонский язык, но эти переводы сделаны преимущественно давно, еще задолго до первой империалистической войны и поэтому не удовлетворяют требованиям современного эстонского читателя. В связи со 100-летним юбилеем Лермонтова ряд эстонских поэтов принялся за перевод стихотворений гениального поэта. Откликаясь на юбилей Лермонтова, новый номер „Вийснурка“, так же как и др. эстонские журналы, приводит богатый переводный материал из творчества Лермонтова.

С жизнью и творчеством поэта читателя знакомит статья В. М. Эйхенбаума „М. Ю. Лермонтов“. Автор подробно останавливается на позиции Лермонтова в русской литературе XIX века и в заключение своей статьи говорит:

„Современное понимание Лермонтова, основанное на историческом изучении его идеологической эволюции, устанавливает несомненную связь его творчества с идеями и настроениями декабристов. На многих произведениях Лермонтова лежит печать разочарования и уныния, характерная для после-декабристских настроений оппозиционных слоев дворянства; но Лермонтов — не вытнник, не унадочник и не „примеренец“: вся его поэтическая система построена на эмоциях борьбы и протеста против политического и общественного уклада русской жизни“.

Статья В. Эйхенбаума много дает эстонскому читателю, вскрывая наиболее существенные черты творчества Лермонтова.

Лучшей иллюстрацией к этой статье являются помещенные в номере „Вийснурка“ стихотворения самого Лермонтова в переводе нескольких эстонских поэтов.

Переходя к напечатанным в журнале стихотворениям Лермонтова, следует прежде всего указать на переведенные Марией Ундер „Смерть поэта“, „Дума“, „Предсказание“, „Прощай, немытая Россия“, „Поэт“, „И скучно и грустно“ и „Тамара“.

Далее помещено в переводе Антса Ораса несколько последних стихотворений Лермонтова, написанных им летом 1841 г. и расположенных в хроно-

логическом порядке по мере их написания автором. Это — „Свиданье“, „Дубовый листок оторвался от ветки родимой“, „Морская царевна“, „Нет, не тебя так нежно я люблю“ и „Пророк“.

Из крупных произведений Лермонтова в номере дан отрывок из „Песни про купца Калашникова“ в переводе Хендрика Адамсона и четыре начальных строфы „Демона“ в переводе Юрия Шумакова.

О параллельной работе Лермонтова в области изобразительного искусства говорит статья Н. Белявского „Лермонтов — художник“. Рисунки Лермонтова дышат тем же неукротимым жизненным темпераментом и эмоциональной напряженностью, что и его стихотворения. Тяга к художеству и работа в этой области нередко сопутствует таланту писателя. Достаточно вспомнить Жуковского, Баратынского, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Шевченко, Маяковского. Как известно, соотношение литературного и изобразительного плана у различных писателей не одинаково. Например, Шевченко и Маяковский работали вначале как художники-профессионалы. У Пушкина рисунком сопутствует почти каждой странице его черновиков, появляясь в минуты творческих заминок и раздумий, порой помогая нащупать словесный образ. По своей соотносительности к литературному и зрительному ряду рисунки Лермонтова занимают промежуточное место между Пушкиным, с одной стороны, и Шевченко и Маяковским, с другой.

Помещенная в новом номере „Вийснурка“ об’емистая статья Ноганеса Вареса-Барбаруса „Переворот 1940 г. (21/VI) и перспективы эстонской литературы“ говорит о путях эстонской литературы, о ее огромных задачах, о задачах писателей-инженеров человеческих душ.

Новая книга „Вийснурка“ не богата стихотворениями эстонских авторов: выдержанный в стиле эстонских народных песен „Подснежник“ Э. Уйбо, лирическое стихотворение „Импровизация весенней ночью“ К. Майда, „Продали меня“ и „Скупой“ А. Санга, этим исчерпываются помещенные в ней оригинальные поэтические произведения.

В новом номере „Вийснурка“ напечатана содержательная статья М. Намовой „Роль практики в познании“, затрагивающая ряд актуальных проблем.

В своих воспоминаниях художник Ян Вахтра рассказывает о неудавшейся попытке напечатать в эстонском журнале „Олимп“ статью о советской графике.

В новом номере „Вийснурка“ помещено две оригинальные повелли: „На бревнах“ и „В своем доме-свое право“. Автор первой из них — В. Уйбонуу принадлежит к молодому поколению эстонских прозаиков. В начале этого года вышел сборник его новелл. В напечатанной в журнале повелле Уйбонуу изображает жизнь сплавщиков. Вторая новелла, „В своем доме — свое право“ написана И. Рувеном. Эта новелла, так же как и ее заглавие, полна иронии. Автор рассказывает в ней о том, как жизнь старого домовладельца в своем доме превращается в муку из-за вечных свар и передраг, вызванных ненасытным корыстолюбием его наследников.

В мае сего года исполнилось 50 лет эстонскому поэту Яну Кярнеру. О его жизни и творчестве говорится в статье Э. Аавасаар „О поэтическом пути Я. Кярнера“.

Статьи Л. Сооннеа и В. Раама „О формализме“ и „Два рельефа К. Менье в Таллине“ снабжены богатым иллюстративным материалом.

„Фабрика снов“ И. Эренбурга беспощадно бичует американских капиталистов.

В ознаменование 75-летия маститого эстонского художника Антса Лайкмаа в новом номере помещена статья Э. Л. „Мысли Антса Лайкмаа об искусстве“.

В обзоре Ю. Генс знакомит читателей с различными иллюстрированными изданиями произведений Лермонтова.

Г. Паррест подводит в своей статье итоги предварительного соревнования таллинских театров, готовящих свои постановки для предстоящей декады эстонского искусства в Москве.

П. Вийдиг рассказывает в небольшом очерке о положении трудящихся во Франции.

VIISNURK

KIRJANDUSE · KUNSTI · KULTUURI AJAKIRI

NR. 5/6

MAI/JUUNI

1941

1940. A. (21. VI) PÖÖRE JA EESTI KIRJANDUSE PERSPEKTIIVID

JOHANNES VARES-BARBARUS

I

Lugupeetud seltsimehed! Iga revolutsiooniline pööre tekitab võimsa vastukaja ja murrangu kirjanduslikus loomingus, erilise lainetuse mõttemaailmas ja tundmustes. Poliitiline võitlus on ühtlasi ajude mäss, ühiskonna vormide murrang on ühtlasi mõtlemisviisi ümbersünd ja vaimse revolutsiooni lähtekoht. Me teame, milline mõju inimhõimusele oli Prantsuse revolutsioonil, teame, kuidas kajastus kirjanduslikus loomingus 1905. a. ülestõus, kuidas haaras meeli 1917. a. puhang ja vallutas kõik mõtleavad pead ja tuksuvad südamed suur sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon.

Kui ühed loovad jõud on revolutsiooni kaaslased, selle vastukajastajad, või hiljem järelkajastajad, siis teised on sageli teadlikud teerajajad — töölisklassi võitluse ettevalmistajad, ettekuulutajad, celhäälestajad, ajaloolise paratamatuse teadlikud ennustajad ja tormikuulutajad. — „Maru! Varsti puhkeb maru!“ — lausub Maksim Gorki oma „Laulus Tormikotkast“, lisades: „Võimsamini puhke, maru!“ — „Kas tunnete: väriseb maa? / Kas kuulete: kisendab veri? / Nüüd tuleb kas ei või ja. / Nüüd on kallastest tõusnud meri. / Olge valmid! / kirjutab Gustav Suits „Elutules“ 1905. a. priiusepäevaks. Kes meist ei teaks Aleksander Bloki poemi „Kaksteistkümmend“ — 1917. a. revolutsiooni kajastusena, Vladimir Majakovski arvukaid revolutsioonilisi värse ja poeme, jne. jne. Töölisklassi võitlus on alati kaasa kiskunud loovaid kirjanikke: meenutagem Heinrich Heinet ja teisi revolutsiooniliselt meeletatud vaimuiniemi minevikus. Suure Oktoobri tohutud võidud võit-

luses sotsialismi eest on põhjustanud ja tekitanud loendamatus ulatuses teoseid, nii Venes kui kogu maailmas. Eesti töörahva vabanemisega kapitalismi ikkest peaks korduma meil sama kirjanduse, kunstide, teaduste, kogu kultuuri ja vaimse elu tõus, nagu seda näeme sotsialismi ühisel kodumaal — Nõukogude Liidus. Juba Oktoober puudutas meie kirjanduslikku loomingut, pannes idanema sotsialistliku revolutsiooni seemne, millest nüüd puhkes punaõieline taim, mida küll üle 20 aasta hoiti keldripimeduses ja pörandaaluses rös-kuses. Ent me teame, kui keldritaim pääkesepaistele tuua, siis kasvab ta kiiresti ja elu-jõuliselt. Andkem ainult kasvuaega!

1940. a. 21. juuni pööre polnud ainult poliitiliseks murranguks, vaid ka vaimuelu uuen-dajaks ja ümberloojaks. Seda — eesti töötava rahva elus määratu tähtsusega ajaloolist pööripäeva peame meenutama kui uue ideoloogia võidupüha, kui kodanliku maailma-vaate lõplikku pankrotsust ja sotsialismi triumfi. Eesti töötav rahvas, kes pikki aastaid oli aheldatud kitsa kapitalistliku rahvavaenulise kildkonna orjamisele, ärkas järsku spon-taanses vabadus- ja vabastustundes, virgudes uuele — sotsialistlikule tööle, asudes tagasi-võidetud rahva õiguste ja võimu teostamisele. Marx ja Engels rõhutavad, et proletariaat, haarates võimu, peab hävitama senise riigiparaadi, mis on välja arendatud kapitalistlikus ühiskonnas valitsevate sisemiste vastuolude tagajärjel — kurnatavate klasside mahasuru-miseks kurnajate huvides. Ühes kodanliku riigimasina purustamisega on aga vaja kao-tada ka endine mõtlemisviis, iganenud maailmavaade, vaja ümber kujundada kodanlikule ümbrusele kohanenud kunsti- ja kirjanduslooming. 21. juuni vabastas meie töötava rahva nii füüsilisest klikiorjusest kui ka psüühilis-vaimsest vangistusest. Selle päevaga lõppes mandunud kapitalismi ajajärk Eestis ja algas võiduka sotsialismi pealetung kõigil aladel. Teame väga hästi, millisesse ummikuse oli jõudnud meie ideelage kodanlus ja mannetu klikivalitsus, kuidas kiratses majandus, tööstus, samuti ka kirjanduslik looming. Ei olnud ehk juhuslikud tolleaegsed luulekogude pealkirjad: „Ummiklained“, „Õnnevarjutus“, „Hää-l varjust“, jne. Ümbrus masendas, olukord ahistas, dikteerides rahulolematust ja protesti. . . Need on tummad ummiklained, / ummiklained, surnud veed, / kuhu ilid kannud laeva / alla vaenuliku taeva, / kuhu tuul ei leia teed. . .“ (A. Alle.) Luule on ikka ümbruse ja olukorra tundeliseks baromeetriks olnud, mis ajastu madalrõhkkonnale kiiremini ja erk-samalt on reageerinud kui proosa. Luule on ka seismograafina registreerinud kõiki näh-tusi ja ühiskondlikke võnkeid, mis ennustasid poliitilisi tõukeid ja tulevasi maavärinatao-lisi raputusi. Kõrvuti surveaja masendusega vilgatas sageli lootuse välkvalgus peatset võidust, kajas terav protest ja luulemäss kodanluse terrori vastu. Muidugi see protest pai-sati enamikus üksikute autorite poolt, nende isiklikul riisikol, sageli enese kulu ja kirja-dega maailma. Organiseeritud — kollektiivseid poliitilisi esinemisi sõnarelvaga, neid pol-nud palju. Võiksime ehk mainida „Tarapita“ rühma rünnakut, mis tolle aja ja võima-luste mõõdupuuga mõõtes tundub ehk praegugi küllalt julge sammuna. Pealegi sündis see ajal, kus kirjanikkond laiemas ulatuses oli organiseerimata ja elukutseliselt kindlus-tamata, ühtlasi ka moraalselt rikkumata. Hilisem ametlik liitumine pooleldi ametiühingu-liseks „Kirjanikkude Liiduks“ oli elukutseliselt mõistetav, ent teatud ideelisest seosest liik-mete vahel, nagu see „Tarapita“ päevil siiski teataval määral ilmnas, ei võinud enam suurt juttu olla. Siinkohal võiksime ehk veel mainida mõningaid rühmituse katseid ja kirjan-duslikke üritusi, kuigi neis ei ilmnenu erilisi ideoloogilisi taotlusi. Võib-olla pole kõigil seltsimeestel võimalik olnud pidevalt ja üksikasjalikult jälgida meie kirjandusel

vahelduvaid eneseavaldusi? 1926. a. paiku esines „Aktsooni“ rühm esimese kirjandusliku koguteosega, kus ei olnud mingisugust programmilist sissejuhatust, ent töödes tundus teatud „Tarapita“-aegset järellainetust. Ilma kindlama ideoloogilise baasita jätkati tööd ja jõuti üsna mahuka 3. „Aktsooni“ numbrini, kus kaastöölisena figureerisid: Antson, Jakobson, Ruven, Sirge ja teisi. Ilma ühtlase teooria ja platvormita ei suudetud saavutada erilisi tulemusi, ja aktsoon vaibus celmniste käärimiste järeלקajana. Üksikud „Bumerangid“ ja „Sangad“ jäid samuti hüüdjaks hääleks. Veidi laialdasemalt oli kavatsatud „Orbiidi“ liikumine (1929 — 1930), mis kujunes pigem sugupõlvade võitluseks kui ideoloogiliseks-poliitiliseks rünnakuks. Toimetuse deklaratsioonis (v. „Orbiit“ nr. 1) rõhutati, et on tege- mist noorema generatsiooni eneseteostuse katsega, tolle generatsiooni, kes on arenemas maisema, lihtsama ja inimlikuma ellusuhtumise suunas. Enesemaksmapaneku aluseks ei olnud erilisi poliitilisi veendumusi ega kindlat ideoloogilist programmi. Taheti ainult „anda tõuget värskemate mõtete äratamiseks ja avaldamiseks“. Liiguti elulähisuse lipu all, ka „Läbi töötavate tänavate“ (Schütz) ja avastati nii mõndagi. Leiti nii mõnigi õige mõte, esitati nii mõnigi õnnestunud teos, ent „epooki“ seegi liikumine ei loonud.

Jätkuks ses võitluses, mis ägedamal kujul algas lühiealise „Kirjandusliku Orbiidiga“, võiks lugeda koguteose „Põhjakaar“ ilmumist (1931), kus leiame kaastöölisena: Jakobsoni, Kivikase, Metsanurga, Raudsepa, Schützi (nüüd Sütiste) jt. Deklaratsioonis rõhuta- takse: usume nüüdki, et kirjanduse ainuõige ja ülevaim siht on elu teenides — arvustades ja uusi sihte näidates — muuta seda paremaks ja õiglasemaks. Ning eitame praegu nagu varemgi ainult ilu rakkes olevat kirjandust, kirjanduse tõlgitsemist „puhta kunstina“, ükskõik millisel kujul, kui varjatuna või ajakohastatuna viimane käsitusviis ka ei esineks.“ Ei puudu siin üksikuil autoreil ennustuslik-ühiskondlik protestijoon: „... Tunned, et kõik, mis siin vana on, peatselt variseb põrmu, / elagu vaesus, mis loob suurte aegade eest!“ (Schützi värs: „Heitlus“), ent „Põhjakaare“ tulipunktiks oli ikkagi rohkem kunstipõhi- mõtete konflikt kui teadlik ideoloogiline võitlus. Generatsioonide võitlusse segunevad kaudselt isegi kurikuulsa kultuurkapitali kõrvalmõjud, mida üsna maha salata ei saa or- biitlaste nn. sugupõlvade võitluses.

Peab ütleva, et väga selge ei olnud isegi asjaomastel see generatsioonide vahe ja an- tagonism, mille vastu piike murti, rääkimata ideoloogilisest ühtsusest ja ühtlusest orbiit- laste mitmevärvilises peres (kuhu kuulusid: Andresen, Annist, Aspel, Hiir, Jakobson, Jürna, Kivikas, Loorits, Oras, Vallak, Urgart jt.). Ei ole ime, kui orbiitlaste „maisema, lihtsama ja inimlikuma“ ellusuhtumise suund ilma kindlama ideoloogilise baasita küllalt avarusi ei pakkunud, ega isegi kõiki kaasvõitlejaid veenda ei suutnud, sest just nende hulgast eraldus „Arbujate“ (või omavaheliselt „kammiseppade“ nime kandev!) rühmituse kunstipärane juht, kes just nooremast generatsiooni meelitas käima endises mõttes „keelatud vilja“ rada ja ta- lutas tagasi puhta kunsti valdkonda, kus raamatulik elutarkus asendas elulähisuse. Laie- ma massiloomingu asemel nõuti taas peenemaid loominguilisi nüansse, suuremat artistlik- kust-vormikultust. Arbujate olulisimaks kvalifikatsiooniks pidi olema suur andumus kuns- tile kui pihitumusele, kui kõigi vaimsete võimete kokkuvõtule. Nende luule pidi olema „ela- muste võlumine elavaks sõnaks“. Ent seegi põlv ei olnud homogeenne ega ka mingisug- use ideoloogia kandja. Üldse oleks raske rääkida ideoloogilisest tervikikkusest või isegi järjekindlusest mainitud rühmituste juures, kuigi mõnedel ei puudunud sotsiaalne südametunnistus. Ei suutnud kaasvõitlejaid ideeliselt siduda ka rahvusvahelise liberaal-

radikaalse, siiski väikekodanliku „Pen-klubi“ organisatsiooni tekkimine, mille kongressid eri maades küll teatud õhuakna osa etendasid, mille kaudu sai vahel õhku paisata kibedaid etteheiteid ja protestihüüdeid, ent ainult sõnaga pole keegi veel suuri — otsustavaid võite saavutanud. Üsna lihtsalt ja lapsikult hoidus „Pen-klubi“ poliitikast ja aktsioonist, põigeldes naiivilt kõrvale probleemidest, millele õieti oli rajatud kapitalistliku maailma korrupsioon ja ülekohus. See vaimuinimeste passiivne erapooletus ja teataval määral poliitilisest tulipunktist eemal-, kõrval- ja kõrgemalseismine ei võinud muidugi palju anda rahvusvaheliseks solidaarsuseks, rääkimata selle kasust sotsialismi arendamisel ja nõukogude korrale lähenemisel. Marksistlikku tõuget „Pen-klubilt“ vaevalt keegi sai. Küll aga harjutas ta rahvusvahelist mõtlemist väikekodanlike ideede ulatuses. Nii jäi kirjanduspoliitiline marksistlik võitlus meie kodanluse võimupäevil peamiselt üksikute autorite isiklikuks huviks ja individuaalseks ürituseks, kuigi oli pidevalt olemas kontakt nn. opositsiooni-kirjanike vahel, vastukaaluks nn. „positiivsetele“ klikilaulikutele. On arusaadav, et esimeste protesti katsuti summutada, küll heaga küll kurjaga, küll meelituste ja äraostuga, küll ähvarduste, hurjutuste, tagakiusamise ning surnuksvaikimisega. Ent oma enamikus need nn. „negatiivsed“ kirjanikud jäidki negatiivseiks ega lähenenud auhindamiste ja muude altkäemaksude söödale. Imelikul kombel (ja olgu see meie kirjanike auks öeldud!) ei andnud need kodanluse mahhinatsioonid ja loomingu väänamise ja mürgitamise katsed suuri tulemusi. Vähe oli kirjanikke, kes oleksid sattunud laostumise laugaste vajuvale pinnale, kes oleksid olnud ükskõiksed vaimuelu rappavajumise suhtes. Suuri koja- ja klikilaulikute kaadreid meil siiski ei tekkinud. Meie loova vaimu auks peame mainima tema kriitilist suhtumist kõigesse, mis sündis meie ümber. Veel rohkem! Meil oli tugev sotsialistlikult ja marksistlikult häälestatud opositsioonilooming, mis kodanluse mangu- misele või survele palju ei reageerinud, ehk kui — siis uute rünnakutega — olukorra kiuste, lakkamatult paljastades kodanluse korrupsiooni ja väsimatult mõistes kohut, va- betevahel tulisõrmega kirjutades kadukuulutavaid ridu.

Näis vahel isegi imelik, kuidas võisid ilmuda revolutsioonilised värsid ja ründajad poemid? Et võidi luua ja levitada kodanlusele ebasoodsat ja omamoodi „keelatud kirjandust“, see olenes mitmeti reaktsioonilise valitsuskliki ükskõiksusest, osaliselt ka loomingu mitterõõmimisest, ütleksin isegi teatud „kirjaoskamatuses“, sest oma laiskuse muga- vuses ja huvipuuduses kodumaise kirjanduse vastu meie nn. eliit ei lugenud üldse trüki- sõna suure süvenemisega, vaid pealiskaudselt, sageli ka üleolevalt, eelistades snobistlikult peenemat psühholoogiliste salto-mortale'dega salongi- ja buduaari-, või isegi magamis- vagunite ja rahvusvaheliste seikluste välismaist kirjandust, mille tundmisega seltskonnas tooni võidi anda ja veidi ka hoobelda. Pole ime, kui kirjanduslikud kohrad ja Dekobra'd latsutasid ja lugejad suud matsutasid. Meie „valitute“ laiskuse ja võimumeeste snobismi tõttu võisid ilmuda teravalt opositsioonilised teosed, kus rünnati kodanlust ja klikivalit- sust küll eest, küll külgedelt, küll tagant. Sõnarelv ähvardas, mõistis kohut, süüdistas, rabas. Mõningat positsioonide välkrünnakut märgati alles siis, kui oli hilja ja kui raa- mat oli oma töö juba teinud.

Me teame, et kirjanduslik looming ja loov inimene ikka on selle poolt olnud, et vaja on maailma mitte ainult seletada, vaid ka mõista ja mis kõige tähtsam — on vaja maailma muuta, ümber ehitada ja üles ehitada. Võimalus — maailma muuta, ühiskonda ümber kujundada sotsialismi kõikevõitva lipu all, avaneski meil 21. juuni võiduga, kus

meil kujunesid samad väljavaated, nagu teistel N. Liidu rahvastel peale suurt Oktoobri-revolutsiooni, kui Nõukogude riigi loomisega avanes uus ajastu inimkonna ajaloos. Võiduka sotsialismi pidupäev kiskus meie maa välja kapitalismi süsteemist, tuues ühtlasi põõripäeva kirjandusliku loomingu arengusse ja kogu ühiskonna mõtlemise suunda. Kodanlusel oli teataval määral õnnestunud inimõtte tegevust ja maailmavaatelist arenemist juhtida oma sõiduvette, meelitada ja ahvatella ulgumere purjetajaid ummikjärvede vaikusse, või jälle lülitustega uinutada tüüriliseisjaid. Polnud ime, kui nii mõnigi ideeinimene mugavuste unistuses sirgelt teelt sattus kõrvalteedele ja ummikusse suunduvatele põiktänavatele. Kaitseliitlik, isamaaliitlik praaliv ja paraaditsev mentaliteet nakatas teisi, selle vaimulagastav ja sisemiselt laostav mõju kandus umbrohuna ka puhtale põllule. Peaaegu sanktsioneeritud ja kanoniseeritud korporatsioonide vaim levis vilistlaskonna kaudu meie nn. seltskonda, kuhu vägisi tiriti igahüht, kes küllalt selgesti aru ei saanud, millise korruptsiooniga ja saagiahnitsemisega siin tegemist oli. Nagu mürkgaasi pilv vajus see seltskondlik ving ja uim üle kõrvalseisjate, nagu surmaudu mattis see kõik mõtted ja kaine ellusuhtumise oma alla. Eks haaranud see taud isegi väikest meest ja klassiteadvuseta või vähese klassiteadvusega ringkondi. Algas jaht haljale oksale pääsmiseks — ka neis kihtides, kus selleks vähe väljavaateid oli. Ameerika ja Hollywoodi luksuslikud kinofilmid kõditasid ja õhutasid mõnulemis- ja loelemistunnet, ideelagedad kirjanduslikud teosed süvendasid aina tegevuseta päevavaraste sumpatiseerimist ja liigsete inimeste kultiveerimist. Kas ei näinud meie provintsilinnade kõnniteedel ja alleedel kahvatuilmelisi igatsushaigeid Greta-Garbo'sid ja teisi kinotähtede kooptaid uitlemas ja karjääri imet ootamas. Paljude noormeeste maailmavaate dikteeris neile karjäärihimu, elumugavuste unistus, mitte aga kõrgem idee, rääkimata sotsialistlikust-marksistlikust mõtlemisviisist, mis oli neile võõras ja kapitalistlikule korrale kardetav. Elutarkuse ja elutundmise asemel loksas ja valitses ladvik diplomitarkus. Pole siis ime, kui kodanluse ideoloogia ja kultuuripüüded siirdusid ebakultuuri lauskmaale ja moraali mülgasteni. Mainiksin sopakirjanduse ja muu kollase kõmuloomingu kasvu, millega avalikult tuli võitluse astuda organiseeritud kirjanikkonnal — Eesti Kirjanike Liidu tollaegsel juhatusel. Vist on igale selge, et sopakirjandus ja pornograafia ei ole kunagi revolutsiooniline, vaid korruptsiooniline nähtus. On ka tuttav asjaolu, et ideoloogiata laostuv ja manduv kodanlus ise tekitab loominguist langust ja väärtkirjanduse kadu. Tolleaegne sotsiaalne tellimus ja hädakisa kodanlusele soodsa nn. „positiivse“ kirjanduse järele ei võinud anda muud, kui kaootilisi tagajärgi, sest polnud ju ühtegi kandvat ideed. Kapitalismi surmavaakuv agoonia võis esile kutsuda ainult surnuaiameeleolu ja kalmistu hääbumuslikke mõlgutusi või jälle paisata inimesed mõttetule ja meeleheitliku ühepäeva elupõletamise naudinguisse ja selle ülistamisse. Teisiti ei saa see olla kodanlikus ühiskonnas ja kadunägevas seltskonnas. On ju ka vaimuinimene teataval määral oma ümbruskonna ja ühiskonna produkt. Kodanluse ideelagedus, auahnus ja kuulsustõbi, — kõik see mürgitas osaliselt ka loominguist õhkkonda. Võõras mentaliteet suruti vahel nähtamatuks tegeva mütsina vaimuinimese pähe, lagedad mõtted istusid surisevate ja tüütavate sügiskärbestena kirjaniku laubale ja loova kunstniku otsaesisele. Küllap seisis nii mõnegi seljataga puuduse vari ja maine teisik, kes nagu kunagi Ed. Vildele sosistas: „Veli tee ridu, veli tee ridu!“ — sest rida on raha, rida on leib. Ideeline müüdavus ja vaimne prostitutsioon kuulub juba kord kodanliku maailma pahede hulka. Kalduvus ükskõiksusse ja lodevasse boheemlusse kuulub

samuti siia. Mitte asjata pole boheemlus ja pohmelus kõlaliselt identsed! See ongi inimese mõttekäigu pohmelus, kui arvatakse elada võivat ilma põhimõteteta, ilma printsiipideta. Boheemlus pole — kõigest tema „kuulsusest“ ja võlust“ hoolimata — mingisugune maailmavaade, nagu mõned tõendada on püüdnud, vaid see on teatud printsiipideta eluviis, hingeeluliselt haiglane kompleks, kus lokkab piiramatult individualismi härrasmeelikkus ja mandumisele kalduv aristokraatlik-anarhistlik müstitsism, sageli üliinimlik — nietschelilik tendents. See on õieti vastutustundetu enesevabastamine kõrgete eluülesannete teenistusest, hoolimatus kõige ümbritseva vastu, vaimu lahtirakendamine suuremate probleemide ja ideede lahendamisest. See on teatud mõttes intellektuaalne vedelvorstlus, ideeline ja loominguiline siidivendlus, kui pankrotimeeleolus minna lastakse ja midagi ei leita, millega täita meie suurt ajastut ja uut elu värske kõrgeväärtusliku sisuga — sotsialistliku tuumaga. Säärane enesetapjaile omane taktika ja loogika kuulugu kõdunenud minevikku ja olgu unustatud!

2

Töölisklassi suured võidud sotsialismi teostamisel on püstitanud erilised nõuded inimvaimu loomingu alal. Ideelispoliitiline ja filosoofiline selgus sotsialismi üleschitamisel nõuab vastavat selgust ka kirjandusliku loomingu valdkonnas. Kirjanike rakendamine aktiivseks kaastöökaks sotsialistliku korra üleschitamise alal ei ole ainult soovitav, vaid vajalik. Siin on vaja masside arhitekti ja inimhinge inseneri, siin on vaja uue ühiskonna-hoone sisustajaid ja uue elukorra vormijaid. Konkreetse tõelisuse sügav analüüs, tähelepanelik uurimine ja sotsialistliku elu tõetruu kirjanduslik käsitus, suure võitluse ja sangarlike tegude jäädvustamine, see nõuab loovalt inimeselt kõrget moraalselt ja ühiskondlikku isiksust ja ka suurt kirjandus-kunstilist sünteesisitunnet. Nüüdsest peab vajab kirjanik erilist teadlikku ja sügavat ellusuhtumist, kindlalt-ajalooliselt põhjendatud sotsialistlikku maailmavaadet ja elustruktuuri dialektilis-materialistlikku mõistmist. Tänu 21. juunile 1940. a. kuulume meie suure sotsialismimaa rahvaste perre, kus revolutsiooniliste kirjanike unistused on teostunud, kus hoogne sotsialistlik üleschitustöö kõigile, isegi kommunismi vaenlastele silmaga näha ja käega katsuda on. Meile on nüüd avatud avarad väljavaated ja ulatuslikud perspektiivid kirjandusliku loomingu arenemiseks ja järelejäõudmiseks teiste liiduvabariikide teoste tasapinnani. On loomulik, et peab muutuma kirjandus, kui on muutunud kogu ühiskondlik süsteem, kui oleme heitnud ajaloo prügikasti vana pehkinud kapitalistliku maailmakorra ja vahetanud selle uue — sotsialistliku maailma vastu, sammudes edasi kommunismi täielikule võidule. Suur pööripäev on olnud: me elame Nõukogude riigis, kus peab ka olema tõeline nõukogude kirjandus — see „kõige ideelisem, eesrindlikum ja revolutsioonilisem kirjandus kogu maailmas“, nagu on väljendunud seltsimees Ždanov N. Liidu kirjanike kongressil 1934. — „Sotsialismi võit, inimkonna ajaloo enneolematu tootvate jõudude tormiline tõus, klasside likvideerimise kiirenev protsess, igasuguse võimaluse kaotamine inimese eksploateerimiseks inimese poolt, vastuolu kaotamine maa ja linna vahel ja lõpuks enneolematud edusammud teaduse, kunsti, tehnika ja kultuuri arengus kindlustavad loominguilistele jõududele piiramatud võimalused kvalitatiivseks ning kvantitatiivseks tõusuks ja iga liiki kunstide ning kirjanduse õitsenguks,“ — nii on meie perspektiivid fikseeritud Eesti Nõukogude

Kirjanike Liidu põhikirjas. — „Eesti töörahva vabanemisega kapitalismi ikkest ning tiheda liitumisega Nõukogude Liidu vabade rahvastega sotsialismi üleshitamiseks on eesti kirjanikele avanenud laialdased võimalused vahetuks osavõtuks sotsialistliku kultuuri arendamisest,“ öeldakse sealsamas. Muidugi, ilukirjandus peab sammuma koos töölikklassiga ja — juhitud Kommunistliku Partei poolt, ta peab leidma uued loominguprintsiibid ja väljendusviisid sotsialistliku realismi raamides. Sotsialistlik kultuur, see pole vana tardund kodanlik kultuur, mida traditsiooniliselt pärandati ja anti edasi kui mingisugust eraomandit, nagu pärandati maad ja maju ja muud varandust, vaid see on uus — puhkev, pakatav ja õitsev kultuur. See on tõeline, sügavalt inimlik kultuur — rahvuslikus vormis, sotsialistlikus sisus, üldrahvalikus ulatuses, kus on möödunud aja kirjandusliku pärandi kriitilise omandamise tulemusena ja sotsialismi võiduka üleshituse kogemuste ja sotsialistliku kultuuri tõusu tundmaõppimise alusel jõutud loomingulise sünteesini. Selle loomingu ülesandeks ja põhimeetodiks on — võltsimatu ajaloolise konkreetseusega kujutada reaalelu selle revolutsioonilises arenemises, et kasvatada ühtlasi töötavat rahvast sotsialismi vaimus, et süvendada rahvusvahelist revolutsioonilist liikumist ja ühise võitluse tunnet, et luua kõrge kunstiväärtusega teoseid, mis vääriksid sotsialismi suurt ajastut, milles meil õnn ja rõõm on elada. Ühes minule saadetud telegrammis iseloomustab Viru õpetajaskond praegust ajajärku väga ilmekalt, ütlesin isegi luuleliselt: „Tunneme, et on murdnud sisse uute mõtete kevad, tunneme, kuidas uue õiglust taotleva mõtte lained kisivad lahti vana ja viivad minevikku, puhastavad vaimse maa, et võiks kesta uute mõtete ja tegude külv.“

Suur pööripäev nõuab tegusid — uut loomingut, uusi teoseid. Kui kodanluse ajal inimene küpses aeglaselt, kui tema arenemine põhimõtete ja suurte ideede puudusel jäi lapsekingadesse pikemaks ajaks, siis praeguse ideekülluse ja teemade rikkuse juures peaksid meie noored jõud ja talendid puhkema taimelavalise lopsakuse ja kiirusega. Ei tohiks praegu korduda säärane kodanlusaegne nähtus, kus täisealine loov inimene sõandis ütelda: „Ma olen veel noor, mul ei ole mingisuguseid põhimõtteid!“ Nüüd on Stalini Konstitutsiooni alusel 18-aastastel valimisõigus, ja vaevalt võiks säärane tähtis riiklik toiming sündida ilma põhimõteteta. Sama seisukoht oleks loomulik ka kirjandusliku loomingu suhtes, sest seegi peab osa võtma sotsialistlikust üleshitustööst. Kui kapitalistliku maailma laostumise ja kodanluse mandumisega käsi-käes areneb müstitsismi, kollase kõmukirjanduse, isegi pornograafia ja kõditava seiklusromaaniga õitseng, kus kangelasteks üsna sageli on: vargad, sulid, nuhkurid, lõbunaised jne., siis nõukogude kirjanduses on peategelasteks uued sotsialistliku ühiskonna üleshitajad, revolutsioonilised võitlejad, suured ideeinimesed, tõelised kangelased ja töösangarid. „Ei ole ega ole olnud kirjandust, peale nõukogude kirjanduse, mis oleks organiseerinud töölishulki ja rõhutuid võitlusele igasuguse ekspuaterimise ja orjuse lõplikuks hävitamiseks. Pole ega ole kunagi olnud kirjandust, mis oma teoste temaatika aluseks asetaks tööliste ja talupoegade elu ja võitluse sotsialismi eest. Ei ole kusagil, mitte ühelgi teisel maal kirjandust, mis kaitseks ja nõuaks kõikide rahvaste tööliste üheõiguslust ja taotleks naiste samaõiguslust ja võrdsust. Ei ole ega saa olla kodanlikul maal kirjandust, mis järjekindlalt purustaks kõikisugu eelarvamusi, igasugust müstikat, paplust ja ebausku, nagu seda teeb nõukogude kirjandus,“ rõhutab oma eespool mainitud kõnes seltsimees Ždanov. Meie kirjandusel võitluses parema tuleviku eest tuleb neid iseloomustusi silmas pidada ja aluseks võtta.

Suurte teemade puudusel ei suutnud kodanlus luua küllaldase kestusega väärtteoseid: talentide põud ja kadu või nende hääbumine oli siin paratamatu ja olukordadest tingitud nähtus. Ainult üksikud ausameelsed ja kaugenägelikud kodanlike maade kirjanikud otsivad väljapääsuteid, et sammuda koos revolutsioonilise proletariaadi ridades. Nõukogude kirjandusel pole karta teemade puudust, sest ümberringi kihab suur üleschitustlik töö ja sotsialistlik võistlus. Rikkalik ja tänuväärne materjal ootab kirjanduslikke arhitekte ja inimhinge insenere. Nõukogude kirjanduses valitseb entusiasm, optimistlik püüdlus, loominguiline visadus ja võitlus. Siin valitseb maailmamure asemel suur maailmarõõm ühest heroilisemast ajajärgust ajaloos, ühest ja ühisest ilusast tulevikust kõigile rahvastele. Meie tänapäevast tuksub võiduka ja tõusva töölisklassi pulss, hoog, uus tempo, uus rütm. Sotsialistliku realismi kandejõud baseerub kindlal ideelisel alusel, milleks on Marx-Engels-Lenin-Stalini kõikvõitev õpetus. Tõelisus, ajalooline konkreetsus peab ühte sulama ideelise kandejõuga, — siis võivad uue elu vormeerijad ja kujundajad saavutada tõhusaid kunstiloomingulisi tulemusi.



Kvantitatiivselt ja proportsionaalselt võttes ei oleks meil ENSV kirjanduse väljavaated halvad, sest meie rahvaarvule vastavalt tuleks 1 kirjanik umbes 25.000—30.000 lugeja kohta. M. Gorki oma kõnes (1934. a. N. L. kirjanike kongressil) märkis, et N. Liidus tuleks 1 kirjanik 100.000 lugeja kohta, ent ta tähendas, et piisab ka 50 kvalifitseeritud kirjanikust. Seega on tähtsam kvaliteet kui kvantiteet, ning pole just vaja taotella Skandinaavia olukorda, kus 230 lugeja kohta tuleb 1 kirjanik.

Nii on meiegi sooviks, et tööde kvaliteet tõuseks, et kirjanikud ja teised loovad jõud areneksid!

Kui me nüüd põgusa pilgu heidaksime eesti nõukogudeaegsele kirjandus-kunstilisele loominguile ja sel alal saavutatud tulemustele, siis peame nentima asjaolu, et ei ole veel suudetud luua sääraseid väärtteoseid, mis kõigiti vastaksid uutele nõuetele ja uuele olukorrale. Kirjandus ei tohiks olla ainult dekoratsiooniks ja fassaadiks, nagu ta seda enamikus oli kodanliku valitsuse päevil, vaid ta peab olema sotsialistliku ühiskonna ülesehituseteguriks, üldloomingu orgaaniliseks ja kasulikuks osaks. Muidugi me teame, et loovat inimest ei saa $\frac{1}{4}$ aastaga luua ega ka tõeliselt ümber luua. Inimese taassünniks on kindlasti rohkem aega vaja kui sünnieelseks 9-kuuliseks valmimiseks emaihus. Ent me usume, et olemasolevate rahva loovate jõudude ümberkasvamise ja uute annete arenemisega meie kirjandus võib uute talentide tekkimisel õige pea võtta säärase hoo, millest ei võinud unistada meie kodanlik valitsus, kellele kirjanikkond oli vaevalt sallitavaks ja talutavaks atribuudiks, ent ilma kirjanduseta ka läbi ei saadud — juba prestiiži pärast.

Peale otsustava võidu saavutamist kodanluse üle 21. VI 40. a. on meil selle võidu kindlustamiseks eriti tähtis, et uued nõukogude loovate jõudude kaadrid kujuneksid võimalikult kiires tempos, et ei tekiks seisakut loomingu ja lünki meie vaimuelus. Rahva ümberkasvatamine sotsialistlikus vaimus on ometi „hinge inseneride“ ülesanne, ja et teisi kasvatada, on vaja paljudel loovatel jõududel enestel ümber kasvada ja uuesti sündida. Ümberkasvatamine ja ümberkasvamine ei ole kerge ülesanne, sest laiemate rahvahulkade teadvust on pidevalt mürgitatud kõiksugu eelarvamustega, šovinistliku pro-

pagandaga, orjalikkuse süvendamisega, individualismi ja erakluse õhutamisega. Kapitalismi jäänustest vabastamine, kodanlike traditsioonide ja muude rudimentide välja juurimine ühiskonna psüühikast — see on raske ja pikaldane tööprotsess, milles nõukogude kirjandus ja kunst peab osutama suurt aktiivsust, et vormida sotsialistlikku teadvust. Nüüdsest peale meie kirjandus — vormilt rahvuslik, sisult sotsialistlik — teenib töötavat rahvast, mitte kurnajaid. Mitte ainult deklaratiivselt, vaid ka loominguiliselt tuleb asuda uue ühiskonna positsioonidele, et kindla meetodi ja taktikaga ületada endise aja traataiad ja traditsioonide tõkked. Sotsialistlik realism kui uue sotsialistliku ühiskonna kirjandus-loomingulik metodoloogia, kui teatud kirjandus-kunstiline maailma-vaade, kui kindel mõiste peab saama sisemiselt mõistetavaks ja omaseks — otse veres tuksuvaks. Al. Tolstoi oma kõnes noortele kirjanikele rõhutab, et kirjutamisprotsess on — ületamisprotsess. Tuleb ületada materjal, ületada ka isecnast. „Kirjutamisprotsessi takistavad kogu aeg tõkked, milledest peate üle saama. Teil on pidevalt raske. Ei ole iialgi, ei kellelgi nii, et oleks kerge kirjutada, et „voolaks sulest“. Kirjutada on alati raske, ja mida raskem, seda paremini õnnestub, kui ainult ei töötata entusiasmita. . . Kunsti protsess on ikka kahepoolne: kunstnik kasvab koos oma kunstiga. Aga kunst kasvab koos selle rahvaga, keda ta kujutab. Kunstnik kasvab ühes nende kangelastega, kelle kujundeid ta välja töötab.“

★

Kui lehitseda „Loomingut“ ja sirvida „Viisnurka“ — neid meie nõukogudeaegse kirjandusliku toodangu peamisi lademeid, siis näeme, et on head tahet asuda sotsialistliku realismi teele, ent siin on muidugi veel küllalt kobamisi ja ebaõnnestumisi. Peame mainima, et uus ainek on alles vormimise ajajärgus, et ei ole veel küllalt lõplikult välja kujunenud uue ühiskonna struktuur, et ei ole veel küllalt distantsi kokkuvõtlikuks üldistuseks ja loominguiliseks sünteesivõimaluseks. Ent kindlasti juba võiks ilukirjanduses tekkida vastukajastusi sotsialistliku elu pingelisest arengust tõetruult fikseeritud peegeldusi meie „tormi ja tungi“ ajajärgust, virgutavaid võitluslaule meie tõelisest ärkamisajast. Kuigi enamik meie loovatest jõududest on rakendatud riiklikule tööle, on lugejaskonnal siiski õigus oodata rahuldavaid saavutusi. Dekaadiks ettevalmistuse korras on meil lavateoste käsikirjade hulgast lootus leida aktuaalseid näidendeid, ent kas proosa ja luule ilma otsekoheste tellimusestiimulita suudab sammu pidada rohkemrakendatava loominguuga, seda näitab lähem tulevik, sest romaan kui raskekaliibriline teos vajab pikaajalist süvenemist ja viimistlemist. Moto-mehhaniseeritud abinõude korras seda relva turule toimetada ei saa. Peame silmas pidama, et suurem osa seni ilmunud kirjandusteoseist on varem kirjutatud ja kajastavad seega meie rahva elu mineviku olukordades ja kodanliku korra aegsest vaatevinklist. Loodame, et uus temaatika ja metoodika pääsevad varsti mõjule ja muutuvad domineerivaks meie uudses kirjanduslikus loomingu ja värskes kunstis!

Luule kui painduvam loominguuala on kindlasti kiiremini suutnud reageerida meie ühiskondlikule murrangule ja revolutsioonilisele pöördele. Kuigi alguses abitult ja kartlikult, kus alles aralt sooviti: „Tulevik, / nüüd mulle oma aabits ulata!“ — on nüüd juba üsna julgelt lugema õpitud ja kirjutama hakatud, ilma et vaja olekski „aabitsat“ veerida.

Nii mõnigi on selgusele jõudnud, et: „Kogu senine elu / oli vääritu ning väär“ /, nii mõneski teoses peegeldub võitlus uue sotsialistliku korra eest, kajastub ümberkorraldus (näiteks maareform): . . . „Keset orase haljust / suurniku suures leivas, / seisab, seal saare all just, / õletuustiga teivas,“ jne. Juba on harjutud mõtlema maakera ulatuses, „Viisnurk“ on ulatanud käe kõigile liiduvabariikide loovatele jõududele, lähendades neid meie lugejaile.

„Liitumine suure isamaaga“ — sisendab luuletunnet: „. . . siis sinu vannet ükski võim ei murra: / maa selle hüveks elada ja surra.“ / Tänapäeva muusa kuulutab: „Värss rahvale olgu kui vasaralööök, / kui traktor, mis lõhestab pinda, . . . , et . . . all ühise loosungi võitlevad koos / sulg, labidas, peitel ja pihid . . .“ Nagu näete, on tunda tuult luuletiibade all, ja küllap kasvavad ka tormikotka eluhaaravad küüned! Juba luuletuste pealkirjad on elulähedased näit.: „Miitingul“, „Sügis vanglas“, „Teesillutajad“, „Maakera pöördub itta“, „Traktoristide laul“, „Naine agulist“ jne. Vastavas suunas areneb ka sisu.

Meie kirjandus töötab kujuneda tõeliseks nõukogude kirjanduseks.



Nõukogude kirjandus on suur poliitiline tegur, sest klassivõitluse ajastul ei saa olla apoliitilist kirjandust. Ta on ühtlasi ka tendentslik kirjandus, mille eesmärgiks on: vabastada kogu inimkond kapitalismi ikkest ja orjusest. Nõukogude kirjandus on relvaks võitluses sotsialismi ja klassideta ühiskonna eest. „Nõukogude kirjanikel on kõik tingimused selleks, et luua teoseid, mis oleksid kooskõlas epohhiga, anda töid, mis õpetaksid meie kaasaeglast ja oleksid uhkuseks tulevaile põlvetele“, lisab seltsimees Ždanov oma kõnes. Iga kirjaniku kohus on aktiivse võitlejana seista revolutsioonilise vaimuse rindel ja sotsialistliku loomingu eelpostil. Elame põhjaliku murrangu ajastul, suurel ajaloolisel inimkonna pööripäeval, kus ärkab igas inimeses eneseväärtustunne, suur kollektiivse töö tõhususe tunne, selle ühisjõu tunne, mis võib maailma muuta paremaks, õiglasemaks ja õnnelikumaks. Seda suudab võimsa Kommunistliku partei juhtimisel proletariaat: töölised, talupojad ja töötav intelligents. Kommunistlik partei on tugev oma asjalikkuse ja praktilise meelega tõttu. Nüüd näeb kodanlus, et peale neile tulutoovate töökatte on töölistel arukas aju ja mõteterikas pea. Kui Taylor kunagi oma töölistele ütelda sõandas: „Töölisel ei ole vaja mõelda, selleks on teisi inimesi“, siis praegu näeme, et just töölisklass mõistab õigesti maailma ja ajalugu, et just tema mõistab õigesti mõelda, tänu marksistlikule õpetusele ja dialektilis-materialistlikule elukäsitlusele. Me näeme, mis sünnib praegu kapitalistlikes mais, kus mõtlevad kodanlased (kui nad üldse mõtlevad!). Me näeme, milliste katastroofideni seal on jõutud. Meie aga tervitame suurt vabaduse pööripäeva, uue epohhi hommikut ja inimkonna lõõmavat koitu! Meil on õnn elada maailma ajaloo heroilisemal hetkel.

Poeedi surm

Oh tasu, valitseja, tasu!
 su ette põlvitan:
 sa oled õiglane ja nuhtle mõrvarit,
 et kauge aja taha tema karistus
 su õiget kohut järelpõlvel' teataks,
 et roimarid ses näeksid hoiatust.

Poeet on surnud! Kannatanus
 auvangi hukkas laimujää,
 laeng tina rinnas, tasujanus
 tal alla langes uhke pää!...
 Ei solvangute väiklust, häbi
 võind taluda poeedi hing,
 maailma arvamustest läbi
 end võitles üksi. Sulgus ring.
 Ta langes! Langes! ... Milleks nuttu?
 Miks tühja kiidu järelhüüd?
 Miks õigeksmõistu väetit juttu?
 Kõik saatus otsustanud nüüd!
 Te poolt eks õelalt kiusat taga
 saand tema vaba, julge and,
 ning naljaks suureks puhut aga
 too leek, mis tema taltsutand.
 Noh, rõõmustage! ... — Kuhjus mustus,
 ja tulvil oli piinakärg:
 suur geenius kui küünal kustus,
 ja närbus ülev-uhke pärg.

Ja külmavereliselt tapja
 tall' andis hoobi ... puudub pääs:
 kalk süda vaevalt võpatab ja
 ei püstol värahta ta käes.
 Ja mida imet? ... Nagu sadu
 muid õnnekütte, saatus ta
 auastmeid, kuulsust püüdlema
 toond kaugelt tallama me radu.

Ta julmalt mõnitades ei
keelt, kombeid võõraid säästa võinud,
ei meie kuulsust päästa täinud,
tol verehetkel ei ta näinud,
kel tema käsi surma tõi!...

Ja ta on surnud — hauas hallis,
kui toogi laulik, tundmatu, kuid kallis,
kes kiidet tema laulu imeväest,
kas todagi juhm, pime kiivus sallis?
Ei! hukkus samuti ta julmast käest.

Miks lahkus vaiksest mõnust, lihtsast sõprussõõrist,
et liikuda kesk umbset kadedusepöörist,
kus lämbub leekiv kirk ja vaba, uhke hing?
Kätt andma laimajaile kes küll sundis
tend, kes ju noorelt inimesi tundis,
kuis võitis teda teesklejate ring?...

Ta pärja võtsid — panid asemelle
nad okaskrooni loorberesse põimitset:
kuid salajasist okkaist selle
ta uhke laup sai veristet;
sai mürgitet ta viimse hetke puhtus
tõmpmeelse jõugu pilkesosinast,
ja suri ta — ta tasujanu luhtus,
tusk petet lootustest siis võttis võimust tast.

Sai vaikus imelaulust jagu,
ei kõla enam kaunis luul:
sünk kitsas laulja viimne pagu,
ja pitserit tal kannab huul.

Kuid sina, ülbe järelsugu
teat alatuses kuulsaks saanud isadest,
kes orjakandadega sõtkund ühtelugu
neid, kes jäänd ilma õnneandidest;
teid, trooni ümber ahnitsevat karja,
Au, Vabaduse, Geeniuse timukaid,
eks seadus üha kaitse teid ja varja,
te ees eks kohus, õigus — olgu vait!...

Te, pahe sulased! on taeva kohus aga,
on hirmus kohtunik: ta aru peab;
ei pääse tema juurde kullakõlinaga,
kõik teod ja mõtted tema ette teab.
Ta ootab. Asjata te võtmas laimu suhu:
ei selleks jätku kas või merd,
ja kogu oma musta verega ei uhu
te eal poeedi õiglast verd!

Mõtiskelu

Ma kurvalt vaatlen meie sugupõlve!
Ta tulevik — kas tumedaks või tühjaks jääb,
kaob koormat teatmeist, kahtlustest ta elukõlve,
ta tegevusetuses vanaks läeb.
Me pärand, vaevalt et me tõusnud kätkest,
vead, hiljund tarkuse me isadelt, kui taud
see vaevab meid, kui sihitumaist retkist
me elust tülpind, mis kui võoras pidulaud.

Nii hääs kui halvas häbistavalt tuimad,
tee algul võitluseta närtsib mees;
me arad ohus, alatuse uimad
meid põlastavaiks orjeks teevad võimu ees.
Nii enneaegu küpsend kidur vili
ei maitset ega silma rõõmusta,
ja orbund tulnuk, ümber õitesüli,
kesk nende ilutundi hakkub ta.

On ahtras teaduses me aru kuivand ära,
me kiivalt peitnud sõpre, ligimeste eest
kõik kõrged lootused ja hääle õilsa sära
umbusku, mis on süttind pilgat kire leest.
Teind vaevalt naudingute peekrist sõõmu,
ei säästund sellega noor jõud, ei jaks,
sest kartes üliküllastust, sai iga rõõmu
mahl parim välja kurnat jäädavaks.

Meil pole taie, luulelooming hinnas,
ei hoova sellest meele sulnist vaimustust;
me ahnelt säilitame tundejääneid rinnas —
maet kitsidusest ahtrat varandust.
Ja juhuslik on meie arm ja põlgus,
me miskit kurjale, ei lembel' ohvriks too,
meil hinges mingi salakülma selgus,
kui veri võtmas tulehoo.
On igavad meil' esihõimu toretsevad naljad
ja nende hoolas, lapsik pahedus;
me hauda läeme, kuulsusest ja õnnest paljad,
vaid meeles pilkav jahedus.

Jõuk sünge oleme, kes õige pea on unund,
me elu käratult ja tühjalt läbi lööd,
me sajandeile viljastavat mõtet pole punund,
ei jätkand geeniusest alat tööd.
Ja kohtuniku rangusega meie tuhka
siis põlastavas salmis solvab järelopõlv:
Tas petet poja mõru mõnitus ei puhka,
lööb raiskund isa tema pilketõlv.

Poeet

Mu põueodal helgib ilustuste kuld,
ta terk on päris veatu, kindel.
Ta teras varjab karastuse salatuld —
see pärus valmis idarindel.

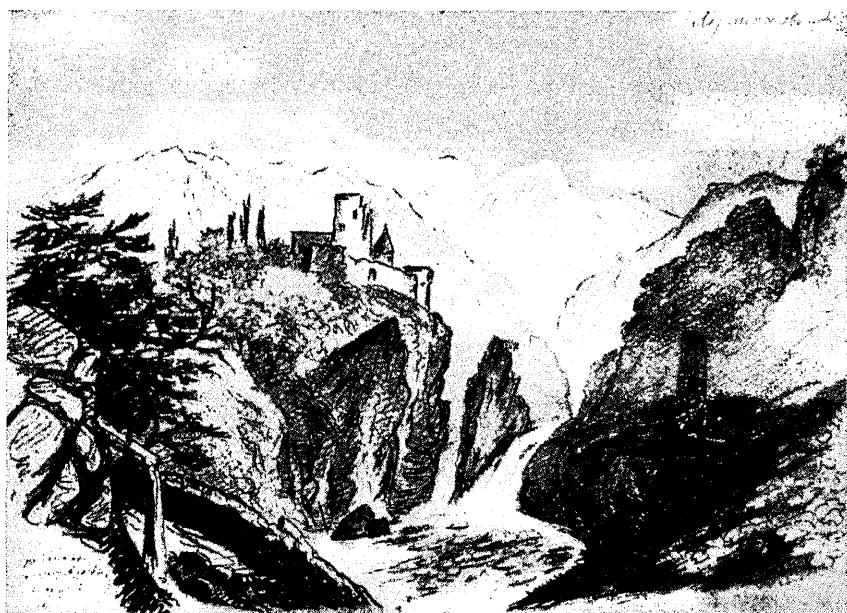
Mäestiku ratsanikku teenind kaua ta,
ei saand see-cest ta tasumärki;
ta mitut rinda torkind hirmsa jäljega
ja mitut lõhkund soomussärki.

Ta kuulekamalt orjast jagand lõbustust
ja solvel' vastu kõlises ta;
noil päevil tundnuks rikkalikku nikerdust
ta häbina kui võörast kesta.



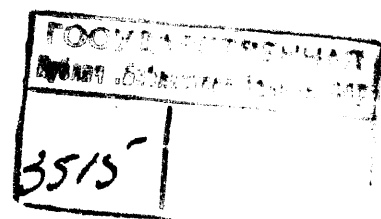
M. Lermontov

Joonistus



M. Lermontov

Joonistus





M. Dobužinski

Illustratsioon „Kaznatšeišale“

Ta võttis taga Tereki kord kasakas
ta peremehe hangund laibalt,
siis unustatult oli kaua lebamas
armeenlase man rändpoe vaibal.

Nüüd tupest, purustatust sõjas, ammu ju
on kangelase seltsik ilma,
oh häda! seinalt, kuulsusetu, kahjutu,
kuldleluna ta särab silma.

Ei ükski hoolitsev ja osav käsi soe
ei hellalt puhasta ta keha,
ei keegi palvetades tema kirju loe
täis harrast indu enne eha.

Me lõtvund ajal oled sinagi, poeet,
ehk kaotand oma mõtte, ihaks
kui sulgi kulla vastu müüa võim, mis peet
maailmas hardumuses pühaks?

Kord sinu võimsa sõna mõõdet kõla teoks
ja löömaks sõdalasi küttis,
hulk seda vajas nagu karikatki peoks,
kui viirukit, milt palveks süttis.

Su salm kui looja vaim kord lehvis hulga pääl
ja õilsa mõtte vastukajal
ta kõlas nagu tormis kutsekella hääl
nii peol kui rahva häda ajal.

Su lihtne uhke keel näib igav meil' ja külm,
võltskullal', pettel' meel me valla,
kui eakas iludus, nii elatand maailm
kõik kortsud peidab puna alla.

Kas, äranaerdud prohvet, ärkad korraaks veel
või iial, kättemaksust aetud,
ei tõuse kullat tupest sinu terga keel,
mis põlastuse roostest kaetud?

Ennustus

Sul saabub aeg, must aasta, Venemaa,
kus tsaare kroonid peavad langema;
kus neile endist armu keelab mass,
ja surmast, verest paljud toitumas;
kus lapsi, sama süütuid naisi ei
koostpaisat seadus enam kaitsta või.
Kuis laibust haisevatest tõuseb katk,
kel mööda kurbi küli algab matk;
ta viipab: kaob siis hütist inimjalg,
maad kehva hakkab vaevutama nälg,
ja tulekuma punab-jõevees:
tol päeval ilmumas on võimas mees.
Sa tunned ära ta — sul selgub pääs,
miks tal on jube terasnuga käes;
ja häda sulle! — sinu oiged, nutt,
neis näeb ta ainult nalja asjatut;
ja kohutav ning sünk on temas kõik,
ta mantel kui ka laup on kõrge, võik.

★ ★
★

Hääd aega, pesematu Vene,
sa orjamaa, sa härrasmaa,
ja kuulekas mu rahvakene,
kõik taevasini-mundrid ka.

Võib-olla taga Kaukasuse
saan varju sinu tsaari eest,
ta silma kõikenägevuse
ja kõikekuulva kõrva eest.

Tamaara

Darjali mäekurude süles,
kus Terek on kaevlemas morn
sää! mustava kalju päält üles
must kerkimas muistine torn.

Ja elutses kõrguse vilus
Tamaara, noor tsaarinna sää!:
kui taevane ingel nii ilus,
kui demon nii kuri ja õel.

Ja kaudu ööudusid külmi
kuld-kirgast näeb helkimas tuld,
lööb kutsuvalt teekäija silmi:
siin ööbigu muretult.

Ja kostsid Tamaara suust hüüded —
puha soovide, kirgede põim,
kõikvõimsate võlude püüded
ja suur äramõistmatu võim.

Ennäe, nende kutsete varjus
siis avanes värav ja luuk:
läks sõdur ja kaupmees ja karjus,
neid võstis sää! sünge eunuuk.

Ja pehmes sulgpadjastet sängis
brokaadi ja pärlide sees
Tamaara neid ootas, kui mängis
vaht viina täis peckreis ta ees.

Lõid palavad käed ümber öla,
jäi liibuma huultele huul,
ja kummalist, metsikut kõla
öö läbi sää! levitas tuul.

Kui oleksid mahajäet torni
sada tormakat noormeest ja naist
õisiks pulmadeks kogund... või morni
see matusejootude paist?

Kuid vaevalt et hommikusära
ju kiiritas mägede raad,
silmpilkselt siis vaibus kõik kära,
ja pimedus võttis taas maad.

Nüüd kohas Darjali mäekurus
vaid Tereki mürisev hoog;
vaid laine end lainele surus
ja voogu jäänd jälgima voog.

Ja nutuga laipa tumm-kalget
säält viima nad ruttasid nüüd...
Näe, aknal on midagi valget,
ja kostmas säält hüvasti-hüüd.

Ses hüvastijätus nii mallist,
nii magusat häälightsust näis,
kui töotaks taasnägemist kallist,
mis armastus-heldimust täis.

On igav ja kurb

On igav ja kurb! — pole suruda kellegi kätt,
kui südamehädas end laastad...
Ja soovid!... mis kasu on toonud see soovide pett?...
Kuid aastad, need kaovad — kõik parimad aastad!

Arm — keda küll helliks? — ei tänaseks tasu end see,
kuid igavest armastust pole...
Kas endasse vaatad? — sääl möödunust puhas on tee:
rõõm, piinad ja kõik on nii vilets et kole...

Ja kired? — Kaob vara või hilja see magus-õrn äng,
eks mõistus tast jagu saa vali.

Ja elu, kui jaheda huviga vaatled, — on mäng,
on selline rumal ja tühine nali!

Äike

Kõu müriseb ja suitseb pilvi,
all mustab meri põhjatu,
ja kihisevat vahukülvi
ühtjärke purskab lainesuu.
Ja kurva välgu madu väänleb
kesk rahne tulelindina,
ürgjõude parvi mässus käänleb —
siin liikumatult seisan ma.

Ma seisan — kohutab siis seda
see loodusjõude tunglev müll,
kes asjata on tundnud, keda
on elu petnud küll ja küll?
See, kelle ümber põimund palju
on hingemürki laimuna,
nii nagu ümber terkja kalju,
leek-hävitaja, lookled sa? —

Oh ei! — Eks lenda, tulipäine,
m'ust üle tuiska, tuulelind!
Ma seisan siin, ükskõikne, jääne,
ja värin, see ei tunne mind. —

Tõlkinud Marie Under.

M. J. LERMONTOV

B. EICHENBAUM

1

Igähte, kes esmakordselt asub lugema Lermontovi, peab eelkõige hämmastama üks joon tema luules: selle sügav ja pinev kurblikkus, selle traagiline joon. See joon eristab Lermontovi luule järsult Puškini luulest. Puškini traagilisi teemasid pehmendab alati ajaloo-tunne ning usk ajaloo seaduste reaalsesse tähendusse. Puškini inimene esineb meile alati ühiskonna liikmena, teatavasse ajajärku ja kultuuripiirkonda kuuluva inimesena, ajaloo sünnitiseana. Seetõttu on Puškin nii orgaaniline ja tugev just oma ajaloolistes pocemides („Poltava“, „Vaskratsanik“), jutustustes („Kapteni tütar“, „Petter Suure moorlane“) ja näidendites („Boris Godunov“).

Hoopis teist näeme Lermontovi juures. Lermontovi inimene on mässaja, kes pole nõus ajalooliste seaduste ja pärimustega. Lermontovi kangelane — see on tugev, crandlik isiksus, kes astub välja ühiskonna vastu. Kui ta hukkub, siis nimelt oma mitte-nõusolekut uhkelt demonstreeriva kangelasena. Puškini Aleko pole kangelane, vaid roimar, kelle mõistab hukka vana mustlane: „Siis lahku meist, sa uhke mees... V a i d e n n a s t t a h a d v a b a k s v õ i t a... Sa õel ja julge — lahku meist.“ Lermontovi inimene ongi see kuri ja julge Aleko, kuid ta on õigeks mõistetud ja kangelaseks ülendatud: ta tahab enesele vabadust seepärast, et ta põlgab ühiskonda ega usu ajaloosse.

Lermontovi inimene vastustab Puškini inimest nagu vastuväide, ja Aleko, kellelt Puškin hiilguse võttis ja keda ta alandas, leiab enesele varjupaiga Lermontovi luules tema kangelaste esisana — Arbenini, Deemoni ja Petšorini esiisana. Just sellepärast ei õnnestunud ajaloolised teemad ja žanrid kunagi Lermontovi käes, nii tihti kui ta katsuski nende kallale asuda. „Vadim“ jäi lõpetamata, sest ta irdus konkreetsest ajaloolisest olustikust; „Bojaar Orša“ muutus „Mtsõri“ks, kus Vene XVI sajandi (Ivan Julma ajajärgu) asendas Lermontovile kaasaegne Kaukaasia; „Deemon“, mis oli algselt kavatsatud piiblliliku süžeenä („juutide vangipõlve ajal Paabelis“), siirdub hiljem hispaania keskaega, ja siit — Kaukaasiasse. Juba see tegevusaja ja koha muutlikkus ning liikuvus näitab, et Lermontovi loominguliste kontseptsioonide aluseks olid abstraktsed isiksused, abstraktsed kangelased kui ideede ja meeolude kandjad, kuna aga ajalooline olustik ja ajajärk etendasid teisejärgulist, tinglikku osa. „Laul tsaar Ivan Vassiljevitsšist“ ei räägi vastu sellele järeldusele, vaid toetab teda: see on rahvaeepose stiliseering, nende aastate Lermontovi kohta iseloomulik rahvaluuleline katse (võrdle „Borodino“), milles ajalugu on ainult üldiseks ja väga tinglikuks dekoratsiooniks.

Säärane suhtumine ajaloole ja ühiskonnale, säärane kirglik keskendamine tugeva isiksuse probleemile, probleemile „vabadust iseenese jaoks“ („Mtsõri“), on iseloomulikud Lermontovi kui kolmekümnendate aastate inimese kohta. See oli ühiskondlike meeolude äärmise madalseisu ajajärk, pettumuse ja lootusetuse ajajärk, mis olid haaranud vene aadli paremiku pärast detsembri-ülesthõusu likvideerimist. „Nikolai ajastu“, mis vältas 1825. aas-

tast (Nikolai I troonileastumine) kuni 1855. aastani (Krimmi sõda ja Nikolai I surm), oli üks kõige süngemaid ajajärke Vene ajaloos. Need olid hirmsa vägivaldavalitsuse aastad, kus valitsus maksis julmalt kätte liberaalse aadli riismetele, just neile aadlikihtidele, millesse kuulusid nii Puškin kui ka Lermontov. Puškin ennatas veel osa saada eelnenud Aleksandri-ajajärgust, kõigi võimalike ühiskondlike aimuste ja lootuste ephhist, kuid temagi langes — lõppude-lõpuks — Nikolai režiimi ohvrina. Tema nooremad kaasaeglased astusid ellu juba pärast 1825. aastat ega omanud mingeid lootusi. XIX sajandi kolmekümnendad ja neljakümnendad aastad — need on traagiliste hukkamiste ja hullumiste aastad just vene aadli intelligentses, kultuurises, mitte-sõjaväelikus kihis, mis kannatas erilist survet Nikolai režiimi poolt. Selle ajajärgu ohvrite hulka kuulub ka Lermontov.

Kuid oli ju ometi Lermontovi kaasaeglaste seas mehi, kes elasid sama rõhumise all, kuid ei kaotanud usku ajaloosse ja ühiskondliku võitluse jõusse parema tuleviku eest: Belinski, Herzen, Ogarev, Bakunin. Mispärast ei astunud Lermontov nende tähelepanuväärsete „kolmekümnendate aastate meeste“ hulka, ei ühinenud nendega? Mispärast eelistas ta, hoolimata Belinski katsetest lähendada teda sellele ringile, jääda neist eemale?

Inimeste käitumine, nagu nende teadvuski, pole vaba: ta oleneb tervest reast tingimustest, mis on seotud kasvatusega, keskkonnaga, seltskondliku seisukohaga jne. Lermontov oli teissugusest ringkonnast pärit ja teissuguse ühiskondliku hingeeluga kui näiteks Belinski. Oma elu kõigi tingimuste poolest kuulus Lermontov kõrgemasse, suurmaailma seltskonda. Ta võitles selle seltskonnaga, kuid selle enese piirides, selle „vangina“. See oli võitlus klassi sees, mitte väljaspool seda. Lermontovil ei olnud ega saanudki olla neid maailmavaatelisi aluseid ja teooriaid, millede järgi käis Belinski. Oma ringkonna piiridesse suletuna ei saanud Lermontov olla tema võitja, vaid ainult tema kangelaslik ohver. Lermontovi looming, nagu tema hukkaminegi, andis tunnistust ühiskonna halvast käekäigust, oli tulevaste ühiskondlike katastroofide signaaliks.

2

Lermontov sündis 1814. aastal (ööl vastu 3. oktoobrit vana kalendri järgi) Moskvas. Tema isa, endine sõjaväelane, ei teeninud sel ajal enam: 1811. a. läks ta erru, kuigi ta oli tol ajal ainult 24-aastane. Ta põlvnes põlisest šoti suguvõsast. Üks tema esiisadest, Thomas Eartheldawn, kes elas XIII sajandil, oli luuletaja ja sai enesele „Learmont'i“ hüüdnime, mis astuski perekonnanime asemele. Lermontovi ema oli sündinud Arsenjev, ema poolt aga Stolõpin, suurmõisnike tütar.

Juba päris väikese lapsena jäi Lermontov isatuks ja ematuks: ema suri 1817. aastal, isa aga läks temast juba varem lahku ja elas omaette. Nende perekonnaelu ajalugu, ema surma põhjus ja isa isiksuski — see kõik on jäänud praeguseni täiesti tundmatuks, nagu pole teada ka see, mispärast isa läks nii vara erru. On vaid teada, et pärast ema surma jäi Lermontov oma vanaema Jelizaveta Aleksejevna Arsenjevi juurde, kes võttiski enda kätte tema kasvatamise, ja teatakse veel, et vanaema ja isa suhted olid vaenulised, mille all nooruk Lermontov väga kannatas.

Salapärasus ja teadmatus, millesse on peidetud Lermontovi isa elu ja isiksus, viivad mõttele, et selle vaenu peamised põhjused asetsesid väljaspool kitsalt perekondlikke suhteid. On võimalik, et see vaen oli mingi seltskondliku, tema karjääri hävitanud katastroofi

tagajärg. Lermontovi selles luuletuses, mis on kirjutatud pärast isa surma, on ilmseid viiteid mingile tragöödiale, mis küünib üle perekondliku riidu piiride, mingisugusele konfliktile suurmaailma seltskonnaga.

Olgu sellega nii või teisiti — igatahes oli Lermontov varasest lapsepõlvest alates rasket perekonnastseenide ja -kõneluste tunnistajaks, mis mõjusid tugevasti ta kujutlusele. Loomult väga närviline ja vastuvõtlik Lermontov hakkas tänu oma lapsepõlve olukordadele väga varakult juurdlema säärase küsimuste kallal, millede üle selles *cas* veel ei mõtiskelda. Aastail 1827—1828 hakkab ta juba kirjutama värssse. Tema luuletused aastaist 1830—1831 (kus ta oli ainult kuusteist-seitseist aastat vana) hämmastavad oma teemade tõsisusega ja väljenduse jõulisusega.

Kuni 1928. aastani elas Lermontov oma vanaemaga mõisas (Tarhanõ suurkülas Penza kubermangus), sel aastal aga astus aadlikku pansioni Moskva ülikooli juures. 1830. a. sügisel astus ta Moskva ülikooli, „kõlbelis-poliitilisse osakonda“. Samas ülikoolis õppis sel ajal nii Belinski kui ka Herzen ja Ogarev. Niisiis avanes Lermontovi ees tee ühiskondliku tegevuse alale, „vene haritlaskonna“ ridadesse. Kuid Lermontov hoidus seltsimeestest eemale ja tundis vähe huvi ülikooli ning üliõpilaselu vastu. See-est elas ta väljaspool ülikooli müüre väga pingerikkalt — luges ja kirjutas palju. 1830. ja 1831. aasta jooksul kirjutas ta ligi kaks sada luuletust, mitu poeemi ja kolm näidendit. Ta mõtleb juba kirjanudlikule karjäärile, ja Byroni elulugu lugedes võrdleb end temaga.

Eksamite ebaõnnestumine sunnib Lermontovi lahkuma Moskva ülikoolist. Tema seltsimees P. F. Vistenhof jutustab oma mälestustes, et Lermontovi hoiak oli professorite suhtes väga väljakutsuv ettevalmistavail „repetitsioonidel“, s. t. poolaasta-kontrolleksamil. „Neist häbematuist ülesastumistest professorid solvusid ja püüdsid Lermontovi avalikel eksamitel sisse vedada.“ Lermontovile pandi ette jääda kursusele teiseks aastaks. Ta cellistas minna üle Peterburi ülikooli, kuid Peterburisse jõudmisel selgus, et siin ei võeta arvesse tema kaheaastast õppimist Moskva ülikoolis ja et tal tuleb uuesti teha eksam esimesele kursusele. Siis ta otsustab ülikooli maha jätta ja asuda hoopis teisele teele: astuda kaardiväe alamlipniku ja ratsaväe junkrute kooli, et pärast üle minna ihukaitseväge husaripolku.

Lermontov ei olnud ses suhtes ükski: samuti tegid tema lähedased kaaslased Polivanov ja A. Stolõpin, samuti tegid paljud teised selle ringkonna noormehed. Opetus ülikoolis oli väga madalal järjel, üliõpilaskeskond oli enamjaolt võõras Lermontovi-taoliste inimestele, ja tulevane teenistuskarjäär ei sisaldanud samuti midagi meelitatavat. Sõjaväeline karjäär näis kohasemana suurmaailma noorukite jaoks. Muide, Lermontov ei astunud seda sammu ilma kurvastuseta. Kooli astudes kirjutas ta oma lähedaste sõbratarile M. A. Lopuhhinile (1832. a. sügisel): „Ma ei suuda kujutella, millise mulje jätab teile minu tähtis uudis. Seni elasin kirjanduslikule karjäärile, tõin niipalju ohvreid oma tänamatule eajumalale, ja ennäe, nüüd ma olen — sõjamees. Võib-olla on see jumaliku ettenägevuse eriline tahtmine; võib-olla on see tee kõige lühem, ja kui ta ei vii mind minu esimesele eesmärgile, siis vahest viib ta kõige olemasoleva viimsele eesmärgile: surra, kuul rinnus — see pole halvem rauga aeglasest agooniast. Niisiis, kui algab sõda, vannun teile jumala juures, et olen alati eesotsas.“

Neist sõnadest on näha, et ülikoolist lahkumist pidas Lermontov tõsiseks murranguks oma elus — oma „kirjandusliku karjääri“ lõpuks. Uhtlasi ei meelitanud ta end mingite sõjaväeteenistuse hiilgavate väljavaadetega; erinevalt paljudest teistest oma ringkonna

noormeestest ei näinud Lermontov selles karjääris enese jaoks midagi veetlevat. Kuid teist väljapääsu ei olnud, ja Lermontov astus selle saatusliku sammu.

Hakkasid venima drilli ja sõjaväeliste õppuste aastad — „kaks hirmsat aastat“, nagu ta ise väljendas ühes kirjas samale Lopuhhinile (1834. a. detsembris). Neil aastail ta peaaegu ei kirjutanudki.

1834. aasta lõpul Lermontov lõpetas kooli ja võeti vastu ihukaitseväge husaripolku. Algas see suurmaailma-elu, millest üksikasjaliselt jutustavad Lermontovi eluloo kirjutajad: ballid, fliridid, prassingud jne. Kuid see kõik oli elu pealispind, mille taga oli palju muud, mida Lermontovi sõbrad ei näinud ja millest ta harva kellelegi kõneles. Isegi ta lähedane sõber ja sugulane A. P. Šan-Girei, kes on kirjutanud temast mälestused¹, ei suuda peaaegu midagi jutustada neist esimestest aastatest pärast tulekut koolist polku — kuni 1837. aastani. Neil aastail pöördus aga Lermontov tagasi loomistöö juurde: ta kirjutas mõningad luuletused, poemi „Bojaar Orša“, draamad „Maskeraad“ ja „Kaks venda“ ja hakkas koos oma sõbra S. A. Rajeviskiga kirjutama romaani „Vürstinna Ligovskaja“.

Tema tõeliseks sõbraks oli sel ajal just see S. A. Rajeviski, kellega ta Peterburis koos elas. Kahjuks on ka sellest mehest väga vähe teada. A. P. Šan-Girei ütleb tema kohta ainult, et „ta teenis sõjaministeeriumis, õppis ülikoolis, sai hea hariduse ja omas tutvust kirjanduslikus ringkonnas“. Ta oli nähtavasti väga tark, tagasihoidlik ja hea inimene — sellest annavad tunnistust Lermontovi kirjad temale. Ühes 1838. a. kirjas kirjutab Lermontov talle muu hulgas: „Kui sa sõidad Kaukaasiasse, siis see, ma olen kindel, toob sulle palju kasu kehaliselt ja kõlbeliselt: sa pöördud tagasi luuletajana ja mitte majanduslik-poliitilise unistajana, mis on hingele ja ihule tervem“. Nimetus „majanduslik-poliitiline unistaja“ osutab sellele, et Rajeviski tundis huvi ühiskondlike küsimuste vastu ja oli eesrindlik inimene. Seda tähtsam on asjaolu, et Lermontov sõbrustas just temaga.

Aastail 1835—1836 esines Lermontov juba trükisõnas. „Kirjanduslik karjäär“, millele ta oli risti peale tõmbamas 1832. aastal, algas uuesti. Kuid päriselt ja kohe väga valjuhäälselt algas ta 1837. aastal, pärast Puškini hukkamist, kui käest kätte hakkas käima Lermontovi luuletus „Poecedi surm“. Sellest luuletusest sai alguse Lermontovi kuulsus; temast said alguse ka need tagakiusamised, mis lõppesid nelja aasta pärast Lermontovi hukkamisega Kaukaasias.

3

„Poecedi surm“ on poliitiline ood, adresseeritud Nikolai valitsusele. Tähelepanuväärse kirklikkuse ja jõuga langeb Lermontov siin kallale trooni ümber kogunenud ülbe-tele võimuritele, „kel tuntud alatus on kuulsaks teinud isad“. Kust on pärit säärase husari viha, kes ise kuulub suurmaailma nooruse hulka? Mida tähendab see revolutsiooniline toon?

Oleks muidugi eksitus võtta seda luuletust revolutsioonilisena selle sõna tõelises mõttes. Lermontovi hääel ei ole revolutsioonilise demokraatia hääel, kes astus mõnevõrra hiljem välja tollaegse sotsiaalse ning poliitilise korra aluste vastu. See on sama revolutsiooniliselt meelestatud aadli hääel, kes läks 14. detsembril 1825. aastal senati väljakule ja lasti maha Nikolai I poolt. Lermontovi luuletus on dokument, mis annab tunnistust sellest, et

¹ „Русское обозрение“ 1890, nr. 8. Ära trükitud raamatus: E. Сушкова, „Записки“, Ленинград, 1928.

võitlus aadli enese keskel jätkus ka kolmekümnendail aastail, et dekabristide ideed ja meeleolud ei hukkunud ühes nendega. Lermontov esineb ses luuletuses dekabristide järeltulijana, Nikolai režiimi poolt ülekohut kannatanud aadlikuna („ma õnne tujutsusest solvund soost üks kild“), selle õukondliku bürokraatia vaenasena, kes oli asunud tõelise põlise aadli kohale. „Tuntud alatusega kuulsaks saanud isade“ järeltulijad on need tõusikud ja seiklejad, keda edutas ja meelitas enese juurde teenistusse Nikolai I võitlemiseks selle riigiteenistuses mitte seisva põhiaadliga, kes pretendeerisid võimule juba Aleksander I ajal.

Et mõista Lermontovi revolutsioonilisi meeleolusid ja ideid, mis ilmnevad juba tema noorpõlvluuletustes („Vabaduse viimne poeg“, „Lumede pojad, slaavlaste pojad“, „Te, uhked, jälle ülestõusul“ jt.), selleks on tarvis silmas pidada, et ta kuulus sellesse aadlinoorusse, keda võib nimetada dekabristide õpilasteks ja järelkäijateks. Need uus-dekabristid, need surmamõistetud õpetajate järelkäijad ei saanud enam ega julgenud enam laialdaselt propageerida oma ideid, töötada välja programme ja tegelda liikumise organiseerimisega; nad tegutsesid tasapisi, lootmata tegelikke tulemusi ja mitte enam uskudes võidu võimalusse — mitte parteina, vaid teatava ühise saladusega seotud inimeste ringina. Võib olla kindel selles, et Lermontovi sõber, „majanduslik-poliitiline unistaja“ Rajevski, kes sai kannatada Puškini surmale pühendatud värsside levitamise eest, oli just säärane tüübiline uus-dekabrist. Luuletus „Poedi surm“ ei olnud muidugi mitte Lermontovi ainuisiklik toode, mitte ta enese üksildaste meeleolude äkiline leegitsus, vaid omamoodi üleskutse, mis iseloomustas aadlinoorsoo teatava ringkonna ideid ja meeleolusid.

Seni on olnud viisiks mõtelda, et Lermontov seisis üksi, ja et tema luule väljendab ainult tema isiklikke vaateid ning meeleolusid. Säärane vaatekoht on takistanud tema käitumise, tema elu ja tema loomingu mõistmist. Selle vaatekoha on rajanud tema senised clulookirjutajad, kes pole võtnud arvesse mõningaid väga tähtsaid fakte ega taibanud, et on tegemist inimestega, kes hoolsasti varjavad oma mõtteid ja tegusid. Lermontovi elu, nagu ka paljude tema kaaslaste ja kaasaglaste elu, on õifreeritud. Et seda elu mõista, selleks on vaja püüda vihjeid ja aimata. Selle kihi inimesed ei julgenud kirjavahetust pidada, ei julgenud kirjutada pävikuid ega mälestusi, ei julgenud koguneda ega kõnelda. Kes ei suutnud sellele katsumisele vaikimisega vastu pidada, see hukkus. Nii hukkus ka Lermontov.

Kolmekümnendate aastate lõpul, kui Lermontov kirjutas luuletuse „Poedi surm“, ei seisnud ta sugugi üksi. Ta oli lähedases sõpruses terve rühmaga suurmaailma noorsoost, mis moodustas niinimetatud „kuueteistkümnene ringi“. See oli nähtavasti uus-dekabristide ehk õigemini dekabristide epigoonide ring. Selle ringi koosolekuist ja tema saatusest on säilinud (nagu see teisiti ei võinud ollagi) väga vähe teateid. Ainult üks tema liikmeist, kes etendas nähtavasti põhimist osa ses ringis, on tema üle avaldanud mõningad trükiread, ja sedagi alles seitsmekümnendail aastail, kus peaaegu kedagi ta kaaslastest polnud enam elavate seas, ja ta ise, emigreerunud neljakümnendail aastail, oli juba ammu prantsuse kodanik: ma kõnelen krahv Ksaveri Branitskist. Oma prantsuskeelses raamatus slaavlaste üle, mis ilmus Pariisis 1879. aastal¹, tuletab ta meelde seda ringi, mis käis koos kolmekümnendate aastate lõpul:

¹ „Les nationalités slaves. Lettres au révérend P. Gagarin s.-j.“ Paris, 1879.

„See ühing,“ kirjutab ta, „koosnes osalt ülikoolinoorsoost, osalt Kaukaasia ohvitseridest. Igal ööl kogunesid nad teatrist või ballilt tulles kord ühe, kord teise juurde. Seal jutustasid nad, pärast tagasihoidlikku õhtusööki oma sigareid suitsetades, üksteisele päevasündmustest, lobisesid kõigest ja arvustasid kõike täielikema sundimatuse ja vabadusega, nagu poleks olemaski tema keiserliku kõrguse isikliku kantselei III osakonda¹.“

Selle ühingu liikmeid loetelles nimetab Branitski esikohal Lermontovi, siis A. A. Stolõpinit (Lermontovi sugulast ja sõpra), vürst I. S. Gagarinit, krahv P. A. Valujevit, vürste S. ja A. Dolgorukisid, parun D. P. Fredericksi, krahv A. P. Šuvalovit. Nagu on näha perekonnanimedest, oli see tõepoolest suurmaailma tiitleid kandev noorsugu — ihukaitsevæe husarid ja kaardiväelased. Need ei olnud revolutsionäärid, vaid uue aadli-opositsiooni esindajad — dekabristide õpilased ning järelkäijad. Ja selle ringiga liituski Lermontov. Siin asetseb pinnas, millel tekkisid tema kodanikuteadvuslikud luuletused: „Poeedi surm“, „Mõtiskelu“, „Poeet“.

„Kuueteistkümnene ringi“ liikmete seas nimetab Branitski I. S. Gagarinit, kes oli Lermontovi sõber juba 1836. a. Teiselt poolt oli see Gagarin P. J. Tšaadajevi lähedane sõber ja õpilane, sama Puškini kaudu tuntud Tšaadajevi, kes oli üks dekabrismi vaimustajaid ja esivanemaid.

On loomulik oletada, et ka Lermontov oli Gagarini kaudu ideelises ühenduses Tšaadajeviga, seda enam, et Tšaadajev oli varem teeninud samas ihukaitsevæe husaripolgus, kus säilis suur lugupidamine tema kui kõige harituma ja targema mehe vastu. Selle oletuse teevad faktid tõeks. Lermontovil on luuletus, mille esimene stroof on käsikirjas ära rebitud; ta pöördub mingi „üllas mehe“ poole, kelle vaprust pole kaasaeglased hinnanud („Oo üllas mees! ei leidu tasu, mis siin su vaprust oleks väärt“ jne.). See suur mees on Tšaadajev; luuletus on kirjutatud nende tagakiusamiste ja etteheidete puhul „isamaa reetmises“, mis kutsus esile tema „Filosoofilise kirja“ ilmumine (1836. a.). Vähe sellest: Lermontovi kuulus „Mõtiskelu“ („Ma kurvalt vaatlen meie sugupõlve“) osutub ühenduses seisvaks sama „Filosoofilise kirjaga“: Lermontov kordab siin Tšaadajevi mõtteid.

Niisiis see on Lermontovi ring ja need on ta ideede ning meeolude juured kolmekümnendate aastate lõpul. On iseloomulik, et saabunud 1837. aastal Kaukaasiasse (esimene väljasaatmine), Lermontov tutvus kõigi seal elavate dekabristidega; kuid nende leppimuslik meelestus (need olid teisejärgulised dekabristid, kes kiiresti loobusid oma vaadetest) peletas ta eemale: „Mõnede valitsuse korralduste üle,“ ütleb dekabrist M. A. Nazimov, „milledega me kõigest hingest kaasa tundsimise ja milledest me unistasime oma õnnetus nooruses, heitis ta halastamatut nalja.“ Ainus dekabrist, kellega Lermontov Kaukaasias tõepoolest sõbraks sai, oli A. I. Odojevski (vt. luuletus „A. I. Odojevski mälestuseks“), andekaim ja oma noorusliku tulisuse säilitanud inimene, ja seejuures nimelt selle seltskondliku ringkonna inimene, millesse kuulus Lermontov. Viimane asjaolu on samuti väga tähtis: Lermontov ei olnud sugugi „ülejooksik“ oma klassist; ümberpöördukt, aristokraatlikud harjumused ja eelarvamused olid temas võib-olla tugevamad kui Puškini. Lermontov tundis isegi kolmekümnendate aastate lõpul ilmset võõristust kirjandusliku ringkonna vastu, ja hoolimata oma kaasatöötamisest „Isamaalistes kirjutustes“ (Отечественные Записки; selles ajakirjas ilmusid harilikult tema luuletused) hoidus ta eemale toimetusest ja lähimatest kaastöölisest, nende seas näiteks ka Belinskist.

¹ Vt. N. Viktorovi artiklit „Kuueteistkümnene ring“. „Исторический Вестник“, 1895, nr. 10.

1837. aasta lõpul pöördus Lermontov asumiselt tagasi. Aastad 1838 ja 1839 veetis ta Peterburis. See oli aeg, kus ta võttis osa „kuueteistkümne ringist“ ja tegi väga pingeliselt kirjanduslikku tööd; luuletused „Mõtiskelu“ ja „Poet“, romaan „Meie aja kangelane“ ja poemid „Mtsõri“ ning „Deemon“ (uus ümbertöötus) on nende kahe aasta peamised tulemused. 1840. aastal ilmus valimik tema luuletusi ja „Meie aja kangelase“ esimene trükk. Lermontovist hakati rääkima kui suurest kirjanikust, kui Puškini pärijast. Mõningate mälestuste järgi otsustades mõtles ta erru minemisest ja tahtis täielikult anduda kirjandusele. Tal oli koguni kava organiseerida ajakirja. Kuid saatus otsustas teisiti.

1840. aasta kevadel, sattunud suurmaailma ballil tülli prantsuse saadiku De Barante'i pojaga, kutsus Lermontov ta kahevõitlusele. Kahevõitlus lõppes mittemillegagi, kuid Lermontov areteeriti ja saadeti uuesti Kaukaasiasse. Võib oletada, et see duell pakkus selleks vaid põhjenduse. Lermontovi ja tema sõpru „kuueteistkümne ringis“ nähtavasti jälgiti juba ammu. Kõige tõenäosem on, et see väljasaatmine Kaukaasiasse oli kogu ta käitumise lõpptulemus: Lermontov oli selleks liiga „rahutu“ inimene, et Nikolaj sandar-meeria oleks võinud temaga leppida.

On huvitav, et üheaegselt Lermontoviga sõitsid Kaukaasiasse kõik „kuueteistkümne ringi“ liikmed. Sellele osutab selgesti lause J. Samarini kirjas I. S. Gagarinile (19. juulist 1840. a.): „Varsti pärast teie ärasõitu liikus Moskvast läbi terve kuueteistkümne rühmkond, suundudes lõunasse. Ma nägin tihti Lermontovi tema viibimise ajal Moskvast.“ Tekib loomulik mõte, et kogu „kuueteistkümne ring“ oli Kaukaasiasse välja saadetud, ja et just Lermontovi kuulumine sellesse kahtlase ringi, mitte aga tema kahevõitlus De Barante'iga oli selle teise, temale saatuslikuks saanud väljasaatmise peamiseks põhjuseks. Paljud selle ringi liikmed hukkusid Kaukaasias: kes kokkupõrgete ajal mägilastega (Kaukaasias käis sel ajal äge sõda „tõrksate“ Kaukaasia suguharudega — vt. Lermontovi luuletus lahingust Valeriki juures), kes kahevõitlusel, kes suri haigusse. „Kui vähe neid sõpru, kes sel ajal olid noored, täis elu, on jäänud siia maailma, kus, nagu näis, neid kõiki ootas pikk ja õnnelik elu!“ — hüüatab K. Branitski oma raamatus.

Belinski, kes õppis Lermontovi lähedalt tundma 1840. aastal (ta külastas Lermontovi, kui see viibis vahi all, ja kõneles temaga kaua), kirjutas samal ajal kirjas oma sõbrale: „Muide: tema kahevõitlus De Barante'iga on lihtsalt loba. Barante (salongi Hlestakov) kriimustas teda kergelt käest, ja kriimustus on juba ammu kinni kasvanud. Kohus tema üle on lõpetatud ja otsus läks tsaarile kinnitamiseks. Arvatavasti viiakse see kange poiss armeesse üle. Sel juhul tahab ta paluda end Kaukaasiasse saata, kus valmistatakse mingit tähtsat sõjakäiku tšerkesside vastu. See üliuljas vene pea otses kipub noa otsa. Suurmaailma seltskond on ta ära tüüdanud, rõhub teda.“

Samas kirjas kirjutab Belinski pärast kokkusaamist Lermontoviga vanglas:

„Ma vaidlesin temaga, ja mulle tegi rõõmu näha tema mõistuspärastes, jahtunud ning kibestunud vaadetes elule ning inimestele sügava usu seemneid nii ühe kui ka teise väärtusse. Ma ütlesin seda talle — ta naeratas ja lausus: annaks jumal! Mu jumal, kui võrd on ta minust madalamal oma arusaamade poolest, ja kui lõpmatult olen mina temast madalamal oma üleolekus temast!“

Mille üle vaidles Belinski Lermontoviga sel tõeliselt ajaloolisel kokkusaamisel? Muidugi

vaadete üle elule, ühiskonnale, ajaloole. Arvatavasti püüdis Belinski Lermontovi veenda, et ta jätaks maha „suure maailma“ ja läheneks haritlaskonnale, püüdis väärata tema „subjektiivselt-salongilist vaadet elule“ (Belinski sõnad samas kirjas). Kuid seda saavutada ei läinud Belinskil korda. Lermontov vaid naeratas, ja luuletuses „Ajakirjanik, lugeja ja kirjanik“ otsekui vastas Belinski kutslele.

Peatselt pärast seda kirjutas Lermontov ühe oma kõige traagilisemaid luuletusi, milles tema „mõistuspärane, jahtunud ja kibestunud vaade elule“ ilmnes erilise jõuga:

On igav ja kurb! — pole suruda kellegi kätt,
kui südamehädas end laastad...

.
Ja elu, kui jaheda huviga vaatled, — on mäng,
on selline rumal ja tühine nali!

„Sügav ja võimas vaim! Kui õigesti suhtub ta kunstile, milline sügav ja puhtalt vahetu on tema ilumaitse! Oo, sellest saab esimene vene luuletaja Ivan Suure ajast arvates!... Iga tema sõna — see on ta ise, kogu tema loomus kõiges oma sügavuses ja terviklikkuses. Ma olen temaga arg — mind rõhuvad säärased terviklikud, täied iseloomud.“ Nõnda võttis Belinski kokku oma mulje kõnelusest Lermontoviga.

Belinski asetab siin vastamisi „a r u s a a m a d“ ja „l o o m u s e“. See, mida ta nimetab „loomuse“ terviklikkuseks ja täiuseks, ei ole mitte veendumuste süsteem, mitte maailma-vaade, vaid midagi hoopis vahetumat, midagi vaistulist ja alateadvuslikku: psüühiline reaktsioon elu muljetele, väga subjektiivne, kuid ühtlasi väga jõuline ja ere reaktsioon, mis on kunstilise loomingu aluseks. See annab kunstiteosele terviklikkuse ja sügavuse, kuid samuti takistab see tihti kunstnikku nägemast maailma ja ennast teisiti kui ta on harjunud, takistab teda välja pääsmast omaenese kujutelmade, omaenese fantaasia ja temperamendi ringist.

Belinski tabas Lermontovi tema hingelise hämmingu olukorras. Lermontov tundis end juba täiesti võõrana „suures maailmas“, kuid ei suutnud veel leida uut teed. Turgenev, kes nägi teda 1840. a. uusaasta-ballil, märkas tema välimuses „midagi kurjakuuluvat ja traagilist; mingi sünge ja kurja jõu hingus lähtus tema tõmmust näost ja liikumatuist tumedaist silmist... Seesmiselt Lermontov tõenäoselt tundis igavust, sügavat igavust; ta oli lämbumas kitsas sfääris, kuhu saatus ta oli tõuganud“. Ja tööpoolest Lermontov kavatses just sel ajal luuletust, milles ta põlgusega rääkis neist „hingedeta inimestest“, neist „süüdsusest koos hoitud maskidest“, ja lõpetas vihase hüüdega:

Oo, kuis siis tahaksin, et nurjuks nende lust,
ja raudse värssi, mis täis kurjust, kibedust,
neil näkku paiskaks raudse värssi.

Lermontov seisis ilmsesti teelahkmel: tal tuli lähimail aastail lahendada oma edasise seltskondliku käitumise probleem. Kuid sel hetkel satub ta uuesti Kaukaasiasse, ja palju karmimatesse tingimustesse kui 1837. aastal. Ihukaitseväe husaripolgust on ta üle viidud Tenginski jalaväepolku ja peab osa võtma sõjakäikudest mägilaste vastu. Ülejäänud ajal ümbritseb teda Pjatigorski seltskond, kes on ametis kaardimängu ja armastusintrigidega.

Ta otsustab teha kõik, et enesele errumineku luba välja teenida ja pääseda tagasi Peterburisse uueks eluks. Kaukaasia sõjaväejuhatas hindab kõrgelt Lermontovi poolt

sõjakäikudel ülesnäidatud vaprust ja paneb ta ette autasu saamiseks; kuid talle keeldutakse aumärki andmast ja teatatakse tema ülemusele:

„Keisrihärra ei suvatse nud pärast selle ohvitseri kohta hangitud aruande läbivaatamist avaldada kõigekõrgemat nõusolekut temale palutava autasu andmiseks. Seejuures tema kõrgus, märgates, et leitnant Lermontov ei viibinud oma polgu juures, vaid et teda kasutati sõjakäigul erilisel tema käsutusse antud kasakate komando ülemana, suvatses käskida teatada teile, armuline härra, kinnitusest, et leitnant Lermontov ilmtingimata oleks oma kohal rivis, ja et ülemus kuidagiviisi ei sõandaks teda mingi ettekäände all eemaldada rivi-teenistusest oma polgus.“

Nagu näha oli Lermontov erilise kõigekõrgema tähelepanu objektiks: tema kõrgus hoolitses väga selle eest, et leitnant Lermontov ei saaks vaprusel silma paista.

1841. aasta jaanuaris palus Lermontov enesele välja puhkusloa Peterburisse. Ta lootis arvatavasti hankida enesele errumineku loa ja valmistada ette pinda uue elu jaoks. Kuid tema lootused olid asjatud. Sama aasta maikuu s tuli tal tagasi sõita — ilma eriliste lootusteta peatsele vabanemisele, kuid see-eest peatse hukkumise eelaimusega. Mitte kaua enne ärasõitu sõi ta õhtust oma sõbratari, luuletajanna Rostoptšini juures. „Kogu õhtusõogi kestel ja jumalagajätuks,“ kirjutab viimane oma mälestustes, „kõneles Lermontov aina teda ootavast peatsest surmast. Ma sundisin teda vaikima ja püüdsin naerda ta tühjadena tundunud eelaimuste üle, kuid need mõjutasid mind vastu mu tahtmist ja ängistasid südant.“ Jumalagajätuks kirjutab sõbratar talle luuletuse, milles muidugi kajastusid tema enese jutustused, mõtisklused ja eelaimused.

Rostoptšin eksis: kaks kuud pärast seda, 15. (uue kalendri järgi 27.) juulil 1841. aastal sai Lermontov kahevõitlusel surma oma ammuse kaaslase N. S. Martõnovi käe läbi. Kahevõitluse põhjust pole praeguse ni suudetud täielikult selgitada, hoolimata kaasaeglaste igasuguste mälestuste ja tunnistuste rohkusest. Martõnov ise vaikis, kuna aga lähedalseisjad teadsid ainult üksikuist faktidest ja põhjendustest. Lermontov nokkis alatasa Martõnovit ja kiusas teda taga oma teravmeelsustega.

Kuid asi ei seisa lõppude-lõpuks Martõnovis ega duellis. Asi seisab selles, et Lermontov, kes oli viidud meeleheiteni ja lootusetu nukruseni, „kippus noa otsa“. Sääraste iseloomude juures muutub enesesäilitamise vaist mõningail hetkil vastupidiseks instinktiks — hukkumise instinktiks. Kui poleks olnud Martõnovi kuuli, siis Lermontov oleks surnud tšetšeeni kuulist.

5

Lermontov oli vahepealse ajajärgu luuletaja — selle põlvkonna luuletaja, kes ei leidnud enam eest dekabraste ega suutnud ära oodata kuuekümnendate aastate revolutsioonilise demokraatia väljaastumist. Sellest tulenebki tema stiili, teemade ja kujude traagiline pinge. I. Aksakov, asetades Lermontovile vastu Puškini, Baratõnski ja Tjutševi, kirjutab neist: „Nende värsist hoovab säärast värskust, mida enam pole ega saagi olla hilisema aja luuletustes; ses värsis on veel näha hiljutise võidu jälg, selle võidu, mis on saavutatud sõnamaterjali üle; on tunda kunstilise vallutuse, omamise võidutsust ning rõõmu. Nende luulet ja just nende suhtumist temale märgib siirus. Meie luule selle siiruseajastu piiril seisab Lermontov. Oma ande vahetu jõu poolest kuulub ta kogu sellesse hiilgavasse luuletajate tähekkogusse, kuid seisab ometi omaette. Tema luule eristub neist

järsult oma sisundi eitava iseloomu poolest. Midagi selletaolist (kuigi me ei mõtlegi neid võrrelda) me näeme ka Heines, kes sulges enesega saksa luuletajate ringi.“

See üldine iseloomustus sisaldab õigeid ajaloolisi tähelepanekuid. Lermontov toob vene luulesse omamoodi disharmonia: rikub tema vormilise tasakaalu, annab värsile erilise energilisuse keele selguse ja plastilisuse kulul, teeb luule otsekui hingelise ja intellektuaalse erutuse otseseks väljenduseks, muudab ta üksildaste mõtete ja pinevil kirgede intiimseks pihtimuseks või valjuks süüdistuskõneks, rahva-kõnemehhe improvisatsiooniks. Sellest tuleb tema luule erilise sisukuse mulje, erilise filosoofilisuse mulje, mis on teinud raskemaiks klassikalise vene värsi endised vormid, kuid on see-est andnud neile ennenägematu energia ning tundmusliku väljendusrikkuse. Belinski kirjutas V. Botkinile pärast Lermontovi surma: „Lermontov jääb Puškinist kaugele maha kunstipärasuselt ja virtuooslikkuselt, musikaalses ja vetruv-nõtkes värsis; selles kõiges jääb ta maha isegi Maikovist; kuid sisu, mis on ammutatud sügavaima ning võimsa loomuse põhjast, hiiglaslik hoog. demonlik lend... — see kõik sunnib mõtlema, et Lermontovis me kaotasime luuletaja, kes sisu poolest oleks jõudnud kaugemale Puškinist.“

Lermontovi luule tähendas nende keeleliste, värsiliste ja teemaliste võimaluste äärmist pinguletõmbamist, mis olid pändiks saanud „Puškini ajajärgult“. Sellega tähendas ta niihästi nende klassikaliste traditsioonide lõpuleviimist kui ka nendest ülesaamist. Lermontov haarab nende traditsioonide kogu ringi, kasutades ühteviisi Žukovskit, Venevitinovi, Gribojedovit, Puškinit ja Baratõnskit. See tema meetodi iseärasus sundis Ševõrevi esinema mõningate iseloomulike mõtteavaldustega. Ta märgib Lermontovi juures ära mingi omapärase eklektitsismi: „Teil on mulje, et kuulete vaheldumisi kord Žukovski, kord Puškini, kord Kirša Danilovi, kord Benediktovi kõlasid; mitte ainult kõlades, vaid kõiges võib märgata nende teoste kuju; mõnikord vilksatavad Baratõnski, Denis Davõdovi väljendused; mõnikord on näha välismaiste luuletajate laadi, — ja läbi kogu selle kõrvalise mõju on meil raske üles otsida seda, mis õieti kuulub uuele luuletajale ja kus ta esineb isendana... Sedalaadi eklektitsismi on kunstide ajaloos ette tulnud pärast tema teatavaid ajajärke: ta võiks kajastuda ka meil, vastavalt tema kõikjal tähelepanitava arengu seaduste ühtsusele.“ Osaliselt Ševõreviga nõustudes ja osaliselt temale vastu väites kirjutas V. Kūchelbecker oma päevikus 1844. aastal: „Küsimus: kas suudab omapärasuseni tõusta eklektiline ning jäljendav anne, milline on enamikus oma näidenditest Lermontov? Üheainsa suure või ka ainult andeka luuletaja lihtne ja isegi parim jäljendaja oleks teinud mõistagi paremini, kui ta ei oleks iialgi sulge kätte võtnud. Kuid Lermontov pole selline, ta matkib, või õigemini õeldes, temas leidub kajastusi nii Shakespeare'ist kui ka Schillerist, nii Byronist kui ka Žukovskist ja Kūchelbeckerist... Kuid isegi väljendustes on tal midagi oma, kas või ainult see, et kõige erinevamat laadi värssid oskab ta kokku joota korrapäraseks tervikuks, see aga pole nalja-asi.“

Niisiis tundus Lermontovi luule neljakümnendate aastate algul kõike koguva luulena, mis tasandas endiste koolide ja suundade kontraste ja vasturääkivusi. Belinski ütles otseselt, et „me näeme juba kõigi maitsete ja kõigi kirjanduslike parteide tõelise (mitte nalja-toonilise) leppimise algust Lermontovi teoste hindamises“. Tõsi küll, Ševõrev ja tema mõttekaaslased („arhaistid“) tungisid Lermontovile kallale säärase luuletuste pärast, nagu „On igav ja kurb“, „Ajakirjanik, lugeja ja kirjanik“, „Mõtiskelu“, s. t. just säärase asjade pärast, millede avaldusid uued ideoloogilised ja stiililised tendentsid. Kuid puht-

kirjanduslikult seisukohalt võttes oli Lermontovi eklektitsism tõepoolest vanadest traditsioonidest ja riidudest ülesaamise meetodiks.

Lermontov ei loo uusi žanre: ta segab vanu klassikalisi žanre, rikkudes nende ranget piire. Ta poogib vene värsile külge mõningad inglise luule rütmilised ja stiililised iseärasused (Byron), saades niiviisi üle endisest saksa ja prantsuse mõju omavahelisest võitlusest. Tal ei ole ei oode ega elegiaid endises mõttes, kuid on midagi, mis neid ühendab: deklamatsioonilised monoloogid ja „mõtisklused“. Žanride vahed muutuvad ebakindlaks — kuid see-eest omandavad haruldase jõu ja teravuse tundmuslikud valemid ja aforismid. Keel muutub vähem plastiliseks ja läbipaistvaks üksikasjus, kuid see-eest omandab deklamatsioonilise energia ja väljendusrikkuse suuremates ühikutes — lauses. Ses suhtes on tüübilised säärased luuletused nagu „Surev gladiaator“, „Poecdi surm“, „Mõtiskelu“, „Poet“, „Viimne kolimine“.

Kuid Lermontov arendab ka sellele vastandlikke stiile: lauluviisilist-musikaalset ja süzeelis-jutustavat. Lauluviisilise („romansilise“) intonatsiooni ja häälikuliste iseloomustuste alusele on rajatud säärased Lermontovi luuletused nagu „Näkineid“, „Kas kuulen su häält“, „Naaber“. See printsiip astub ühendusse lugulaululise printsiibiga ja saab niiviisi aluseks Lermontovi viimastele ballaadidele, nagu on „Tamaara“ või „Unenägu“. Puhtjutustavale alusele on rajatud säärased asjad nagu „Siit kirjutan ma teile“ (lahingust Valeriki juures) või „Jällenägemine“ — omamoodi jutustused või novellid värssides, vabastatud vana romantilise poemi traditsioonidest.

Lermontovi kaasaeglastele polnud selge see evolutsioon, mida ta oma viimastel aastatel läbi elas ja mis ilmnis nii 1840.—1841. aastate värsis kui ka eriti proosas. Ta oli kahtlemata välja kasvamas esialgse „eklektitsismi“ arenemisjärgust, mille kestel ta toimetas otseku arvepidamist temale jäetud pärandiga, ja tähistas ära uusi teid ning uusi meetodeid. Selle evolutsiooni definceeris ta ise S. N. Karamzini poole pöördavas luuletuses (1840).

Selles uues arenemisjärgus, uue nii temaatilise kui ka stiililise realismi juurde viivatel teedel katkestas ajalugu Lermontovi töö. Kuid tema saavutatud tagajärjed, mis seisid vanadest traditsioonidest ülesaamises, ilmnesis kogu edaspidises vene luules, valmistades ette ühelt poolt säärased luuletajaid nagu Fet, Polonski, Aleksei Tolstoi, ja teiselt poolt säärased nagu Ogarev ja Nekrassov.

Nende uute saavutuste valguses, mis võrsusid Lermontovi luule aluselt, käsitleti kogu Lermontovi ja tema loomingu küsimust uudselt XIX sajandi teise poole kriitikas. Parem-poolsetes parteides kriipsutati igati alla tema luule „usulisi“, „leppimuslikke“ ja patriootilisi motiive; revolutsioonilis-demokraatliku leeri kriitikud nägid Lermontovis mässajaliku meeletuse esindajat — üht vene revolutsioonilise haritlaskonna esivanemaist. Nüüdne Lermontovi mõistmine, mis põhjeneb tema ideoloogilise evolutsiooni ajaloolisel uurimisel, kinnistab tema loomingu kaheldamatu seotuse dekabristide ideedega ja meeoludega. Paljud Lermontovi teosed kannavad pettumuse ja lohutamatuset pitserit, mis on iseloomulik aadli opositsiooniliste kihtide pärast-dekabristlikele meeoludele; kuid Lermontov pole haliseja, pole langusaja iseloom ega „lepituslane“: kogu tema luulesüsteem on rajatud tundeliigutustele, mis olid omased võitlusele ja protestile vene elu poliitilise ning ühiskondliku korralduse vastu.



M. Urubel

Illustratsioon „Deemonile“



M. Urubel

Illustratsioon „Deemonile“

Deemon

Idamaa lugu

I osa

Kurb Deemon, taevast tõrjut ingel,
 maa kohal lendas, elualg
 kui unepain tal lasus hingel:
 veel maad ei talland inimjalg,
 kui kõrge keerub üllasmaade
 tal hülgas taevas, määrat kaoks
 komeedi säraline vaade,
 õrn, õhus vilkuv pilgusaade
 siis tõotas õnne tema jaoks, —
 ning vaatas uttu ingel vaane,
 kus voori järel liikus voor,
 tähtkujuliste karavane
 maailmaruumi paisat koor.
 Siis õnnelikus esiloodus
 ei kerkind kahtlust palve eel,
 kõik paistis kaunina ta teel.
 Vaim vihale veel polnud soodus,
 ei äratanud põlgu loodus, —
 ei tundnud puutumata meel
 täis tühjust igaviku õudu
 ning palju, palju . . . mida veel
 ei olnud meenutada jõudu.

II

Maaailma kõrves ekslev hing
 ei leidnud kuskil ulualust.
 Nii kulges sajandite ring,
 ent suurest rõõmust ega valust
 ei jätnud mälestusi nad.
 Siin valitsedes pisimaad,
 ta külvas naudinguta viha,
 ning inimlaste patupüüd
 tas tappis tärkvel võiduiha, —
 ning vaenust tüdines ta nüüd.

III

Siis Kaukasuse lumiharjust
ta kuju möödus, morn ja hahk:
all vägev Kazbek kerkis varjust
kui kalliskivi kiirgav tahk.
Darjal kui ussipesa valla;
karm Terek uljalt tormles alla,
lakk paisat tuulde, tume nahk, —
kui lõvitar, kel tõkkeks taaren
ja sööstmispinge nõtkeis luis,
ta möirgas: kuulas kohkund kaaren
ja kiskjad kuristiku suis.
Näis piiramata lainte voli,
ning lõunast põhja pilveviir
tal järgnes, järsandike tiir
jõevoolu piiritulbeks oli.
Mäeharjad tihedasti koos
kui lummat hiud: Terek särav
neid võlus kiirtepillu hoos —
siit kerkis mägestiku värav.
Koit sajandeid ju lõõmand jääl,
ja Kaukasuse kaitsjad mornid
— kui tunnimehed rivis säääl —
mäetipelt pilgu heitsid tornid.
Siin metsikuses loom ja taim;
ükskõikselt möödus rändav vaim,
silm ilu imetlemast tõrkus,
ei paelund üllas loomistuum.
Ta laubal peegeldus vaid kõrkus,
kui silmist kadus kiirgav ruum.

IV

Ning pildid vaheldusid aeva,
mäed, orud, peegeldusid vees ...
Nüüd Gruusia all lõuna taeva
täisilus õilmitses ta ees,
maa õnnerikas päikselees!
Läikkivipõhjal rohus rõõsas
klaasselge lätte leelukeel,

tulpsirged paplid kiirtelõõsas,
ja padrikus õrn roosipõõsas,
kus ööbikute lembemeel
loob kiidulaule eha eel.
Plataani võra, andev varju,
vääntaime pärjad krooniks üll,
mäes koobas, kuhu kuumus küll
keskpäeval ajab põdrakarju.
Erk sumin, kõlarikkus, rõõm,
metstaimede hingus, — kõikjal lõõm!
Ja häälightsuste, hiilge kestes
kuumkirglik südapäeva sõõm;
aroomse veega taimi pestes
öö kastepisarate nestes,
ning mustjal võlvil tähevilik
kui lõuna kaunitari pilk.
Vaim mööduv kirkast loodust märkas,
ent viljatuks jäi loidund meel,
maailmapagulases ärkas
vaid jäine kadeduse neel;
vastnähtut tõrjus ta kui paina,
ning aina põlgas, needis aina!

Tõlkinud Jüri Šumakov.

LERMONTOV KUNSTNIKUNA

N. BELJAVSKI JÄRGI

Arvukad M. J. Lermontovi joonised on eelkõige omapärased graafilised kommentaarid luuletaja kirjanduslike kavatsuste ja loomingulise töö juurde. Neist hoovab sama taltsutamatu temperamendiküllust elusse suhtumises, sama väljendusjõudu ja tundmuslikku pinget, mis on omased ta värssidele.

Kuid sellega ei piirdu nende kunstiline tähtsus. Lermontovi joonistused on huvitavad ka läinud sajandi 30-ndate aastate eesrindlike kunstiliste otsingute ilmeka avaldusena. Mitte veel täiesti küps ja õpinguis lõpule jõudmata, ent andekas joonistaja Lermontov sammus ka kujutavas kunstis käsikäes uuendajatega, kes rajasid teed uuele esteetikale.

Luuletaja Lermontovi tung paralleelse töötamise poole maalikunstis, nagu ka tema ebatavaline andekus graafika alal, pole juhuslik nähtus. Töötamine kujutavate kunstide alal käib sageli kaasas kirjaniku- ja eriti luuletaja-andega. Tarvitseb ainult meenutada Žukovskit, Baratõnskit, Gogolit, Puškinit, Lermontovi, Ševtšenkot, Majakovskit.

Olgu luuletaja joonistustel iseseisev kunstiline väärtus või puudugu see neil — nad on alati tähendusrikkad loomingu isesuguste kaaslastena, paralleelse assotsiatsioonilise reana, mis avab meile luuletaja kunstilisi pürgimusi. Kirjandusliku ja visuaalse tunnetuse paralleelsus on graafilises tehnikas üsna osava Lermontovi juures küll märksa keerukam kui näiteks Puškini mustandites täis joonistusi. Sellest hoolimata on see paralleelsus olemas ka Lermontovil. Luuletaja graafilised kujundid elavad ikkagi ühel plaanil sõnalistega, külgnedes nendega mitte niivõrd süžeeliselt kui ühise temaatika ja tundmuse poolest.

Seepärast on vajalik Lermontovi joonistusi vaadelda kui kirjanduslike kavatsuste isesugust projekteerumist graafikas ja ühtlasi kui andeka kunstniku-diletandi teoseid, kes erksalt tabab ajajärgu kunstilisi sihitaotlusi.

Lõppeks ei tohi Lermontovist kui luuletajast ja kui kunstnikust rääkides jätta arvestamata tema loomingulise amplituudi laiust. Sageli võttis Lermontov vastu mitte ainult vene kunsti taotlusi, vaid ka enesele lähedasimaid ja vajalikemaid Lääne-Euroopa kunsti traditsioone.

Lermontovi maalikunstiline ja graafiline pärand on küllaltki mahukas ja mitmekesine. Sellesse kuulub niihästi õlivärvidega maalitud pilte kui ka akvarelle, kuid suurima osa moodustavad tuši-, sule- ja pliiatsijoonistused. Paraku on oma enamikus mitte ainult Lermontovi joonistused, vaid ka tööd õlis ja akvarellis ilma allkirjata, dateeringuta ja nimetusega. Paljude autentsus neist on jäänud tõestamata.

Pärast Lermontovi surma tuli suurem osa tema luuletustest, kaasa arvatud ka paljud kirjanduslikud väärsteosed, milledest polnud koopiaid isegi luuletajal enesel, kokku otsida tema tuttavate juurest, ära kirjutada daamide albumeist. Veel hooletumalt suhtus Lermontov oma joonistustesse. Nad tekkisid „Usuõpetuse õppevihikuis“, paberitükkidel, albumeis. Ta kinkis joonistusi laiali sõpradele, kinnistamata neid isegi oma allkirjaga. Ent kui Ler-

montovi luuletuste kogumisele tema kaasaeglased asusid peatselt pärast tema surma, siis luuletaja joonistused jäid veel kauaks ajaks erakätesse. Paljud neist on jäljetult kaotsi läinud, teiste autentsus pole kindel.

Joonistamist ja maalikunsti õppis Lermontov enam kui tavaline diletant, ent vähem kui on vajalik kutselise töö tehnilise vilumuse omandamiseks.

Tung kujutava kunsti poole ilmnas Lermontovi juures väga varakult — veel varem kui ta hakkas kirjutama värsse. Mälestustes Lermontovi lapsepõlve üle esinevad alati joonistused ja voolimine savist. Lapsepõlves andis Lermontovile joonistustunde vähetuntud kunstnik A. S. Solonitski. Aadlipansionis, kus Lermontov õppis aastail 1828—1830 enne ülikooli astumist, märgiti tema võimeid joonistamise alal peaaegu ühevõrra kirjandusliku andekusega. Joonistamisest ei loobunud Lermontov ka pärast ohvitseriks saamist. Sel ajajärgul ta võtab joonistustunde kunstnik P. A. Zabolotskilt, kellega ta peab sidet ka pärast saabumist Peterburisse esimeselt väljasaatmiselt Kaukaasiasse.

Zabolotski oli tehniliselt küps kunstnik, kes töötas romantilise kooli traditsioonide vaimus. Veidi hiljem sai Lermontov lähedaseks andeka „brüllovlasest“ kunstniku vürst Gagariniga, kes tegi luuletaja tuttavaks ka Brüllovi enesega.

Brüllovi mõju ilmnas sel ajajärgul teravalt paljude noorte kunstnike loomingus². Lõppeks lähendasid Lermontovi ta noorusaastail romantismile nii tema temperamendiküllus, mis ei leidnud avaldumisvõimalusi Nikolai aja reaktsiooni tingimustes, kui ka tema nooruklike luuletuste suund, mis olid tunduval määral tekkinud Byronist vaimustumise märgi all.

Nii oli Lermontov möödapääsmatult ette valmistatud tol ajajärgul joonistuses ja maalikunsti valitsenud romantiliste traditsioonide vastuvõtmiseks. Ja tööpoolest kannavadki luuletaja esimesed katsed maali alal romantismi pitserit.

Noore Lermontovi romantilistele meeleoludele, mis enam ei rahuldunud tavalise keskonnaga ja ajajärguga, andis rikkalikult temaatilist ainet Kaukaasia.

Kui Lermontov viibis Kaukaasias esmakordselt üheksa-aastasena, siis see maa jättis vastuvõtlikule poisikesele kustumatu mulje. Ja hiljem asetuvad tema mälestustes Kaukaasia uhke ning metsik loodus, sealsed vanad pärimused ja mägilaste vaba ning võitluste ja ohtudega täidetud elu iseenesest vastu ümbruskonna värvitule elule.

Kõik need motiivid kajastusid vahetult Lermontovi luulekunstilistes ja visuaalsetes pildides juba enne seda, kui väljasaatmine sidus ta saatuse lahutamatult Kaukaasiaga. Kaukaasia võttis otseselt osa Lermontovi esteetiliste maitsete kujundamisest.

Kaukaasia avastajaks luulele ja maalikunstile ei olnud mitte Lermontov. Vastupidi — Kaukaasia temaatikal oli romantismi sel ajajärgul kunstis juba kindel koht.

Kaukaasia esimesed kujutused Lermontovi luules ja maalil on kvaliteedilt mitmesugused. Lermontovi kirjanduslik geenius oli juba julgelt üle saamas romantilise kujutusviisi tardunud šabloonist, leidnud esialgu samuti romantilise, kuid isikupärase, tundmuslikult terava Kaukaasia tajumise viisi. Kujutavas kunstis ei lähe Lermontovil mitte kohe korda võitu saada mägimaastiku romantilis-traditsioonilisest käsitlusest tema vältimatute varematega, mustade kaljusiluettidega, nende vahelt läbimurdvate mässavate kärestikega ja tüübilise

¹ Nende loengute vihikut Lermontovi joonistustega säilitatakse Saltõkov-Štšedrini-nimelise Leningradi avaliku raamatukogu käsikirjade osakonnas.

² Lermontovi joonistuste seas on säilinud Brüllovi profiil, visandatud põgusate joontega.

kolmeplaanilise ruumichitusega. Säärane on näiteks joonistus „Varemed Aragva kaldal Gruusias“. siin on olemas šabloonilise romantilise maastiku kõik vajalikud atribuudid: loss kaljunukil, tormav mäestikujõgi kompositsiooni keskel, silmapiiril ülevate lumitippude rida, ja esiplaanil obligatoorne tume kaljukontuur ühes „kurikuulsa“ murtud puu oksaga.

Kummatigi aitavad looduses tehtud joonistused sõjaväelise olustiku stseenidest, mägilastest ja Kaukaasia vaadetest Lermontovil-joonistajal eemalduda Kaukaasia tajumise viisi romantilisest klišeest ja näha teda uudelt tabavais ning ilmekais visuaalseis piltides, säärasena, nagu ta nägi teda kirjanduses. Need visandid aitasid Lermontovil välja töötada maa graafilise laadi, milles tema romantikale iseloomulik tundmuslik pingelisus on ühendatud otse vaatlusoskusega.

On huvitav, et võrdlemisi vähearvukais ja Lermontovi kohta mitteiseloomulikes suuremõõdulistes õli- ja akvarelltöödes jääb luuletaja lõpuni vabanemata vene akademismi ja romantismi mõju alt. Seda epigoonluse pitsertit kannavad ka need kaks-kolm tema lahingupilti värvides, mis ta on lahendanud traditsioonilise „peinture du bataille“ vaimus.

Lermontovi nõrkus maalitehnikas ja oskamatus suurte, komplitseeritud piltide koordineerimises ei andnud talle võimalust leida iseenast ja hoidsid teda sõltuvuses tajutud kujundeist. Joonistustes tundis luuletaja end vabamalt. Üksikuid puudujääke, nagu mõnikord mitteküllaldast perspektiivitundmist, korvab siin rikkalikult kunstiline maitse, vaatlemisoskus ja terav loodusetunne.

Taiselt poolt etendas siin kahtlemata oma osa Lermontovi ande graafiline iseloom. Kontuur, napp ja väljendusrikas joon — see on element, kus ta suudab end tunda vabana kõigist väljakujunenud kaanonite köidikuist. Lõppeks on lõhe akadeemilise, tingliku maali ja realistlikuma joonistuse vahel üldse iseloomulik 30-ndate aastate paljude kunstnike kohta. Realism tungis vene maalikunsti illustratsiooni ja joonistuse kaudu.



Et mõista ja suuta jälgida Lermontovi graafika arenemist, selleks pöördugem kõigepealt selle luuletaja romantismi ja realismi probleemi juurde. Lermontovi tee realismi poole on palju keerukam kui Puškinil, kes, loonud mõned romantilised, Byroni mõju märke kandvad poemid, lahkus lõplikult tegelikkuse romantilisest tajumisviisist. Oma raamatus „Kuidas töötas M. J. Lermontov“ on Durölin luuletaja mustandite uurimise najal näidanud, kuidas Lermontov juba enne väljasaatmist Kaukaasiasse taotles värsside kallal töötades keele ning pildistiku maksimaalset elulist täpsust, selgust ja töepärasust, kui visalt ta rookis välja iga vähimatki romantilise kliše jälg. Sellest võitlusest kirjanduses tuleb Lermontov peatselt välja võitjana. Kuid samas näeme, et vastuolu ümbrusega ja suretava reaktsiooni ajajärguga, mis taunis ta pealesunnitud tegevusetusele ja tõeliselt ta tappis, tingis tema varase pessimismi, mis oli ühendatud tulise, taltsutamatu loomusega. Sellest tekkis Lermontovil alistumatu isiksuse ja alistumatu Kaukaasia romantiline kultus. Sellest tuleneb romantismi ja realismi joonte vaheldumine Lermontovi loomingus. Sellest on pärit sääraсте teoste nagu „Mtsõri“ isesugune koloriit, mida võib tinglikult nimetada realistlikuks romantismiks.

Samataolised nähtused on kergesti märgatavad ka Lermontovi graafikas. Juba ratsaväekooli ajajärgul joonistas ta palju natuurist. Tihti skitseeris ta õppeväljakul hobuseid, püüdes täpselt ja elavalt edasi anda nende liigutusi. Juba tol ajal leidub Lermontovi visandite

seas eluliselt tõepäraseid joonistusi nii teema valiku kui ka selle käsitlese poolest. Nende hulka kuulub näiteks „Episood manöövreist Krasnoje Selos“, maalilise kallakuga tušijoonistus, milles on antud argipäevane pilt sõjaväe elu-olust samuti argipäevase realistliku Kesk-Vene maastiku taustal. Lõplikult kujunes aga Lermontovi joonistuslaadi omapärane realistlik tehnika Kaukaasias.

Kuid milliste mõjude märgi all võis Lermontov evolutsioneeruda joonistajana, töötades välja oma realistlikku laadi graafikas? Kolmekümnendad aastad kujutasid enesest pöördelist ajajärku kunsti arenemises. Kirjanduses hakkab romantismi välja tõrjuma realism. Puškini realistlik luule ja Gogoli looming avaldavad määratu suurt mõju mitte ainult kirjanike, vaid ka kunstnike teemalistele otsingutele.

Maalikunstis on ametlikult tunnustatud stiiliks veel akademism, kuid temaga kõrvuti saavutab suure mõju Kiprenski ja Brüllovi kunst. Eriti populaarne oli Brüllov, kes võlus akadeemilise kuivuse ja tinglikkuse najal kasvatatud vaatlejat oma temperamendika suhtumisega teemasse, värvikusega ja tundmusküllasusega.

Vene maalikunstis edulist osa etendades jäid brüllovlastad siiski kaugele vene tegelikkusest. Eesrindlikumad olid vene žanrimaali rajaja Venetsianov ja tema õpilased, kes said tähtsaks oma võitlusega akademismi vastu, kuid ei omanud veel laialdasemat mõju.

Aga kui 30-ndail aastail maalikunstis veel murrangut ei toimunudki, siis ometi oli ta selgesti ette märgitud kõigepealt joonistuses, illustratsioonis. Meile on tähendusrikkad A. A. Ivanovi ülihead realistlikud kavandid ja joonistused, kuigi see kunstnik jäi oma suurtes maalides akadeemilise traditsiooni kütkeisse.

Lermontov, kes pidas kuni viimase väljasaatmiseni Kaukaasiasse sidet oma kunstnikust õpetaja Zabolotskiga ja oli lühemat aega tuttav paljude brüllovlastega, tundis hästi oma ajajärgu kunstilisi otsinguid. Kuid keskkond, milles ta liikus, ja väljasaatmine Kaukaasiasse ei andnud võimalusi tihedamaks läbikäimiseks kutseliste kunstnikega.

See-est leidis Lermontovi otseses seltskondlikus ümbruses palju kunstnike-diletante. Selles keskkonnas olid kõige populaarsemaiks aladeks joonistus, visand natuurist või natuuri edasiandmine mälu järgi.

Kaukaasias avaldas Lermontovile suurimat mõju kahtlemata vürst Gagarin, kes oma tehniliselt vilumuselt ja kogemustelt asetses diletantide seas kutselise kunstniku tasemel. Osava ja andeka maastiku-kujutajana on ta järele jätnud terve albumi realistlikke joonistusi Kaukaasia loodusest ja elu-olust. Nendes tõepärastes, elulistes visandites natuurist ei näe romantismi varjugi.

Meile on säilinud mõned Lermontovi ja Gagarini ühised tööd, nende seas ka väljendusjõult ja käsitlese realistlikkusest imetlusväärne „Episood lahingust Valeriki juures“. Tuleb oletada, et oma joonistustes tavaliselt staatiline Gagarin andis tehniliselt enam vilununa Lermontovi dünaamilistele visanditele lõpliku kuju ja detailid.

Kunstilise kaasaja tajumine ühes tema otsingutega elulise tõe järele kunstnike-diletantide keskkonnas mõjutas kahtlemata Lermontovi realismi kujunemist graafikas.

Kuid võrreldagu Lermontovi joonistusi temaga kaasagsete kutseliste kunstnike ja diletantide joonistustega kui palju tahes, ikkagi säilitab luuletaja graafika alati oma individuaalsed jooned, oma teemalise eriala, oma laadi.



Millised on siis Lermontovi kui graafikut iseloomustavad põhijooned? Kõigepealt märke ära Lermontovi joonistuste laia teemalise amplituudi: sõja-episoodid ja pildid rahulikust sõjaväelisest elu-olust, visandid hobustest ja ratsanikest, vaated Kaukaasiast ja Kesk-Vene loodusest, kõige mitmekesisema iseloomuga žanristseenid, portreed, šaržid, ohvitseride ja erasikute, teenrite ja talupoegade tüübid.

Tähelepandaval kohal asetsevad luuletaja graafikas visandid ratsanikest ja käitsivõitluse stseenid, milledes keskseks graafiliseks probleemiks on liikumise edasiandmine.

Just liikumise kujutamises saavutab Lermontov harukordse meisterlikkuse. Käitsivõitluste kujutustes on kõige sagedamini antud dünaamiline üleschitus diagonaali mööda. Sügavuse illusioon saavutatakse figuuride liikumisega teatava nurga all joonistuse tasapinnale ja keerukate pööretega. Need joonistused pole oma loomult erapooletud visandid natuurist. Nad on alati nakatatud autori temperamendikast suhtumisest kujutatavasse, neist hoovab jõudu ning nooruslikkust.

Üldse iseloomustab Lermontovi kui graafikut oskus chitada oma kompositsioone, anda ruumiliselt edasi kauguse ja sügavuse taju, ja seda väljendusvahendite äärmise lakoonilisuse juures. Peale juba osutatud võtte liikuvate figuuride paigutuses saavutatakse see mitmel plaanil asetsevate esemete kontuuri selguse muutmisega. Keerukamate kompositsioonide ruumilisust iseloomustatakse osavate üleminekutega piirjoonte edasiandmises jär-sust joonest esiplaanil kuni retušeeritud, vaevalt märgatava jooneni kauguses. Lermontov oskab pliiatsi painet nõrgendades saavutada kõige peenemate üleminekute astmestust.

Lermontovi joonistustes ei ole ruumis paiknevate kujude reljeefsus saavutatud mitte modelleerimisega, mitte valguse ja varju mänguga, vaid joonega, figuuri asetusega ja tema pöördtega.

Taust kas puudub Lermontovi joonistustes üldse või antakse mõne joonega: kunstnik kannab paberile ainult kõige vajalikuma.

Enamik Lermontovi joonistusi on kontuursed: ta ei anna peaaegu kunagi varje. Kontuurjoont aga iseloomustab erandlik julgus, nappus ja ekspressiivsus.

Paljude joonistuste kohta on tüübiline peen, mõnikord katkendlik joon. Kohati, kui kunstnikul on tarvis edasi anda varju, joon laieneb, mõnikord antakse kaks joont (joonistuses, mis kujutab ohvitseri, tõenäoselt Petšorinit, kes sõidab läbi maja akende eest, on niiviisi antud hobuse nägu ja ratsaniku selg).

Tušijoonistustes Lermontov sageli valab varjud täis, mõnikord aga annab nad joonestikuga. Nii on joonistuses, mis kujutab sõitu kolmehobuse-saaniga kevadise Vene maastiku taustal, pandud varjud hobuste jalgadele ja kõhtudele ning poistipoisi rõivaile.

Lermontovi joone nappus ja ekspressiivsus on õnnelikult ühendatud oskusega vaadelda, tabada ja edasi anda iseloomulikke jooni, luua tüübilisi kujundeid. Võetagu pliiatsi-visand Lermontovi joonistuste vihikust: kolmehobuse-saan seisab trepi ees. Puhunud hobused on kärsitud. Saanile läheneb kõige ümbritseva vastu ükskõikne ohvitser, võib-olla mõisnik. Saani juures näeme talupoegade rässakaid kujusid. Mõned neist püüavad näidata osavõttu ja kohendavad hobuste rakmeid. Palkseintega maja taustal, mis on väljendatud kahe aknaga ja tõusva, katkeva katusejoonega, seisab liikumatult ja uhkeldavalt härrat saatma tulnud paks teener, võib-olla ka sissesõiduhoovi peremees. Kogu see keerukas žanriline kompositsioon ja iga üksik temasse võetud figuuridest saavutab suure väljendusrikkuse, hoolimata kujutusvahendite erandlikust nappusest.





M. Lermontov

Lebing Valeriki juures



M. Lermontov

Akvarell



Lermonтов

Мялестус Кавкасуест

Nii on eemal seisev talupoeg antud ainult profiili üldistatud kontuuriga, milles näeme iseloomulikult ülessirutatud lõuga ja taha langevate juuste joont. Toredasti on avatud sissesõiduhuovi peremehe kuju — samuti ainult mõne visandliku joonega, mis märgivad tähtsalt selja taha ristatud käsi ja etteactud kõhtu. Kogu tema kujust hoovab enesega rahulolevat veendumust, et ta on üle talupoegadest.

Säärane on enamiku Lermontovi joonistuste graafiline laad.

Vastandlikult 30-ndatele aastatele iseloomulikele visanditele natuurist, milledes realism ei tõuse kõrgemale näojoonte, riituse ja olustikuliste esemete tõepärasest kujutusest, püüab Lermontov samuti kui Gagarin, ajuti aga õigemini ning sügavamini kui Gagarin, näidata oma parimais joonistustes läbi välise tegumoe inimese seesmist maailma.

Paljud talupoegade, mägilaste, ohvitseride, kõrgema seltskonna esindajate kujud ja näod on tüübilised. Soldatite massi kujutustes kriipsutab Lermontov mõnikord alla inimest eba-isikupärastavat, rivis alatiseks sissetuubitud „valvel“-hoiakut, mis on nii iseloomulik Nikolai ajajärgu drillikultusele.

Tabavate joontega visandab Lermontov „suurmaailma-inimeste“ ja ohvitserkonna iseloomulikke negatiivseid jooni. Kujud on edasi antud sügava realismiga; idealiseerimine ja nägude ning pooside efektsus puuduvad harilikult täiesti.

Sõda on Lermontovi graafikas (vastandlikult ta suurtele kompositsioonidele, mis on õlis teostatud ja lahendatud traditsioonilise lahingumaali vaimus) kujutatud samuti ilustamatult, teravalt ja realistlikult.

„Episood lahingust Valeriki juures“ hämmastab oma sügava realismi ja inimlikkusega ning kriitilise suhtumisega sõjasse, mida Kaukaasias pidas tsaari sõjaväelaskond.

Selle teose ülesehitus on diagonaalne. Kompositsioon on meelega jäetud massides tasakaalustamata. Venelased rõhuvad õieli täakidega sügavusest, vasemast nurgast, peale vähem arvukaile, veel end kaitsvaile, kuid juba hukkamisele määratud mägilastele. Joonistuse parempoolne osa on kergem. Sellega kriipsutatakse alla venelaste ülekaalu mägilastest. Esiplaanil näeme laipa, mis on kukkunud risti üle palgi peaga alla ja ette vaataja poole. Haruldase ekspressiivsusega on edasi antud käsitsivõitluses loomalikeks muutunud näod, on tabatud laipade ja haavatute asendid. Nagu „Valerik“ kirjanduses, nii see akvarell esimesena vene kunstis annab sügavalt tõepärase, ehtsalt realistliku kujutuse vallutussõjast.



Oma elutee viimastel järkudel katkestab luuletaja ja kirjanik Lermontov ideelisel alal lõplikult sidemed aadlike seltskonnaga ja, saanud üle romantismi mõjust, saavutab kõrgeimaid tippe Vene tegelikkuse realistlikult ning psühholoogiliselt sügavas avamises nägijaile. Sügav sõnameister seisab meie ees Lermontovi proosas. Gogol, olles vaimustatud luuletaja „kaunist ja aromaatilisest“ proosast, ütles, et temas „valmis tulevane suur vene elu maaliija“.

Luuletuses „Kodumaa“ on Lermontov erilise jõuga rõhutanud enda seotust rahvaga, talupoegliku olustikuga ja talle koduselt armsa Vene loodusega.

Kaukaasia ülev ilu ja mägilaste romantiline elu-olu ei varjanud ka luuletaja graafikas vene rahvapärase olustiku tajumist. Külätüübid ja Kesk-Vene maastik meelitasid enda poole ka Lermontovi kui joonistajat.

Tema graafikas pole raske leida ka talupoegade realistlikke kujusid, keda ta joonistas talle omase vaatlemisoskuse ja selgusega.

Vene maastikest paelub tahtmatult tähelepanu joonistus Lermontovi vihikust, mis kujutab kummiga kaetud kolmehobuse-saani maalooduse taustal. Siin on imestusväärset edasi antud algava kevade meeolu. On sula. Väli. Kungas raagus põosastega. Väsinud hobused veavad vaevaga saani mustunud lumel. Nende teest lõikab läbi oja, mille joon on märgitud lohkuvajunud lumega. Taustal on üle kingu näha kõrgendik ja kaks küla äärmist maja. Esiplaanil tõuseb lume alt arana peenike raagus oks. See kõik on antud Lermontovi napis, üldistatud laadis. Vene looduse argipäevase, kõigist välistest efektidest vaba nurgakese realistlikku taju soojendab siin sügav lürism.

Lermontovi joonistustesse kisub sisse elama samuti kui tema luuletustesse ja eluloosse. Nagu ta luuletusedki on nad eluloolised selle sõna loomingulises, sügavas mõttes. Neis ilmneb luuletaja traagiline elutee, tema loomus, mis tundis eneses „mõõtmatud jõude“ ja oli kaasaja tõttu määratud hukkumisele, tema terav, eksimatu pilk.

Isegi see põgus ja muidugi täiesti mitteköllaldane poeedi joonistuste analüüs näitab loomingulist paralleelsust Lermontovi luules ja graafikas. Milliseks rikkalikuks allikaks võiksid luuletaja uurijaile olla tema joonistused! Nad jutustavad neist autori mõtetest, tunnetest ja meeoludest, mis otsekui voolavad teisel, graafilisel plaanil, kuid kõlavad alati kaasa tema värssidega.

Samas esineb meile Lermontov tema joonistuste tundmaõppimisel 30-ndate aastate kunstiliste otsingute taustal mitte ainult nende tunnismehena, vaid ka eesrindliku osavõtjana võitlusest uute seisukohtade eest graafikas. Muidugi ei suutnud Lermontovi tihti lõpetamata joonistused ja visandid, mis jäid ta tuttavate valdusse ja milledele ta ise ei omistanud tähtsust, etendada suurt osa vene kunsti arenemises. Sellest hoolimata annavad nad tunnistust luuletaja ebatavalisest andekusest graafikas, ise aga on sel ajajärgul otsekui tagasihoidlikeks esimesteks märkideks uuest ajastust — kujutavas kunstis veel mitte oma seisukohti kätte võitnud, kuid juba lähedase realismi ajastust.



Kohtamine

Mäe taha päev läind puhkama,
 ju hämardumas ruum,
 kuid allikas jäi uhkena,
 ta mühab, kirkalt kuum²;
 aed virgund müüritagune,
 tast tõusmas lõhnavaod;
 kõik Tiflis vait ja vagune,
 täis udu orud nood.
 Nüüd õelaid raske astega
 öö paine rusub julm
 ning ingel räägib lastega —
 nii õndsalik neil ulm.

Kus kindlus kerkind kingule,
 plataani all ma maas,
 hing tõmbund ihast pingule —
 sind vaibal ootan taas.
 Mul aega üksi ohata:
 Kas nägin ainult und
 või lubasid mind kohata,
 kui saabub öine tund?
 Nüüd kirk toob veetlust viivule,
 mil kõik näib sünk ja karm:
 mu iha tõstaks tiivule
 sind, arm, mu ainus arm.

Näen valvelõkkeid ustavaid
 all sillal — muu on morn;
 kui rida vahte mustavaid
 näib torni kõrval torn;
 kus tõtati ja kareldi,
 kõik mahajäet ja tumm;

¹ Kõik siin esitatud luuletused põlvnevad autori elu viimastest nädalatest suvel 1841. Nad esinevad siin kronoloogilises järjekorras.

² Tbilisis leidub kuumi väävliallikaid.

vaid saunast väljub areldi
grusiini naiste summ.
Kas tuled nende vooriga?
Nii arg neil mööda vilk,
näod peidet pika looriga...
Ei leia sind mu pilk.

Su majakest näen rõduga;
kus jõeni küünib luht,
sääl treppi laisa õduga
tal riivab vete uht.
Kus vilumalt ja hõrgumalt
tuul puhub üle vee,
sääl lunderohuvõrgu alt
mu vaadet veetleb see.
Ning väike aken teretab
mind kõrge papli all,
kuid tuld, mis muidu heretab,
ei pilk näe paistvat tal!

Ma ootan. Rind lööb pekslema,
pilk tõmbub uduseks;
peos puss, lööb käsi ekslema,
vaip lõigat tükkideks.
Mul hing täis valu vahedust,
mu südant rusub norg...
Ju idast lõõtsub jahedust,
jäänd hommikrõskeks org;
mäed punetava harjaga,
neil ümber kerge loor;
teel käratseva karjaga
ju liikvel killavoor...

Kao, pisar, hääbu, häbistav!
Oi madu, jälk ja neet,
mind terasena läbistav
nüüd mõistetav su reet!
Nüüd põhjus käegakatsutav,
miks näis kui tuulest kant
su akna alla ratsutav

noor tatarlasest frant.
Ma, ilge pette kärsija,
tean täpselt, mis su hind:
su isal meeldib pärsia
noor täkk, kes võitis sind.

Püss kätte! Lahti raugusest!
Üks tegu teha jäänd!
Kus kabel paistab kaugusest,
teel ahtakene käänd.
Ei vintsle tusa pihtides,
vaid varitsema jään
ja pika püssi sihtides
säält maantee poole säen.
Nii jälgin tunde veerlevaid,
pilk piilub kivist noist...
Näen tolmupilvi keerlevaid...
Aa, säält sa tuled, roist!



Leht rebenes tammepuuoksalt ja veeres ja vajus
ja steppidel maad mööda kihutas armutus rajus;
ning närbudes talus ta piina ja pakast ja põuda,
et viimati veeredes Mustale merele jõuda.

Ning näe, mere rannikul silmab ta kaunist plataani;
tuul paitab ta lehti ning oksi, mis ripuvad maani,
neil rippuvail okstel käib laul sajal helkival linnul,
kõik koos mere kuningatütart nad kiidavad innul.

Ning kõrge plataani ees rändaja katkestab retke
ja lootes talt varju ning anudes puhkushetke
ta juurtele liibudes palub: „Ma, leheke vaene,
ma, varaküps, kasvasin pinnast, mis kalge ja paene.

Mind kaua viis sihitult ränd läbi kuuma ja kahu,
ma närbusin varjuta, polnud ei und ega rahu.
Oo luba mul ruumi smaragdsete lehtede vilus —
tean mõndagi juttu, mis hurmav, mõnd imet, mis ilus.“

„Ei taha sind!“ vastas plataan tal: „Misjaoks mul sind tarvis?
Sa näiksid liig koltund mu poegade säravais parvis.
Sa tead ju nii mõnd, kuid kas jutte ma küllalt ei kuule?
Mul väsitab ammugi kõrva ka lindude luule.

Ei, mine siit, rändur! Käi edasi sihituid käike!
Ei tunne sind, päikse jaoks hiilgan, mind armastab päike;
ma sirutan taevasse oksi, nii rikkaid ja suuri,
ning laintega karastab meri mul jahedalt juuri.“



Ei, ma ei armasta nii kuumalt sind
ja sinu hurm ei hiilga mitte mulle —
ma kiindun sinus kustund valu tulle,
mul meenub ammu hukkund noorusind.

Kui vahel, seistes vaiksena su eel,
su silmi uuriv pilk mul kaua kestab,
siis süda salapärast juttu vestab —
kuid mitte sinuga ei vestle meel.

Ta vestleb tollega, kes ammu muld,
näo joontest otsib hing mul teisi jooni,
su hääle toonist — ammu tummund tooni,
su silmadest — ju tuhmund silme tuld.

Mereprintsess

Prints peseb sõjahoost ranniku vees.
„Vaata mind, prints!“ kostab hääl tema ees.

Hobune norsatab pritslevas voos,
kõrvad tal kikki löönd hirmuvast hoos.

„Olen printsess! Ära kohkuma löö!
Kuningatütrega veeta võid öö!“

Vete alt keegi nüüd sirutab, näe!
siidiste valjaste järele käe.

Neiupää vilgatab lainete all,
koos meriheinaga palmikud tal.

Armastust hõõgub ta sinine pilk,
vaht särab kaelal, kui pärl iga tilk.

Prints aga mõlgutleb: „Vaatame vaid!“
Palmikuid haarab ta pihk jalamaid.

Saaki peab raudsena sõduripihk:
asjatud nuuksed ja palved ja kihk.

Kaldale ujub noor sangarlik mees,
kaaslasi hüüab, kes ootavad ees:

„Sõbrad, hei, vaadake, näidata võin
siplevat saaki, mis lainetest tõin...“

Miks te nii hämmund, miks suu nõnda tumm?
Silmil vist võõras nii härrandlik lumm!“

Tagasi vaatas ta — võidutsev uhm
kustus tal äkki, ta pilk oli tuhm:

Rannal, mil kuldlemas liivane joom,
hännaga ime, pool neiu, pool loom.

Viherjas saba, siusoomuseid täis,
värises, väänles ning tarduvat näis.

Käedki tal liivasse krampumas ju,
imelist kaebust tal sosistab suu...

Prints sõidab rannast, nii mõtlik ta meel...
Kaua printsessi vist mäletab veel!

Prohvet

Sestsaadik kui suur kohtunik
mul andis prohvetliku vaimu,
näib inimpilk mul kuristik
täis pahet, alatust ja laimu.

Kui tõde kuulutas mu hõik
ning armu ülevust ja tõelust,
mu pääle kive heitsid kõik
mu ligimesed koos täis õelust.

Ma läksin, kandes sandirüüd,
ja raputasin tuhka pähe;
kesk kõrbe üksi elan nüüd
kui taevalind, kel muret vähe.

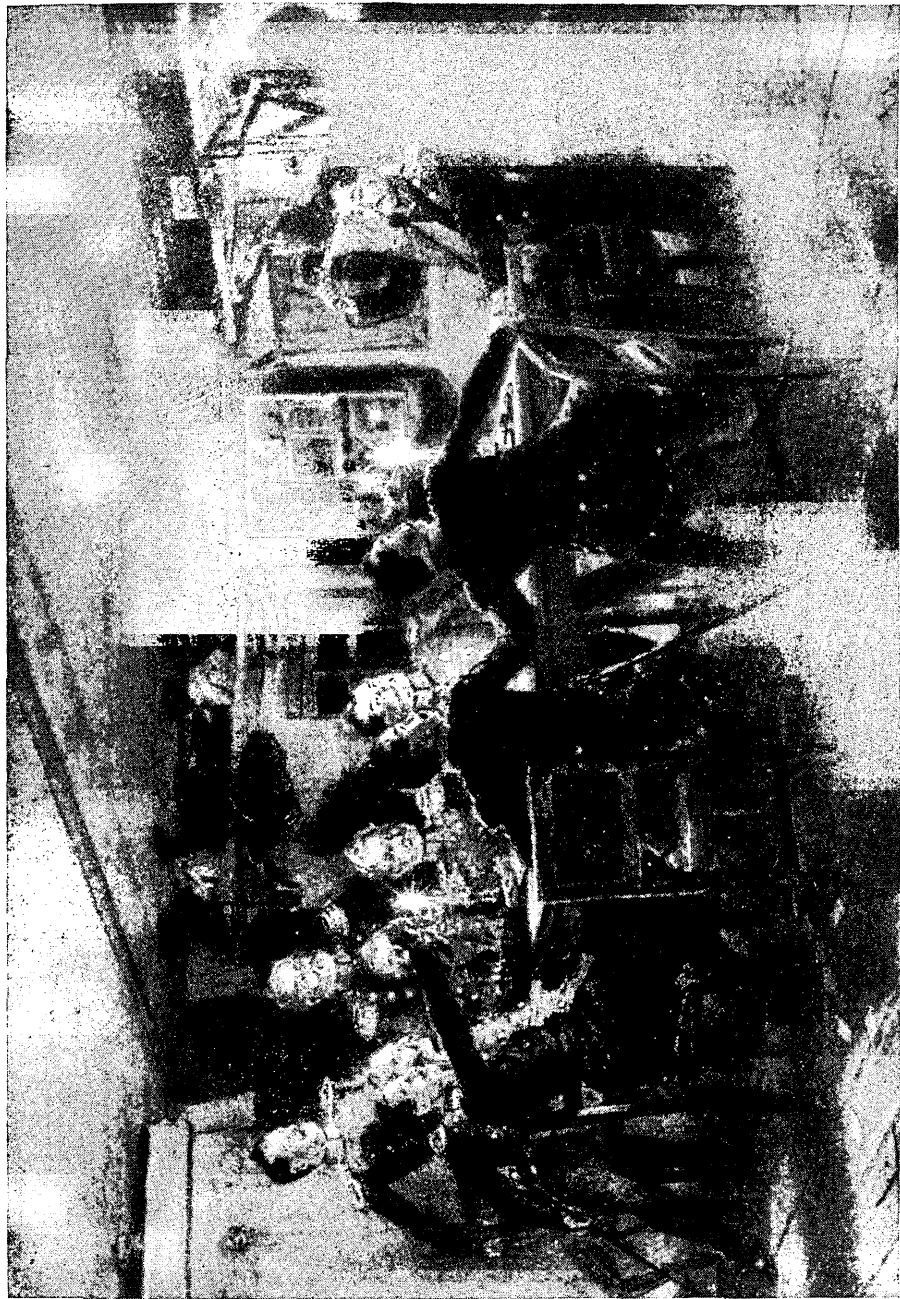
Siit sõna hiilgust ilma viin:
kõik loomad üle maise piiri,
kõik tähed kuulavad mind siin;
ma näen, kuis mängitavad kiiri.

Ent kui nüüd läbi linna jalg
mind kannab kiirustaval astel,
siis vanameestel muigab palg,
neil jutud manitsuseks lastel:

„Näe, lapsed, see ehk õppab teid!
Lõi pähe uhkus arutumal:
ta ülbelt tahtis veenda meid,
et tema huultest räägib jumal!

Nüüd näete, see ta enda süü,
et palg nii kõhn, nii küürus õlad,
nii morn ta pilk, nii kehv ta rüü!
Nüüd näete, kuis ta kõikjal põlat!“

Tõlkinud Ants Oras



K. N. Savitski

„Fatalist“



M. Lermontov

Joonistus



M. Lermontov

Joonistus



L. Pasternak

Illustratsioon poemile „Hadzi-Abrek“



M. Vasnetsov

„Jumalagajätt vendadega“ (Laul kaupmees Kalašnikovist)

Laul kaupmees Kalašnikovist

(Katkend)

Kohal Moskva, suure, kuldkuplilise,
 kohal Kremli valli valgekivise,
 tagant kaugete laante, sinimägede,
 laudkatuste kohal mängeldes,
 halle pilvi laiali ajades
 agu punane kerkib ülesse;
 kuldlokid heidab ta laiali,
 peseb palgeid pudedal lumega;
 kui kaunitar peeglistse piiludes
 selge taevasse vaadates naeratab.
 Milleks, helendav agu, sa ärkasid?
 Mis rõõmupeoks enese ehtisid?
 Kuidas tulid, kuis kokku end kogusid
 uljad võitlejad moskvalinlased
 Moskva jõeale rusikavõitlusteks,
 pühi tegema ladusaks, lõbusaks.
 Ja tsaar tuli oma družiinaga,
 bojaaride ja opritšnikega,
 käskis tõmmata hõbedast ahela,
 puhta kullaga lülideks joodetu.
 Sülda kaksikümmend viis sai eraldet
 üksikvõitluse tahtjate tarbele.
 Ja käskis tsaar Ivan Vassiljevitiš
 hõiku hõigata heleda häälega:
 „Oi, kus olete, uljad te tublikad,
 tulge, lõbustage tsaari, me isakest!
 Sesse suuresse sõõrisesse siirduge:
 Kes võidab, saab tsaari käest kinkisid;
 kes langeb, üks issand tall' halasta!“
 Ja tuleb siis uljas Kiribejevitiš,
 tsaari vööni vaikides kummardab,
 heidab hügelõlult sametkasuka,
 käe parema puusale toetab,

punamütsikest teisega kohendab,
 ootab endale taplusevastalist.
 Kolm korda hõik kõlav ju kõlanud —
 ei ükski end võitleja liiguta,
 vaid vahivad, teineteist tõukavad.
 Vabal väljakul opritšnik jalutab,
 argu pilades õelasti irvitab:
 „Jäite vakka, kõik, kullaksed, kõhklete!
 Eks olgu, ma töotan pühadeks
 jätta igale sisse ta hingeke,
 vaid lõbustan tsaari, me isakest.“
 Äkki hulk kaheks jõuguksi jaguneb,
 astub ette Stepan Paramonovitš,
 noor kaupmees ja uljas võitleja,
 keda kutsutakse Kalašnikov.
 Esmalt kummardab tsaari ta jüledat,
 pärast valget Kremli, pühi kirikuid,
 viimaks kogu vene rahvast kogunend.
 Tema kullisilmad peas põlevad,
 opritšnikut hoolsasti uurivad.
 Selle vastu ta enese üles seab,
 võitluskindad enese kätte a'ab,
 võimsad õlad õigeaksi sirutab,
 lorkis habeme üle silitab.
 Ja ütles talle Kiribejevitš:
 „Aga teata mulle, hea tublik, nüüd,
 mis sugu, mis seltsi sa omaks loed,
 mis nimega lased end kutsuda?
 Et hingepalvet teaks pidada,
 et teaksin, millega kiidelda.“
 Talle vastab Stepan Paramonovitš:
 „Aga hüütaks mind Stepan Kalašnikov,
 aga sündisin ausast isast ma,
 ja elasin issanda käsus ka:
 pole võõrast naist mina võrgutand,
 pole pimedal ööl olnud röövliitööl,
 taeva valguse eest ennast varjanud...
 Ja ütlesid sina ju täielist tõtt:
 ühe eest meist hingepalvet saab peet
 mitte hiljem kui homme keskpäeva aeg

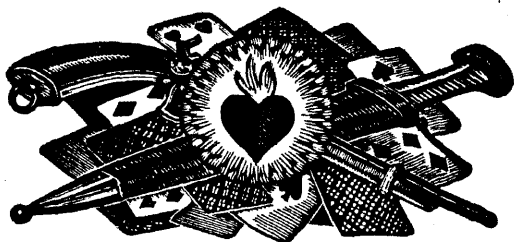
ja teine meist pidul saab hooplega
 oma uljaste sõprade seltsiga ...
 Mitte naljaks ega rahvale naerdavaks
 sinu vastu ma siia ei siirdunud,
 hirmsaks võitluseks tulin, viimseks võitluseks.“
 Ja kuuldes seda Kiribejevitš
 näost kahvatas sügise lumenä;

vilkad silmad ähmusid udusteks,
 vahel õlgade külmavärin käis,
 suri sõna ta avatud huultele.
 Vaat vaikides lahku nad lähevad,
 on sangarlik heitlus algamas.
 Võttis hoogu siis Kiribejevitš
 ja esmalt lõi kaupmees Kalašnikovi,
 ja lõi teda keskele rinnale —
 rind tubliku vastu raksatas,
 lõi vaaruma Stepan Paramonovitš;
 ta rinnal lai vaskine rippus rist
 püha ihuga, pärit mis Kiievist,
 ja paindus rist rinnasse lõikudes;
 kui kastet verd alt hakkas tilkuma.
 Ja mõtles Stepan Paramonovitš:
 „Mis olema peab, saab olema;
 võitlen viimseni õiguse kasuks ma!“
 Varus osavalt hetke ta paraja,
 koondas kokku kõik jõu endas oleva
 ja tabas siis vihatud vastalist
 otse hüvaku oimule täiest jõust.
 Ja aietas kergelt opritšnik noor,
 lõi kõikuma, sadas surnuna;
 ta kukkus külmale lumele,
 langes lumele nagu männike,
 nagu männike, märjas mis männikus,
 läbi juured läbi tõrvased lõigatud.
 Seda nähes tsaar Ivan Vassiljevitš
 vihal vihastas, pöörutas vastu maad
 ja musti kulmusid kortsutas;
 kinni võtta ta käskis kaupmeest noort
 ja tuua tend ette siis enese.
 Nõnda kõneleb õigeusklik tsaar:

„Vasta mööda tõtt, südametunnistust,
 vaba tahtega sina või tahtmata
 ära tapsid mu pälvija ustava,
 Kiribejitši, parima võitleja?“
 „Mina ütlen sull', õigeusklik tsaar,
 ta tapsin ma vaba mu tahtega,
 ent mis-cest, mispärast, ei ütle sull',
 seda ütlen vaid üksinda jumalal'.
 Käsi mestata mind, panna pakule,
 minu pea, mis on sinu ees süüdlane;
 ära jäta vaid lapsi mu väetimaid,
 ära jäta mu noorikust leskenaist
 ega venda mu kahte su armuta...“
 „Hüvaks sinule see, mu nooruk, on,
 uljas võitleja, kes sa, poeg kaupmehe,
 et sa vastasid süüme järele.
 Noort naist sinu nõnda ka orvusid
 võtan toetada ma oma varaga,
 sinu vendi käsin tänasest päevast ma
 kõiges kuningriigis laial me Venemaal
 ilma maksuta, lõivuta kaubelda.
 Aga sinä ise mine, nooruk mu,
 kõrge koha peale, mine kaagile,
 jäta sinna maha oma uhmjas pea.
 Käsin kirve kõhutada — ihuda,
 käsin timuka riidetada — ehtida,
 käsin suurimat kella kõlista,
 et sellest kõik moskvalased mul teaks,
 et sina mu armust pole ilma jäet...“
 Kuidas väljakul rahvahulk koguneb:
 kell kurvasti kumiseb-tümiseb,
 kandes kõikjale teadet painavat.
 Kõrge koha peal üleval, kaagi peal,
 särgis punases ereda pandlaga,
 suure kirvega, teravaks tehtuga,
 käsi paljaks jäetuid hõõrudes,
 on timukas köpsakalt kõndimas,
 ees võitlejat uljast ootamas.
 Aga võitleja vahva, kaupmees noor,
 jätab jumalaga lihaseid vennakseid:

„Te, mu vennakesed, verisõbrakesed,
 veel kord suudelgem, teineteist emmakem
 sel hetkel, mil viimne ees lahkumin.
 Tervitusi minult Olena Dmitrijevnaale,
 ütelge, et vähem muretseks,
 minust lastele ei kõneleks;
 tervitusi isamajale,
 kõigile me seltsimeestele,
 ise paluge issanda kirikus
 eest mu hinge, hinge patuse!“
 Ja mestati Stepan Kalašnikov
 surma kurjaga, häbitoovaga;
 ja ta peakene hoopis õnnetu
 verehormalin veeres pakule.
 Maha maeti ta taha Moskva jõe
 lage väljale vahele kolme tee:
 Tuula, Rjazani ja Vladimiri,
 mullaküngas siia peale kuhjati,
 rist vahtrapuust sisse pisteti.
 Marutuuled jalutavad, mühavad
 tema nimetuma haua peal,
 hüvad inimesed mööduvad:
 möödub vana — risti ette lööb,
 möödub nooruk — enda sirgu aab,
 möödub neitsikene — nukrutseb,
 kanneldajaid möödub — laulu laulavad.

Tõlkinud Hendrik Adamson



PALKIDE PEAL

VALEV UIBOPUU

1

V arasel kevadehommikul said palgiparvetajad uue töökaaslase, noore vaiksevõitu ja tagasihoidliku mehe.

Ta ilmus jõe äärde tunnil, mil siin kõik oli veel vaikne. Suurema palgivirna kõrval kustunud tuleaseme juures magas ainult üks mees, kes oli kiskunud end kõverasse sinise kuuetüki alla. Sellega aga oli kaetud ainult mehe turi. Püksivärvli kohalt paistis tükk määrdinud takust särki ja peast pudenenud vana läkiläki oli paljastanud hõredate hallide juustega kukla, mis lagipea poole muutus vana mehe sinetavaks paljaspeaks.

Magaja ärkas tulija jõulistest sammudest, ringutas ja kiskus end istukile. Uni oli veel sügavasti ta silmades. Habemesse kasvanud nägu kaame nagu tolmune kivitükk, hõredad juuksekahtlud sorkus ja sugemata, vahtis ta võõrast mingi segase pilguga. Kevadise maa jahedus oli pugunud sügavale ta kontidesse, muutes mehe mullakarvaliseks ja kangeks. Ka tulija meelest oli veel liiga vara väljas magamiseks. Astudes võsa vahelt siia soole, olid mättad üsna kahtlaselt krabisenud ja küllap oli soopind siin jalgade all sügavas veel lausa jääs, andes üles külma hingust, nii et rohigi ei saanud veel kasvama ja võitu lumesulamisel sündinud kõntsast. Kulus hulk aega enne, kui vanamees tulijalt heidetud tervituse vastu võttis.

„Tulid tööle?“ küsis ta viimaks.

„Nõnda jah,“ kostis võõras ning istus ligemale palgiotsale, hakates silmitsema oma jalgu nõrkades kingades, mille kulunud ja lõhkenud nahk oli määritud porist ja teetolmust. Ka temal oli jahe siin keset udutriipe, mis kerkisid jõe poriseks tallatud pervede vahelt. Ta väristas õlgu kitsa kuue all ja kergitas üles kaeluse, ehkki oli salli ette sidunud suure laia sõlmega, mis hästi kattis ta lahtist rinda.

„Kas pole külm väljas magades?“ küsis ta kaaslaselt.

Vanamees pomises midagi, pistis pähe mahalangenud mütsi ja hakkas askeldama pealuseks olnud takuse seljakoti kallal. Suur taskunuga lahtiselt peos, alustas ta hommikueinet. Ta nõõridega seljakotist, mis ilmsesti talvel oli endas peitnud linaropsija roobitsat, ilmus välja kannikas turbana musta leiba ja nõgine, kuskil popsniku saunas suitsunud lihakont, mille ümber särasid jämedad soolaterad.

Ka tulija vabastas õlgadelt õhukese koti ning heitis jalgade kõrvale. Kotis leidus paberisse pakitud pesupaari kõrval vanaks tõmbunud ilmega võileibu, mida mees hakkas närima pisut härdunud ilmega — selle koti oli talle korraldanud vanaema seal kuskil eemal, mahakäidud tee teises otsas.

Siin all Lõuna-Eestis ühinesid kaks suuremat jõeharu, ning sellest sündinud parvetustee kaldal leidus ainult üks suurema läbilaskevõimega saeveski, mille saavutamisele võistlesid üks era- ja üks riiklik metsafirma. Mahajäämine tähendas siin kuude pikkust ootamist suletud jõeharu taga ja suurt edumaad ettejõudjale, kelle palgid pääsid varem saehammaste vahele. Tööotsimisreisul sellest kuuldes, oligi noor matkaja kohe tõtanud ligemal asuva metsafirma kontorisse, pakkudes end tööle, sest leivaraha taskus oli lõppemas.

„Tahate tööd?“ oli küsinud sinise, rasvast läikima hõõrdunud rinnaesiga kuues metsaäri peremees ise. „Parvetustööle oleks ju mehi tarvis — kas saate sellega hakkama, olete asjaga tuttav?“

Küsites oli ta libistanud kerge pilgu üle tööotsija keha ja riiete, kuid selle juures jätnud siiski tähele panemata nõrgavõitu keha ja viletsad kehakatted, mille taha selliste isandate pilgud seni alati halvustavalt kinni olid jäänud. Nüüd aga tuli peremehe enda käest kiri praakerile uue töölise tööle võtmise kohta ja see taskus, oli ta asunud teele jõe äärde, soisesse orgu, kus parajasti asus parvepoiste laager.

Vanamehest palgiotsal polnud jutu jätkajat, ning uustulnuk tahtis parajasti avada suud küsimiseks, kus on teiste töömeeste ööbimispaik, kui neile üle mätliku maapinna hakkas liginema tüdruk, käes valge komps. Ta kandis halli villast undrukut, samavärvilist jakki ning ta linaõievärvilised silmad vaatasid imestunult otsaesisele köidetud valge rätiku serva alt võõrast noormeest. Viimaks lõi ta isegi silmad maha ja astus pisut edvistavate ning kiirete liigutustega vanema parvemehe juurde, üteldes sellele kiirest käigust tekkinud õhinaga hääles:

„Sa nälgid ju siia lihakondi juurde ära — tõin sulle midagi mõistlikumat...“ ning nobedate liigutustega vallandas ta rätikust taldrikuga kaetud emailkausikese, ulatades selle vanamehele. Seal oli tangupuder praetud peki-tükkidega ja tükk õhukest karaskit ning alumiiniumlusikas.

„Midas ma enam — kõht juba täis,“ pomises vanamees, kuid võttis pakutu vastu ja asetas lusika isukalt pudrusse.

Tüdruk jäi nüüd kahe sõõja vahele seisma. Ta võis olla vaevalt kaheksateist aastat vana. Pöördunud küljega noormehe poole, silmitses ta seda uuesti ning naeratas pisut tõmbilt. Siis, otsekui kartes hilinemist, asus vanamehe toidukausi juurde, murdis sealt tüki karaskit, tõstis sellele paar lihaliipsu ja tõi võõrale:

„Olge heaks, suur asi ta ei ole — ahi on vana ja ajab suitsu sisse!“

Sellist pala ei saanud tagasi lükata. Poiss jättis oma kuivaks tõmbunud võileiva pooleli ja võttis karaski vastu. Sellel oli ahjupõranda ja kõrbenud jahu tuttavlik maitse.

Tüdruk ei pidanud vaikust, vaid seletas nobeda kõnevulinaga:

„Mina käin siit igal hommikul mööda, lähen metsa istutama. Siis on hea võimalus isale toitu järele tuua. Tema, vana inimene, näete, ei suuda nii kaugele käia. Tükk teed kah — kümme kilomeetrit. Ütleb, ööbin parem jõekaldal. Siin pole läheduses ka ühtki korralikku ööpaika, külas või alevikus oleks, aga sinna kah oma kolm kilomeetrit. Isegi seda teed ei taha enam jalge alla võtta...“

„Arusaadav — kui päev aega jõekaldaid tambitud...“ heitis võõras suutäie vahelt.

„Niijah,“ lausus tüdruk mornilt, „tapab siis ennast siin külmal jõekaldal magamisega...“

Jõe äärde oli jõudnud juba paar töölist. Need olid palkide sisseveeretajad, vaevalt kuue-seitsmeteistkümmesed poisikesed, kes töötasid tükitöö alusel. Nad askeldasid kangidega pruunide männipalkide virna kallal, mille juurest viis võsalise metsa alla hobusesõnnikune rada, mis tähistas talvist veoteed. Selliseid teid ja palgivirnu oli täis kogu kallas ja ülalpool paistis peryel otsekui hõövliga silutud laiuke, kust palgid olid juba vette veeretatud. Jõe ligidal läks see kergesti, kuid kaugemal oli tegemist. Seal võis näha mustaks tambitud maad ja purunenud kangiotsi. Ühest töötavast poisikesest nägid vaatajad käsivart, mis koos kangiga tõusis kõrgele üles ja paljastas kaenla all katkise kuue, mille rebemusest paistsid kõhnad roided, juba pruunid kevadisest tuulest ja päikesest. Kui käsi kangiga tagasi langes, valitses hetk vaikust ja siis järgnes veepiiskade sähvatus kallaste vahel ning palgi langemise tume laksatus, nagu oleks keegi vaheda hiiglavitsaga vastu maad põrutanud.

„Kas teie olete uus parvepoiss?“ küsis viimaks tüdruk. „Ennem nagu pole näinud...“

„Seda jah,“ noogutas küsitav. „Võõras siin kandis...“

Uuesti tuli vaikus. Siis pöördus tüdruk vanamehe poole:

„Sa tee õhtuni nõud puhtaks — töö lõpul tagasi tulles võtan kaasa...“ ning ilma et oleks ütelnud head aega kummalegi, hakkas ta mööda rada metsa poole astuma.

Oli saabunud õige hommik. Udu kallastel hakkas lahtuma, niidul löid mättad kastest särama. Nüüd alles nägi uus parvepoiss täies selguses käarusid, milles ühtekleepunud saartena seisid pruunid männipalgid, kokkukuhjunud, ummikus ja liikumatud. Sisseveeretamispaikadelt saabus neile hetk-

hetkelt lisa üksikute palkide näol, mis kukkumise hoost keereldes ja veereldes allapoole ujusid, sõites teistele külge tumeda nõksuga.

Kui uus parvepoiss nõnda jõge silmitses, hakkas ta selja tagant kuulduma meeste käreidaid kõnehääli ning pöördudes nägi ta metsast väljumas paarikümmend meest pootshaakidega õlal. See oli kirju kamp räbalases riides ja mitmesuguses vanuses mehi. Nad siirdusid tuleaseme juurde palgivirna kõrval, kuhu ka uus parvepoiss pöördus. Kuid teda ei pandud suurt tähelegi.

„Hõi, Vana-Jaagup,“ hüüti palgiotsal toidukompsu siduvale vanamehele. „Kas magasid maa sisse augu? Ega seekord säde hõlma ei hakanud — meile nagu kerkis teel kõrbehaisu ninasse?!“

Vanamees ei kostnud midagi, vaid jätkas rahulikult oma toimingut.

„Kas praaker ka peaks siin olema?“ küsis nüüd uus parvemees, otsides silmadega, keda selleks pidada. „Mul siin kiri temale...“

„Praakerit ei ole,“ vastas pikk lihavusele kalduva valge näoga poiss, „aga mina olen tema asemik...“ ning endastmõistetava võttega näpsas ta kirja teise sõrmede vahelt ja avas selle. Nüüd nägi uustulnuk, et mees oli küllaltki erinev teiste hulgas. Ta kandis üle põlvede küündivaid pehmeid nahksäärikuid ja triibulist kampsunit kuue all. Puusalt piilus välja suur nahktupes puss, vastates nii väliselt linlaslikule kujutlusele parvepoisist-keigarist, keda siin tõelikkus närtsudest jalanõude või katkiste tanksaabas-tega ümbritses nagu mõnd maskeraadlikku erandit. Mehel oli peas sinine barett ning selle alt paistsid punakad juuksed, ulatudes pügamatuina kaelale. Ta külmhallides silmades peitus mingi teravalt ilge kõrvalpilg.

„August Aarike...“ luges ta aeglaselt veerides, „võtta tööliseks palgi-ajamise töödele...“ Siin pidas ta mõtliku pausi ja pomises: „Vaata kus vana — palkab aga omapead töölisi... Aga olgu peale,“ kõrgendas ta uuesti häält. „Kas tööst jagu saate?“ ning ta kobas oma pisut punsunud silmade vaatega üle uue mehe käte ja riiete. „Riie ja saabas teil ju kehv on...“ muigas ta, klõbistades oma säärikute kontsi, „kuid ega meilgi siin lugu targem ole...“ ning ta vaatas naeru mõkitades ümberseisvaile mees-tele, kellel ühelgi polnud tõesti midagi sellist, mida kandis tema.

„Keksi teil endal pole?“ küsis ta, tähendades pikavarreliste pootshaakidele, mida mehed õlal hoidsid. Kui vastus tuli eitav, pöördus ta ühe kesk-ealise siniseks värvitud laiades pesuriidest pükstes mehe poole ja ütles:

„Sa, Volts, anna oma tagavara-keks temale, kuni ise jõuab muretseda... Täna tarvis kõvasti pingutada — tuul näib olevat vastu ja võib meid päris paigale pressida. Oõga ummikuid ka tekkinud.“

Voltsiks nimetatu tõmbas palgivirna alt voolitud varrega pootshaagi, ulatas mehele ja ütles:

„Kui ära murrad, ostad uue asemele...“

Ning meestesumm hakkas valguma jõe äärde.

Uustulnuk jäi viimaste hulka. Tema järel sammus praakeri asemik, nagu näis, tõeliselt kubjas.

Mehed hakkasid mööda kallast laiali valguma ning seismajäänud palke pootshaakidega voolusesse kiskuma. Käärudes ootasid terved lademed selist puumaterjali.

Mees, kes uuele oli laenutanud oma pootshaagi, hüppas siniste kottpükste välkudes lahtistele palkidele ja hakkas imenobedasti joostes ületama jõge. Palgid keerlesid ja vajusid ta jalgade all, kuid vesi ei pääsnud niisutama ta taldu. See oli tõeline parvepoisi kutseoskus.

Uustulnuk pandi tööle kitsale jõesilmale ülalpool, kus palkide pealetulek polnud enam suur. Voltsiks nimetatu saadeti mahajäänud materjale järele kohendama, kuna teised kadusid kõik allapoole kilomeetrite ulatuses, kus nende kogud liikusid kallastel edasi-tagasi nagu kauged hallid varjud. Uus parvemees nägi neid oma töökohalt, mis oli suure kivi ja lepapõõsa juures, kus vool tantsis üsna karedana ja tuli valvata, et ei tekiks ummikut. Palgid lonksatasid siin läbi kitsa koha nagu pudelikaela. Paljud aga ujusid risti, jäid kinni kividesse ja kaldasse, uued kippusid rüsinal peale, torkasid oma ninad sügavale põhja, värisesid ja siplesid ning siis pidi olema oskust ja pilku, et aidata õigest kohast. Vahel ei saanudki enam midagi teha ei käterammu ega mõistuse varal, siis tuli oodata, kuni vesi ummiku taga hakkas tõusma, hõbedased nired hüppasid palkidele, paisusid ja kasvasid ning viimaks hakkasid voolama üle, kiskudes endaga kaasa lahtisemaid palke, mida nüüd sai juba kangutada ja liikuma panna. Esimeses tööhoos uustulnuk ei märganudki, kuidas päike tõusis kõrgele ja muutis ilma soojaks maipäevaks, milles metsad helisesid käohõisetest ümberringi.

Päeva poole tuli Volts ülaltpoolt lonkides ja jäi suitsetades uustulnuka juurde seisatama.

„Noh, kas pootshaak on veel terve?“ küsis ta.

„Terve mis terve,“ naeris teine vastu.

Voltsil oli sinetavmust lõug ja samasugused silmakulmud ning kurvalt ja pisut tigidana mõjuv pilk. Ta vaatas tüki aega teise tööliigutusi ning näitas siis paar tulusamat võtet pootshaagi kasutamises.

„Kustpoolt mehi oled?“ küsis ta lõpuks.

Teine peatus ja seletas lühidalt oma päritolu.

„Nojaa,“ arvas Volts, „häda korral võib ka siin tööd teha, aga tulu pole sellest midagi. Meie teeme seda kõik sellepärast, et muud pole. Elame hunnikus väikeses alevinärus ning igal kevadel on meile jällegi ainsaks teeks seesama jõekallas siin. Tuleme siia ja tambime ta perved ikka jälle ja jälle läbi...“

Volts kõneles ja vahtis vette, korts kulmude vahel. Siis, madaldades häält, lausus:

„Ainult selle „Pajuharakaga“ — me kutsume teda nii, kuigi ta õige nimi on Paasveer — ole ettevaatlik. Ta mehkeldab metsavahi ja konstaabliga — küll kuuled ise, kuidas ta sellega kiitleb. Iga päev kõneleb. Kord üks poisse tõmbas iga kord sõega palgiotsale risti, kui ta konstaablit nimetas. Öhtuks oli terve virn nõgine. Kui midagi liigutad, annab kohe üles. Meil ühe mehega oli. Laskis paar palki oma koduonni ligidal põhja, kattis kivide ja mätas-tega, et hiljem oleks hea võtta, kuid „Harakas“ nuhkis üles. Nüüd mees istub. Tema, mait, ka siinsamas jõe ääres kasvanud, teab kõik siinsed pruu-gid ja kombes, näeb, kurivaim, otse hinge sisse . . . Siga niisugune!“

Kuulaja vaikis nagu hämmastunult. Ta silmitses ainiti kaaslast, kes jätkas:

„Ise käib metsavahi ja konstaabliga kitsi tapmas — see pole vist kuri-tegu! Hooplebki sellega. Muidu mudalaisk, küllap on praegugi juba kuskil hea koha leidnud. Töö teeme meie, aga palga saab tema. Praaker sama-sugune sell — ei näita vahel nädalapäevad nägu, palgarahadki siin selle suli taskus. Nüüd on ta Vana-Jaagupi tütre peale silma visanud — seesama, kes hommikul toidukausiga siin käis — teada küll, mis niisugune mees passib . . . Nii on, vaata siis ette, et vahele ei jää . . .“ lõpetas Volts järsku, otsekui kartuses, et on liiga palju rääkinud, ja seadis end minekule.

Lõunatund peeti tuttava tuleaseme juures. Mehed istusid leivakottidega niidukamaral ja pärast ühetaoliselt kehva toitu, millele rüübiti jõest vett peale, pikutasid tunni võrra lõunase päikese paistel. Alles nüüd uus palgi-ajaja tundis oma kontides, mida tähendab harjumatu töö. Sääre- ja õlgade lihased pakitsesid, nagu oleks neid hõõrutud rullide vahel. Niiske poots- haagi vars oli kiskunud valutavad villid peopesadesse. Raske oli murult uuesti üles ajada ja ligineda jõe, kus lõputult näisid hõljuvat pruunid vaigused palgid.

Öhtupoolikul tõusis tuul ja pöördus vastuvoolu. Jões, mis oli siin lausik ja võrendikuline, andis see kohe tunda. Vesi muutus surnuks ja temaga koos ka palgid, mis jälle kleepusid ühte, suurteks liikumatuiks saarteks „Hara- kas“ oli kohale ilmunud ja jooksis kirudes kaldail. Ta sundis mehi pingu- tama, ja sääred vastu pervi surutud, pressisid need pootshaakidega palke vaevaliselt edasi, et anda ruumi uutele, mida kaldavirnadest sisse veereta- sid kõhnad närudes poisikesed.

Kui viimaks öhtu saabus, töö lõpetati ning mehed minekuks kogunesid, märkas uus tööline, kuidas päev oli muutnud vaikseks ja liigutustelt aeg- laseks mitte üksi tema, vaid kõik kaaslased kuni Vana-Jaagupini. Üks par- vetajaid, punetavate laugude ja parkunud näonahaga mees, vaatas talle kõrvalt hetke otsa ja lausus pootshaaki minekuks õlale tõstes:

„Ega sehanitse päeva järel enam tahtmist pruudimõisa minekuks ole, mis?!“

Meeste pöördudes saabus niidule hommikune tüdruk — toidunõude järele. Tekkis naeru ja kõnesuminat.

„Kelle sa meist nüüd valid?“ küsis „Harakas“ ette tükkides.

Tüdruk ei vastanud, näis olevat niisama väsinud. Mässis vaid tühjad toidunõud vilunud liigutustega valgesse rätikusse, mille servad köitis jänese-kõrvu meenutavasse sõlme.

„Kui ei hooli, kellel siis mure...“ heitis „Harakas“ minema hakanud tüdrukule lõõpivalt järele.

Tüdruku vana isa oli jäänud üksinda jõekaldale. Vaevaliselt ja kangete jalgedega komberdas ta palgivirna kõrvale ja hakkas süütama lõket. Laastudest kerkis valge suits, viimaks hüppas üles ere leek ning valgustas kortsulist ja kooljana kõhna nägu, üksi ööks jõekaldale jäänud vana töömehe nägu.

Taevas niidu kohal oli muutunud tummaks ja jahedaks. Suur vari kattis heinamaad. Sisseveeretuspaiakadel olid vaikinud langevate palkide partasused. Jõelt kuuldus ainult voolava vee nukrat solinat, mis peksis kuskil lakkamatult vastu palki.

Minejate pikk rida kadus metsa varju.

„Nägid mamslit?!“ küsis „Harakas“ uelt parvepoisilt. „Täitsa õhvake!“ Ning hetke pärast: „Käib siin jõe ääres poisse passimas.“

2

Juba mõne päeva pärast August Aarike ei saanud enam silma vaadata oma esialgsele sõbrale, kelle pootshaaki ta ikka veel kandis. Mees hoidus temast kõrvale, heitis talle ainult eemalt mõne tigea pilgu ja kui nägi uut parvemeest liginemas, seadis sammud mujale.

See vaenuavaldus tuli õieti sellest, et uus parvemees oma tahtest rippumatult oli algusest peale kujunenud parvemeeste kupja usaldusaluseks, kes andis talle kergemad tööpaigad ja käis temaga lobisemas, küsimata, kas seda sooviti või ei. Ilmesti vajas ta kuulajat oma kiitlemistele, milleks ta nüüd valis parvepoiste räbalasest karjast kõige tundmatuma ja vöörama.

Oli see alanud õieti sellest, et „Harakas“ juba teise tööpäeva hommikupoolikul tema juures peatus ja talle suitsu pakkudes küsis:

„Kuule, ega sul juhtumisi jalgratast ole?“

Kui küsitav eitas, seletas teine edasi:

„Mõtlesin, et kui oleks olnud, ehk oleksid mulle paariks õhtuks laenanud... Läheks teist päris hädapärast tarvis. Mul saak enamvähem valmis vaadatud...“

Kui teine arusaamatuses talle otsa vahtis, lisas ta:

„Noh, tüdruk ikka! Käib teine siin jõe ääres passimas, ootab vist. Vana-mees magab ööd siin jõekaldal, laps üksi kodus, midas paremat veel soovida. Häda ainult selle minekuga. Elab oma kümme-kaksteist kilomeetrit kaugel. Marsi siit sinna, noh ära lähed veel kuidagi, aga kuidas sa hommikul tagasi tuled?! Rattaga oleks teine asi, võtad tüdruku toru peale ja muudkui, nagu öeldakse, padavai alevi...“

Aarike vaatlus ta kergesti tedretähnulist nägu, mis kõneldes silmade juurest kipra kiskus, ja mõtles endamisi: vaat kus vend, isegi tüdruku võrgutamiseks laisk, kardab jalavaeva!...

„Harakas“, otsekui oleks ta neid mõtteid mõistnud, ruttas seletama:

„Õieti teeb see lugu mulle nalja. Nagu tedrejaht: üks ootamiseski ole omajagu lõbu. Vaatad linnu välja, passid, piilud, otsid soodsat momenti, ja lõpuks, kui juba tüdima hakkad, siis...“ mees lõi keelega mõnuleva laksu. „Praegu sellega veel aega on. Tunnen seda tüdrukut: ega sinna ju igamees nii kergesti ligi pääse! Peab ikka olema poissi kah. Kui tööotsaga Meemaste sillani jõuame, seal läbi metsa jääb ainult viis-kuus kilomeetrit minekuks ja sellega ööst jupp üle... siis...“ Ning ta vaatas otsekui tOOTAVALT piki jõge.

„Eks ma võiks ju ratas küsida ka konstaablilt,“ lisas ta lõpuks, „kuid see hakkab pärima, et milleks ja kuhu... Aimab muidugi, et tüdruku pärast, ja ega ta siis anna — kade, kurivaim...“

Aarike teadis, et kogu jutt on hooplev loba, kuid üks selles oli siiski kindel: huvi noore nobeda popsitüdruku vastu. Selle huvi iseloomus aga oli tõesti tedrepaelte panemise ilget kavalust — ei puudunud eeldused, et „Harakas“ oma soovides sihile võis jõuda. Nagu Aarike vaikiva pealtvaatajana jõe äärde isale toitu tooma tulnud tüdrukust korduvalt märkas, oli see oma meeldivaist omadusist hoolimata siiski ainult noor rumal tüdruk, kes endasse kergesti võis mõjuda lasta teistest paremini riietatud. keigaritempudega mehel. Juhtus isegi seda, et see karistamatult läks talle teiste ja isegi ta isa nähes kätega kallale, näol ülbe võitjanaeratus.

Aarike polnud tüdrukuga enam kordagi kõnelnud, kuid ometi oli tal nüüd paha seista jõe kaldal ja juhtida palke alla kivide ja käänakute vahelt, et need kiiremini ligemale jõuaksid kõigele sellele, mis pidi sündima. Pootshaaki hoides meenus talle nüüd tihti pruun väike käsi, mis võõrale oli ulatanud tüki endakupsetatud karaskit. Tööle aga oli nüüd tempot juurde antud. Metsafirma omanik tahtis tingimata oma palke esimesena

saehammaste vahele saada ja ta oli välja kuulutanud preemia võidu puhuks: parvemehed pidid saama kasti viina veskikõrtsi juures.

„Harakas“ koos aeg-ajalt tööde juurde ilmuva praakeriga käis kallastel ringi ja õhutas:

„Litsume, poisid! Pärale jõudes teeme pidu, et maailm mäletab. Minu poolt viinale veel korv õlut otsa!“

Selle „tasu“ eest siis pressiti ja palgid otsekuu paratamatult ning vägisi vajusid koos veega allapoole, kuigi Aarike pootshaak neid harutades nüüd tihti eksis ja aitamise asemel takistaski. Iga risti pöörduv palk oli talle nüüd otsekuu sõber, kes on selgusele jõudnud oma tahtes mitte kaasa teha teekonda alandusele ja häbile. Kui tuul pöördus ja löi vee käärudes surnuks, käänas ta oma palge tuulele vastu ja tal oli liikumatult seisvaid palke nähes tunne, nagu oleks tulnud kallaste vahele lootuse ning jõukogumise hetk. Koos sellega oleks nagu helgema värvi saanud ka mälestuspilt linaõieliste silmade ning halli undrukuga tüdrukust, kes polnud selline, nagu oleks tahtnud näha, kuid kellele ta siiski ei võinud soovida halba.

Tööjärjega allapoole jõudes muutus luht laiemaks ja avaramaks. Selle kaldail leidus üksikuid talusid ja pervedel kasvas suuri pajupõõsaid nagu heinakuhje, mis olid õitest võikollased ja soojadel keskpäevadel täis mesilaste suminat.

Alevik oli jäänud kaugele seljataha, nii et ööbimiseks ei pöördunud enam keegi sinna. Üksikuil oli tuttavaid ligiduses, kuid enamik magas luhaäärses suures küünis, mille muldpõrandal leidus veel paar sületäit mulduseid heinu. Õhk oli juba pisut soojem ja katuse alla ei pääsnud öise kaste külmus.

Ühel õhtul, kui eha paistel suitsu tõmmates küünilävel istuti, selgus Aarikele, et mõnedki vaevlesid temaga ühiste mõtete kütkes.

„Kurrat teab,“ avas üks vanem parvemees suu, „kas see plikasärts peaks tõesti meie „Harakat“ tahtma, või hüppab ja ajab muidu hõlpu, nagu enamus tüdrukuid selles eas...?“ Ta tahtis veel midagi lausuda, kuid märkas pakuotsal konutavat Vana-Jaagupit ja kuigi ta polnud maininud kellegi nime, maigutas edasi ainult suud, nagu oleks selles kogu jutt olnudki.

Järgmisel hommikul saadeti Aarike välja eelsalgas, puhastama palkidele teed ja uurima veevoolu. Eelmisel päeval kogumistõkke tagant vabastatud palgid olid jõudnud kaugele alla ja kui käär metsa tagant tulles avas vaate avarale laiale luhale, häämendas selle lõpul vastu kõrge sild, mille betoonist valatud jäämurdjad lõikusid raskete pankadena musta vette. Silla tume siluett luha kohal tõi eesmise mehena sammuvale Aarikele järsku meelde siit ligidalt kulgeva raja, mis pidi viima läbi metsa kuhugi onni

juurde. Ta peatus ja andis põõsaste vahelt märku järel sammuvaile meestele tagasi pöördumiseks, nagu poleks eespool enam ühtki lahtist palki.

Sel õhtul ootas Aarike tuttavat tüdrukut niidule raske südamega. Ta ei teadnud, kuidas ta pidi takistama „Harakat“ tema kavatsuses, kuid talle oli selge, et ta seda pidi. Õhtu oli kuidagi pinev, päike loojenes poolpilvises taevas, oli tuult, pooleldi suikuvat, pooleldi närvilist. „Haraka“ elevus ja jutukus oli kõrgpunktis. Seevastu teised vaikisid ja olid tusased. Ainult Vana-Jaagup istus liikumatu näoga küünilävel — keegi ei mõistnud ta mõtteid, nagu alati.

Viimaks ilmus niiduotsale tuttav madalakasvuline kogu. Ta tuli teed andvast meesterühmast läbi, noogutades kahele poole pead, ja suundus otse küünilävel istuva Vana-Jaagupi juurde, sirutades käe selle põlvedel lesiva valges rätikus toidunõude kompsu järele. Kuid vanamees ei andnud kompsu käest, ajas end selle asemel püsti ja lausus:

„Polegi sul enam vaja siia soo peale tulla. Ma hakkan nüüd ise kodus käima. See maa siit läbi metsa pole enam kellegi suur asi...“

Nende sõnade järel saabus niidule järsk vaikus, imelikult mitteerapooletu, otsekui üllatusest tekitatud hinge rindu kinni jäämine. See kestis isegi siis, kui vanamees tõesti koos tütreaga oli asunud minema, kadudes oma kangete jalgadega pajupõõsaste vahele. Siis järsku üks meestest hakkas vilistama, laksutas kelmikalt keelt, keegi ohkas ja pistis naerma, nii et vesi helises jõel.

Aarike trehvas sel hetkel vaatama „Haraka“ silmadesse. Need olid nagu kaks halli lume alt tulnud kastanitera, mis nägemise ilme said alles siis, kui nendesse järsku sähvatas mingi segu hirmust ja õelusest. Suust paljastusid urisedes valged hambad ja mees pöördus sõnagi lausumata, hakates minema üle niidu talu poole, mille kambris oli talle magamiseks tekiga kaetud ase. Ta jalad astusid tavalisi lodevaid ja viivitavaid samme, kuid käed vehkisid kõrval, nagu oleks nende omanik joosnud.

Hommikul oli „Harakas“ varakult tööliste juures. Enne töö algust ligines ta Aarikele ja hakkas tasakesi läbi hammaste kiruma:

„Vaat kus vanamehe-kringel: kõnn, niisugune! Ja oleks veel mõni asi tütar enesel!“ ning ta sülitas põlglikult. „Varem ei jõudnud vanamees õhtul konte kahe sammu kaugusele vedada, nüüd kooserdab koju! Armu pärast olen teda siin tööl hoidnud — vaat sulle nüüd tasu!“

Kogu päeva vantsis ta kallastel ja kihutas tigidalt urisedes mehi tagant. Nende muigel suud vihastasid teda ning ta sõimul polnud ühe ega teise juures piire. Ainult Vana-Jaagupist ei näinud ta väljagi tegevat.

Keskpäevaks jõuti suurema osaga silla alt läbi. Kolm meest seisis raudbetoonist jäämurdjail ja juhtis pootshaagiga palke. Jõgi oli siin juba lai

ja suur. Silla taga ta laienes veelgi, seal ootas ees jõe ainus paisveski. Palk palgi järel jõudis veskijärve, muutudes siin pruuniks rübuseks katteks, mis surus end vastu kaldaid ja kahte vesiväravaist suletud paisuava. Sillal aga käis samal ajal vanadele parvemeestele aastast aastasse tuttav mäng: kaudeldi palkide läbilaskmise hinna üle.

Lihavusse kalduv veskiomanik kahe jahutolmuses ülikonnas poisiga seisis paisul ja vaidles praakeriga. Karvamüts viltu peas, käed jopitaskuis, tegi praaker esialgu lahket nägu, meelitas ja manitses:

„Milleks selline kõrge hind, härra mölder? Ega me pole ju mõned juhuslikud mehed: igal aastal ajame sedasama juttu, igal aastal toome teile raha, mille te saate nõnda-ütelda jumalamuidu! Oleme varem alati kokku leppinud ega ole kordagi tülitšenud — see loeb kah midagi. Ah? Mis?“ küsis ta.

Veskiomanik aga vastas külmalt:

„Seda hullem, et igal aastal tulete. Purustate mu paisupõhja, takistate tööd, viidate kallist aega. Tahate seda minu taskust saada? Alla viitsada krooni ei ole juttugi,“ lisas ta kiledalt luksatades.

„Võtke kakssada ja ärgem kaubelgem...“ pakkus praaker. „See paar põhjalauda ei maksa tõesti rohkem!“

Parvemehed kogunesid ümberringi ja istusid palkidele, soojendades oma alatisest niiskusest haudunud jalgu juba kõrgelt käivas maipäikeses. Praegu oli silmapilk hinge haaramiseks. Kaks rahaahnet jõudu olid läinud vastamisi ja püüdsid iga hinna eest üksteisel nahka üle kõrvade tõmmata. Praaker kõrgendas häält ning veskiomanik pörutas rusikaga paisu käsipuule. Lõpuks ta istus oma laia kerega otsekui kaitseks vesivärava puuraamile, et ükski vägi ei saaks seda tõsta ilma tema tahtmiseta. „Harakas“, kes kogu aja oli seisnud oma praakeri kõrval ja teda kogu aja vaidluses truult toetanud, muutus ägedaks ja tõukas veskiomanikku pootshaagi varrega. See pani suure mehe hüsteeriliselt kiljuma. Sajatades ja politseiga ähvardades hakkas ta veski poole kõõberdama. Praaker viskas oma truule abilisele kõrvalt etteheitva pilgu: nüüd polnud parata, nüüd tuli maksta! Silmis mõru valu, hakkas ta veskiomanikule järele ruttama.

„Mis teie siin vahite!“ heitis „Harakas“ omakorda vihase pilgu parvemeestele, „sättige end allalaskmiseks valmis...“

Pilgu pärast tuli praaker veski juurest tagasi, nägu tusane nagu jänese kaotanud koeral, ja käsutas:

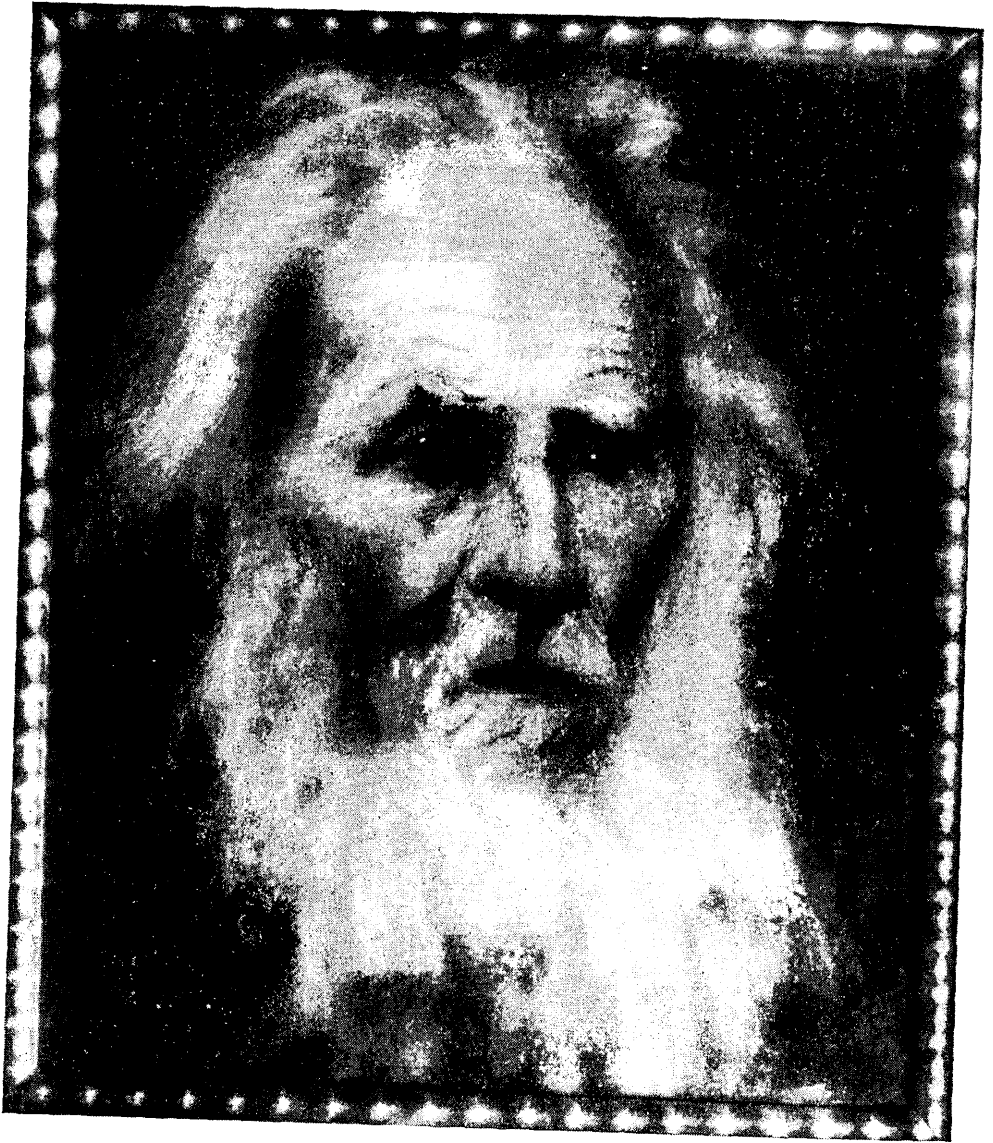
„Hakake pihta!“

Paisu alla veeretati paar pikka palki. Neist pidi saama purre, mille kaudu tuli alla ronida mehel, kes pandi töötama paisuava ummistuse vältimiseks. „Harakas“ ise asetas palgi kividele ja proovis seda oma kõrgekonsaliste saabastega. Tigeda naeratusega hambaid paljastades hüüdis ta üle öla:



A. Laikmaa

Araablase pea



A. Laikmaa

Vanamehe pea

„Hei, Vana-Jaagup, tule sina siia! Siin on sinu koht — hakkad palke vastu võtma. Oled kõige vanem parvepoiss, tunned seda tubakat . . .“

Vana parvemees haaras millegi pärast käega mütsi järele, nagu oleks tahtnud paluda. Ta paljastas pea ja äigas korra nagu kokkunult üle hõredate juuste. Märg vööt higipisaraid seisis ta tuhkhallil laubal. Kuid ta ei avanud suud vaidluseks ning hakkas sammuma tööpaigale, pootshaak kõvasti pihku pigistatud.

„Kas mees pole liiga vana? Ei tule toime?“ hüüdis praaker paisult.

„Pole midagi,“ pöörutas „Harakas“ vastu, „vilunud vend, tunneb asja . . .“ ning ta astus redeliks muudetud palgiotsalt tagasi, lastes vana parvemehe enda asemele.

„Lahti!“ käsutas ta hetk hiljem vesivärvate juurde asetatud mehi. Need surusid kangid raamide taha ja tõstsid nõnda tõkke järve eest. Hetkeliselt tõusis paisu all tume mühin, ülal hakkasid palgid rahutult liikuma, ajasid end püsti ja kadusid luksatades vesivärvate kurku, ning samas kuuldus juba alt nende langemise tumedaid mükse.

Vaevalt jõudsid esimesed palgid koos vahule purunenud veega läbi paisu, kui sillal seisvad parvemehed nägid, kuidas lüangi asetatud palk, millel Vana-Jaagup paisu ava kõrval seisis, hakkas kõikumama. Ta oli asetatud otsaga liiga kaugemale veepiirkonda ning nüüd haaras teda vool ja viis kaasa. Parvemees palgil tegi paar meeletlikku, tasakaalule püüdvat sammu ja langes siis hääletult nagu puunukk tantsivate palkide ja voogude vahele.

„Hoia palgi taha!“ hüüdis talle paisult kellegi hirmunud hääl õpetades.

Juba kerkiski vanamehe mütsi kaotanud pea ja käsi haaras ligidal hüplevat palki. Jõudsid kohale ka appi tõtanud töökaaslased. „Harakas“ kõige ligemal seisvana ulatas oma pootshaagi ja tõmbas selle külge klammerdunud vanamehe märja tombuna kaldale.

„Hõi, vana,“ ütles ta lõuakalt, „olid ikka kehvem, kui sind pidasin! Sedaviisi tapa veel oma äiapapa . . .“ lisas ta teistele lõõpides.

Õnnetus polnud siiski ainult lõbus vahejuhtum. Nagu imekombel polnud küll ükski palk purustanud vanamehe pead, kuid ta oli puusast kõvasti vigastada saanud. Ta tassiti veski vanasse laudkuuri jõekaldal, kus muidu seisis võõraste hobused. Nurka visatud heintel lebas siin juba varem haige poisike, kes ennast parvemeestega paigast paika kaasa vedas. Ta oli sisseveeretamistöodel endale liiga teinud ja põdes nüüd kodutu hulkurina. Väike pruun kuub kergitatud rindealuse paistetusest, nii et nõõbid ei läinud kinni, lebas ta seal koltununa ja vahtis ainiti kuurilävest paistvat järveselga. Suured varajased kärbsed keerutasid ta näo ümber. Ta ainsaks lõbukuks jäid silmapilgud, mil mõni töökaaslasi tõi talle tubakat või paberossi, mille mürki ta armastas niisama kirglikult nagu vana piibumees.

Nüüd asetati poisikese kõrvale Vana-Jaagup, kelle viga polnud vähem paha. Valude järgi võis oletada luumurret. Märgade riiete asemel anti talle ümber ühe veskipoisi vanad jahutolmused hilbud ning äsjasest „võidust“ üsna heatujulisena välja ilmunud veskiomanik lubas kohale helistada arsti. Näis, et temale oli ükskõik, kas teda löödi või söimati, peaasi, kui sai raha.

August Aarike oli saanud kibeda koha allpool paisu, kus ringi keerutav veevool palke otsekui välja sülitas. Ta pääsis vigastada saanud töökaaslast vaatama alles õhtu eel. Poisike oli tõmmanud kuuetüki üle pea ja lebas kannatades hiirvagusi. Vana-Jaagup oli väliselt rahulik, ta nägu oli täpselt sama nagu tol hommikul, mil uustulnuk oli üllatanud teda jahtunud tuleaseme kõrval. Kui Aarike minema hakkas, küsis ta järsku:

„Mis sa arvad, kuidas ma võisin kukkuda?“

Vastust ei tulnud ja näis, et vanamees ei oodanudki seda.

„Ega muud,“ arvas ta lõpuks endamisi. „Kont on vist katki ja siis tuleb minna haiglasse pikaks ajaks — noored aga on tihti peale rumalad...“

3

Palgiaajajate teekond hakkas ligninema lõpule. Laiaks paisunud jões hõljusid palgid turbamullaste pervede vahel üsna rahulikult ja tõketeta, sest allpool asuva suure tehase paisu ligidus andis end juba tunda. Palgiaajajate töö oli nüüd pisut kergem, sest enam ei tulnud maadelda kivide ning põõsaste vahele tekkinud ummikutega, sest jõgi siin oli päris sügav.

Kuid siis hakkas sadama rasket kevadvihma. See tuli esialgu hõredate hoogudena, pani mulla lõhnama ja lõi rohelisteks metsa ning maa. Taevast aga ei läinud hoogude järel selgeks, vaid jäi halli madalasse vinasse, mis üha töötas uut sadu, kuni see hakkaski voolama jõe kohal raske solinaga, pekstes halli veepinna täis suuri mulle, mis veeresid allapoole ja lõhkesid siis. Juba saju algul „Harakas“ jooksis murelikul näol ringi, uurides taevast ja tuult. Kuid sadu oli tabanud palkide vööri õnnelikul paigal. See oli just saabunud paari kilomeetri pikkusesse madalasse jõelooka, mille perved olid palistatud tiheda korvipajude põõsastikuga. Pruukis ainult allpool jõelook sulgeda kogumistõkke taha ja palgid jäid otsekui suurde kotti, millest neid luhale laiali kanda oleks võinud ainult vesi, mis oleks ulatunud üle paju-latvade.

„Ega mees esimest korda maadle jõega,“ kiitles „Harakas“, kui tõke allpool oli valmis. „On ikka nina, mis õigel ajal tõi palgid õigesse kohta. Nüüd tõusku vesi niipalju kui soovib!“

Ning vesi hakkaski tõusma, nagu siin jões ikka, kiiresti ja hoogsalt. Paldid jooksid tõkke taha kinni ja kiilusid üksteise külge, äärmised torkasid

pea kahinal pajupõõsastesse, mis enestelt siis nagu ärganult vett raputasid. Koos veepinnaga kerkis ka kaanetaoliselt paigale tardunud palkide kiht, nende pruunidel selgadel tantsis jõuline vihm, pekstes üles halli udu. Pajupõõsaste taga aga lainetas luht varsti lahtises vees, millel ujus valgeid ja kollaseid vahutorte: metsaojade kiire vool oli jõudnud otsaga jõkke.

Parvemeeste riided muutusid tumedaks ja raskeks. Pootshaakide varred läikisid märjast ja käte nahk oli tõmbunud hellaks ning roosatavaks. Kuid lõpuks oli kogu palkide lade ankurdatud ja seisis kuulekalt paigal. Mehed võisid mõtelda puhkusele, mida igatses märgadest riidest vaevatud keha. Rühm parvepoisse leidis endale ulualuse suure talu peretoas, kus truubi kõrvale põrandale laotati virn õlgi, millele mehed sirutusid. Madala musta laega tuba täitus peagi jõe ja märja riide imalaist lõhnadest — vabastati jalad saabastest, pandi räbalais rätid kuivama truubinööri.

Aarike istus üksi seina ääres värvimata puujäril ja vahtis ainiti aknasse, mille ruute mööda vajuks alla hall rabisev vihm. Tuba oli hämar ja mehed vaikisid. Juhuse tõttu olid paigad sattunud nii, et Aarike naabriks jäi vaikiv ja süngel Volts. Aarike oli hiljuti pootshaagi talle tagasi andnud, saades teel külasepalt uue. Ta oli pakkunud tööriista kasutamise tasuks pakki häid paberosse, kuid need lükati tagasi. Ka nüüd polnud asemenaaber kogu õhtu poole kordagi tema poole vaadanud.

Õhtu eel avanes peretoast tagakambri viiv uks, ning selle vahelt paistis „Haraka“ sassis juustega pea ja hüüdis Aarike nime.

Vastumeelselt ja viivitades ajas Aarike end püsti, tundes oma turjal mitte üksi Voltsi, vaid ka teiste pilke. Ta täitis aeglaselt käsu ning astus tagakambrisse, kus „Harakas“ parvepoiste „pealikuna“ oli saanud endale ulualuse ja peretütre vaibaga kaetud voodi. Laual seisis viinapudel ja toidunõud.

„Istu,“ kamandas ta heatujuliselt, näidates pöidlaga lauaäärsele toolile.

Aarike oli näinud, kuidas parvetustekonna lõpuosa lähedus päev-päevalt ülendas selle räuskava ja ühest meeleolust teise kalduva mehe tuju. Paari päeva eest oli seljataha jäetud „vaenuline“ jõe haru ja selle suu suletud tõkkega, mille taga võistleja pidi peatuma, kuni jõgi eespool vabanes. Nõnda oli võit juba enam-vähem saavutatudki.

„Proosit, meie edu terviseks,“ ulatas „Harakas“ Aarikele klaasi tõstmiseks.

Ta ise jõi enda oma ühe sõõmuga tühjaks ja pani siis käeseljaga huuli pühkides lauale tagasi.

„Paari päeva jooksul on sellel madinal lõpp peal ja siis, poisid, muudkui kosja!“ ütles ta lõõpivalt.

Aarike otsekuiv võpatas nende sõnade juures. Talle meenus järsku Vana-Jaagup tema õlgedest asemel.

Tollest õnnetust päevast oli vanamehe tütar jäänud oma koduonni täiesti üksi, nagu oli olnud „Haraka“ soov, sest Vana-Jaagup oli paaripäevase ootamise järel haiglasse toimetatud. Kuid imekombel polnud „Harakas“ siiani katset teinud sellest mingit kasu lõigata. Poiss oli püsinud jõe ääres ega tikkunud talle ligi isegi siis, kui tüdruk käis isa üle teateid pärimas.

Nüüd, silmad alkoholiuimast kilamas, andis ta ise seletuse oma käitumisele.

„Ehee,“ ütles ta, „mina tunnen seda tüdrukut! Täitsa isemoodi laps. Umbes nii, et sõrmega ära muidu puutu, kui olgu kosjakaup kindel. Proovitud nali. Sellist tetre ei saa lauluga püüda . . . Siin peab kütt veel kavalam ja kindlam olema.“

Süda Aarike rinnus tegi hüppe kurgu poole, nagu oleks löoke hommi-kut aimates pesast välja tükkinud. Võis loota, et tüdruk siiski suudab ennast aidata ka ise — mis oli rohkem, kui võit hädaoahu üle isa tarkusest või võõrast abist.

Kuid palgikubjas jätkas:

„Ega minagi aga hoopis lontrus taha olla! Minu plaani puhul pole varem kunagi löök viltu läinud. Tõin palgid, näed, valuta alla ja viin ka plika, kuhu tarvis. Peaasi, et kunagi ei hakkaks jooksmas uisapäisa. Aegamööda lööd, kindlamini kukub. Veel paar päeva, siis on sõit läbi ja mina pistan oma rasked rahad tasku. Pärnumaa kandis on mul uus ots valmis. Enne aga lähen kõvade viinade ja värkidega kosja nagu peigmees kunagi. Löön laagri üles, nagu oleks täitsa tõsi taga. Selle liimi pealt, kui hästi mängida, juba naljalt ükski eit ei pääse! Kui pärast villand, siis kaon. Otsigu siis või kiikriaga taga . . .“ pistis ta kõhinal naerma, lõi sõrmedega lupsu ja sirutas käe uuesti pudeli järele.

Aarike vaikis ja põrnitses lauanurka. Ta kaaslane aga tõusis koos jutu-vooluga, hakkas sammuma mööda tuba, ja kõneles, vahel seisatades, vahel põrnitsedes enda ette, silmalaud punased, joobnu virildunud naeratus põselihastes. Ajuti ta ägestus, siis urises, lõi jalga vastu maad, viibutas rusikaid. Klaasiga õlilambist langev pikk vari keerles temaga põrandal ja seintel kaasa nagu paha südametunnistus. Järsku mees peatus kaaslase ees ja küsis karmilt:

„Miks sa ei kõnele midagi?“

„Pole tuju,“ kostis Aarike.

Küsija uuris liikumatu näoga istuvat parvepoissi, vedas siis punakaist habemetüükaist ümbritsetud lõuaga suu viltu ja heitis:

„Äkki passid ise plikat, oled kade, äh?!“

Kui Aarike viimaks tagakambriist väljus, olles jätnud purjus palgikupja norskama laua najale, olid ka ees kõik uinunud. Raske rabinaga tõmbasid

hinge töömeeste rinnad põhulademel, mõni soigus või pomises unes. Lauanurgal põles kummulikeeratud plekktoobil vilets tinasilm, värisedes ja vilkudes kambri higiraske õhu liikumisest.

August Aarike vaatas asemele põrandal, ringutas siis ja hakkas ettevaatlikult üle meeste jalgade ukse poole astuma. Ta surus tasakesi lingi alla ja suundus läbi pimedada esiku õuetrepile. Tuli tükk aega seista, enne kui silm vähehaaval hakkas seletama juba tükati selgunud taevast ja öist, äsjasest vihmast soojana lõhnavat ümbrust. Aarike sammus ettevaatlikult üle õue ja võttis aia najalt pootshaagi. Hämaruses ta ei märganud, oli see võõras või oma. Kaldaäärsele teerajale jõudes peatus ta järsku ja tõmbus kiiresti põõsa varju: eemalt liginesid sammud. Keegi möödus norus päi, maha jäi nukker lauluümin:

„Ei midagi-i ei maksa minu e-elu,
ei rõõmu leia o-oma sü-üdamest!“

Endamisi naeratades jõudis Aarike jõeni. Pimeduses läiklesid märjad palgid. Nende pikk, sillaks kiilutud viirg küündis üle jõe ning allpool sulises vaba vesi valgete keerlevate vahutortidega, mis ujusid laias kaares üle kallaste tõusnud teed. Samas oligi tõke, ahelatega pervedesse kinnitatud palkide rivi, mille taga seisis kinni terve metsamaterjali väli. Aarike pingutas silmi, kobas pootshaagiga teed ja hüppas vee kergelt jalge all lirtsudes esimesele palgile. Ta oli juba vilunud parvepoiss ja jooksis nüüd kiiresti palgilt palgile, suundudes otse jõe keskele. Siin oli koht, kus keskmised tõkkepalgid olid liidetud raudhaakidega. Üks kummardus, käsi küünarnukini vette, vabisev palk jalge all, silmadele lähenev must veepind, ning juba vabanes konks aasa tagant, palk tegi otsekuu mõtliku liigutuse ja hakkas siis pikkamisi vajuma voolu suunas.

Uus väle jook, taldade labin vastu märga puud ja Aarike oli kaldal tagasi, et näha, kuidas keset jõge juba must palkide kolmnurk nagu vägev pank surus laiali tõkke kitsukest ahelat. Siis hakkasid ka üksikud palgid eralduma, vool haaras ja viis neid kauges kaares laiali niidule — koos üle pervede tõusnud veega. Nende pikk tume rida hakkas allpool lähenema juba mustavale metsale ja võsale.

Käed ümber pootshaagi, põsk vajunud vastu selle vart, seisis Aarike kaua, kuni ta järsku märkas, nagu oleks taevast heledamaks läinud. Palkidel ei paistnud oleva lõppu. Mees väristas jahedusest õlgu ja hakkas aeglasel sammul talu poole astuma.

Kambris magati endiselt. Ukselingi surumist aga olid kuulnud kaks meest. Nende avatud silmad läiklesid tulijale vastu. Üks neist oli ta vaenu-line naaber Volts ja teine kõhetu väike mehike, keda kutsuti Meegumäe

Jaaniks. Seegi mees vihkas teda ta oletatava sõpruse pärast palgikupjaga — kuid hoopis teistel põhjustel. Esimene pöördus nüüd teda märgates küljeli ja tõmbas oma lühikese kuuenäru sügavalt üle pea. Teine aga ajas end küünarnukkidele, vaatas uurivalt tulijale ja küsis:

„Kus sa... käisid?“

Heameelega märkas Aarike praegu, et sobiv vastus oli nagu iseenesest käepärast:

„Käisin... käisin vett laskmas!“

Sellest tõena kõlanud lausest heatujulisena sirutas ta end kõvale asemele, naeratas ja uinus varsti. Kuid veel unes hõljusid ta silme ees palgid. Need olid nüüd aga heleda valge taeva all ja küündisid oma rivis kaugele, lõpma- tusse, ilusa ja kauni tuleviku poole, nagu tõeline kindel sild...

Ta ärkas rahutust suminast enda ümber, siis valjudest kõnehäältest ja raputusest õlga. Mehi aeti üles. Öösi oli juhtunud õnnetus — tõke oli purunenud ja kümned tuhanded palgid koos veega üleujutatud niitudele kandunud.

Enamik mehi oli juba rutanud kaldale, kus vesi voolas laialt ja võimsalt. Üksikud palgid tulid vooluse turjal ülaltpoolt ja kandusid vahutortide vahel edasi. Ei mõistetud midagi teha. Tükiaegse arutluse järel pöörduti tallu tagasi, et äratada palgikubjas.

Kui Aarike õue sammus, seisis „Harakas“ juba puuriida kõrval ja kiskus kiiruga näpu otsa haaratud saapaid jalga. Ta joomarinägu oli tuhkhall ja silmad paisunud veresoontest punased. Tema kõrval keksles väike Meegumäe Jaan ja näis ärevalt midagi seletavat. Nähes Aariket pootshaagiga käes, mees otsekui võpatas ja tõmbus puuriida varju, nagu oleks tal sinna asja. Palgikubjas aga unustas teise saapa jalga tõmbamata ja astus seda näpu otsas hoides Aarikele vastu. Ta ilme oli mõru, mokad nutulävelise lapse omadena torus. Ta puuris silmad Aarike omadesse, ei lausunud tükil ajal midagi, kuid sisistas siis:

„Sina, sina... juudas!“

„Oled ise,“ kostis parvepoiss, märgates järsku, et oli kergem taluda teise vaenu- kui sõpruseavaldust.

„Sina... sina k-kain!“ sisistas teine uuesti.

„Oled ise,“ vastati veel kord.

„Viskan su teenistusest välja!“ pahvatas parvekubjas.

„Lähem nagunii,“ vastas Aarike juba pöördunult.

„Kuid su raha on minu käes...“ vingus üksikut saabast viibutav mees võimetus vihas, teadmata, mis teha.

„Olgu... söö, kui tahad,“ heitis Aarike käega ja asuski minekule. Muud peale pootshaagi tal kaasa võtta ei olnud.

Ta asus minema jõuliste ja kindlate sammudega, mööda kõrgemat kallast maantee poole. Ta oli hakanud tundma oma õlgades imelist vääramatut tugevust, vaigused karedad käed nagu kihelesid mingis erilises rõõmus. Saanud edasi mõnikümmend sammu, kuulis ta seljatagant järsku jalgade müdinat ja pöördus, käsi võitlusvalmina rusikas. Seal aga ligines joostes ta öine asemenaaber Volts.

„Mina tulen ka!“ hüüdis ta ning kondises päevitunud parvepoisinäos ja laiunud silmaterades säras otse lapselik, nagu andestust paluv, hämmastunud heameel.

KUI TAHTSIME AVALDADA ARTIKLIT NÕUKOGUDE GRAAFIKA ÜLE

JAAN VAHTRA

Tartus hakkas 1930. a. ilmuma illustreeritud ajakiri „Olion“. Ta tõi sisukaid artikleid kirjandusest ja kunstist, häid kunstireproduktioone, sageli kriitpaberil. Ajakirja toimetajaks oli tolleaegne keeleteaduse üliõpilane David Karopun, väljaandjaks Georg Naelapea. Lühikese aja jooksul suutis toimetus võita lehe kaastöölisteks nimekamaid eesti kirjanikke, kunstnikke, kunstiarvustajaid, keeleteadlasi, teadusmehi.

Uus ajakiri võitis oma aktuaalse sisu ja soliidse välimuse tõttu kiiresti hulga lugejaid ja oli kirjanduse- ja kunstisõpradele kui ka harilikule lugejale alati oodatud külaline. Toimetaja Karopun oskas väärtuslikku kaastööd leida ja valida. Tutvuste tõttu kirjanike kui ka kunstnike hulgas suutis ta aegsasti isiklike läbirääkimiste kaudu kaastööd hankida.

Kuulusin „Olioni“ kaastööliste hulka, olin õieti „Olioni“ mitteametlik kunstiline konsultant, kes tarbe korral kunstilistes küsimustes ühel või teisel viisil „Olioni“ välimuse kohendamisel toimetajale abiks oli. Terve rida „Olioni“ kaasi ongi valmistatud nende ridade kirjutaja poolt. Istudes „Werneris“ kohvikus toimetaja Karopuniga arutasime ikka mitmesuguseid küsimusi, kuidas „Olioni“ välimust ja sisu tõsta. Ükskord — see oli vist 1931. a. kevadtalvel — arvas toimetaja Karopun, et oleks vaja lähemas „Olioni“ numbris tuua kirjutusi ja pildimaterjali Nõukogude Liidu kunstist, sest väga laiu ringkondi huvitab kõik see, mis sünnib traataia taga. Arutlusel otsustasime, et kõigepealt peaks „Olion“ tooma artikli ühes pildimaterjaliga nõukogude Vene uuema graafika üle. Olin nimelt saanud ühe tõlleaegse „Ogonjoki“ numbri, kus leidis ülevaade Leningradi graafikute tööde näitusest. Arvasime, et sedalaadi artikkel kuluks ära just ka „Olionile“, kuid pisut laiemas ulatuses.

Aga kes kirjutab artikli ja kust saada selleks vastavaid materjale? Jõudsimme viimaks heale otsusele: pöördume Tallinnas Nõukogude Liidu saatkonna poole ja palume, et saatkond hangiks Leningradist või Moskvast mõnelt autorilt vastava artikli ja kui võimalik, siis ehk ka artikli juurde juba olemasolevaid klišeid või ka matriitse. Klišeede küsimus oli eriti selle



A. Laikmaa

Autoportree



A. Laikmaa

Selma



A. Laikmaa

Taebla maastik



A. Laikmaa

Maastik



A. L a i k m a a

M a a s t i k

poolest tähtis, et väljaandja ikka ja jälle nurises: pilte on lehes palju, klišeed on kallid . . .

Olles leidnud sellise hea idee, tekkis küsimus, kuidas Nõukogude Liidu saatkonna poole pöörduda, kas kirja teel või suusõnal? Kirjalikult Nõukogude saatkonnaga ühendust pidada näis kahtlane, sest meie kirjad võisid sattuda Eesti kaitsepolitsei kätte, teadsime ju, et kaitsepolitsei peab registrit kirjade kohta, mis saadetakse posti teel Nõuk. Liidu saatkonda. Jäi üle teine tee — pöörduda isiklikult saatkonda, mis selle tõttu otstarbekam oleks, et suusõnal saaks pikemalt ära selgitada, milleks me artiklit ja klišeid vajame. Samuti näitaksime „Olioni“ ilmunud numbreid, mille sisust ja välimusest võidaks veenduda, et see pole mingisugune kodanliku ajakirjanduse äbarik, kuhu kaastööd palutakse, vaid tõsine ajakiri. Jäi nii, et mina sõidan lähemal ajal Tallinna ja lähen Nõukogude saatkonda selles asjas kõnelema.

Nii see toimuski: kõndisin Tallinnas Pikale tänavale Nõukogude saatkonda, kus mind lahkesti vastu võeti, pärides, mis asja. Seletasin valvekorral olevale naisametnikule oma tuleku põhjuse. Ta viis mind siseruumidesse ühte tuppa ja ütles, et kutsub vastava ametniku, kes on kompetentne kunstiküsimustes. Peagi ilmus kutsutav: see oli üks vanem seltsimees, väga vastutulelik ja lahke. Kuuldes minu soovi, palus ta kohe näha „Olioni“ numbreid, mis mul kaasas olid, lehitses neid ja ütles:

„Väga kena, see on rõõmustav, et tahate oma lugejaid tutvustada ka nõukogude kunstiga. Ma kirjutan Moskvasse ja muretsen teile artikli nõukogude graafika üle, ehk saan ka olemasolevaid klišeid. Jätke siia oma aadress ja kui Moskvast artikkel saabub, saadan teile kohe ära. Kui võimalik, siis jätke minule need „Olioni“ numbrid, saadan Moskvasse seltsimeestele, et nad näeksid, kuhu kaastööd soovitakse.“

Selle jutu peale olin saanud julgemaks ja ütlesin, et „Olion“ vahest saaks avaldada ka mõnda muud Nõukogude Liidu elust, eriti tööst ja tehnikast, mis samuti huvitab Eesti lugejaid väga, toimetusel pole aga käepärast vastavaid materjale, kust saaksime midagi võtta. Seepeale tõusis lahke seltsimees püsti, astus lähema kapi juurde ja tõi sealte lauale terve virna mitmesuguseid pildiajakirju, tabeleid, diagramme, kus leidis ülevaatlikke graafilisi kujutusi Nõukogude Liidu elu mitmesugustelt aladelt, tööstuse ja tehnika edusammudest, üteldes, et kui „Olion“ soovib, siis võib ta meile sellist materjali saata edaspidi järjekindlalt.

See oli minule teretulnud materjal. Täna sin vastutulelikku seltsimeest. Mäletan, et ta küsis minult, kas olen Nõukogude Liidus elanud ja nimelt kus? Vastasin, et õppisin Peterburis, nägin seal nii Märtsi- kui ka Oktoobri-revolutsiooni. Ta küsis siis, kas nägin seal ka Vladimir Iljitšit. Vastasin,

et nägin, kuulsin ta kõnesid ja olen kirjutanud sellest eesti ajakirjas „Looming“ 1929. a.

„Kuidas? Teie nägite Iljitšit ja olete sellest kirjutanud?! Kas tohiksin teid paluda: saatke mulle paar eksemplari tollest ajakirjast, kus see kirjutus on ilmunud, me vajame kõiki materjale, kus kõneldakse Vladimir Iljitšist.“

Lubasin talle vastavad „Loomingu“ numbrid saata. Väljusin saatkonnast, kaenlas terve pakk brošüüre ja tabeleid, mis olin kaasa saanud. Tänavale astudes peatas mind ootamatult keegi tundmatu isik, küsides:

„Vabandage, kas käisite saatkonnas? Ma tahtsin ka sinna minna, ei tea, kas täna on vastuvõtupäev?“

Ma esiotsa kokkusin võõra ootamatust „külgelöömisest“, seda enam, et mul oli kaenlas suur „kahtlane“ pakk. Tunnistasin võõrast: tundus, nagu oleksin säärast nägu näinud enne saatkonda minekut tänava vastaspoolel Georg Stude kompvekimagasini akna all. Vilksatas kohutav mõte — see pole keegi muu kui Eesti kaitsepolitsei nuhk, kes tahab mu nägu lähemalt silmitseda ja võib-olla mind kohe kaitsepolitseisse talutada. Vastasin end külmavereliseks sundides, et käisin küll saatkonnas, aga ei saanud kellegi jutule ja et tahtsin saatkonnas rääkida selle üle, kuidas oma asju kätte saada, mis omal ajal Leningradi jäänud.

„Noh, ega siis täna vastuvõttu ole,“ vastas tundmatu ja hakkas minu seltsis Raekoja platsi poole sammuma. Mul hakkas hirm, et nüüd see nuhk kurivaim kõnnib minuga kaasas, vaatab, kuhu ma oma pakiga lähen.

Üle tänava jõudnud, keerasin järsku teisale, kergitades võõrale kübarat, kes hetkeks seisma jäi ja siis oma teed läks. Kas oli ta tõesti nuhk, see jäi mulle siiski tumedaks. Aga hirmu tegi see juhtum küllalt, ja selle asemel et oma pakki võõrastemajja viia, andsin ta hoiule „Feischneri“ kohviku kassasse; mine tea, nuhk võis mind tunda, läheb ja teatab ning oledki kaitsepolitseil peos kõigi materjalidega.

Tartu jõudes seletasin Karopunile, mis Nõukogude Liidu saatkonnas kuulsin, ja esitasin talle kaasatoodud materjali. Mees oli üpris rõõmus, kuid avaldas kohe kartust, et me sellest toredast materjalist vist küll kuigi palju kasutada ei saa: väljaandja satub kabuhirmu kartusest, et leht võidakse ära korjata või koguni kinni lüüa.

Jäime ootama lubatud artiklit graafika üle. Möödus nädalat paar või vist rohkemgi, artiklit ega ka mingisugust teadet ei saabunud. Viibimise põhjuseks arvasime seda, et artikli kirjutamine ja klišeede kogumine võtab loomulikult rohkem aega.

Sõitsin kevadise koolivaheaja puhul (olin tol ajal õpetaja „Pallases“) Võrumaale, kuhu jäin paariks nädalaks. Tagasi tulles leidsin oma korteri

uksel olevast kirjakastist kirja, mille aadress oli osalt eesti, osalt vene keeles. Kiri oli adresseeritud minu nimele „Olioni“ toimetusse, seal oli aadress ümber parandatud ja kiri uuesti posti antud. Ümbrikku silmitsedes leidsin, et kiri oli nähtavasti paaril korral lahti võetud, mida tõendasid mitmekordsed kleepimised ümbriku tagaküljel. Avasin kirja ja leidsin ümbrikust venekeelse neljalehelise masinal kirjutatud käsikirja Nõukogude Vene graafika üle. Kirjale oli juurde lisatud väike käsitsi kirjutatud sedel, kus seltsimees Mošitstki teatas, et artikli juurde kuuluvad klišeed ja matriitsid jõuavad loodetavasti pea Tallinna saatkonda, kust neid võib kätte saada.

Olin üpris rõõmus käsikirja saabumise üle ja mõtlesin seda kohe tõlkima hakata. Sama päeva õhtul ruttasin kohvikusse, et käsikirja Karopunile näidata.

Kohtasin Karopuni nagu harilikult mind juba ootamas, endal millegipärast iseäralik muhelev nägu. Otsisin sõnalausumata taskust käsikirja ja panin lauale. Karopun võttis käsikirja, silmitses kord ja lausus siis oma tagasihoidlikul toonil:

„Kõik oleks muidu hästi ja kena, aga ma pole enam „Olioni“ toimetaja, paari päeva eest löödi mind välja ilma pikema jututa, — välisministeeriumis oldavat juba ammu „Olioni“ pärast kabuhirmul. Nüüd on „Olioni“ toimetajaks väljaandja Naelapea ise...“

See oli minule täielik üllatus. Jalamaid oli ka selge minule adresseeritud kirja avamise lugu. Läksin ruttu tagasi koju, hävitasin jalamaid ümbrikus olnud sedeli, kuid artikli viskasin teiste paberite hulka, sest selles ei leidunud midagi poliitilise propaganda maigulist. Ka hävitasin mõningad erakirjad, muuseas paar Johannes Barbaruse kirja, sest kartsin, et kui minule saadetud kiri on nuhkide poolt avatud, siis pole kogu see lugu kaitsepolitseile teadmata ja ta võib läbiotsimise toime panna. Midagi aga siiski ei tulnud.

Nii lõppes David Karopuni toimetajakarjäär „Olioni“ juures ja sellega ka kogu „Olioni“ karjäär: lühikese aja jooksul kaotas ajakiri oma paremad kaastöölised ja lõpetas oma elupäevad haleda brošüürina, mis kedagi ei huvitanud.

Kevadöö improvisatsioon

Kuu helgib üle mustja vee,
kus sulpsatavad mõlad.
Veesõidul kandub kogu tee:
laul, naer, kitarrikõla.

Sel ööl sa koju küll ei jää,
rammrasket und ei vaja.
Õös pehmes uimastavalt hää
on iga kuulnud kaja.

Liig suures rahutuse hoos
ümbrusse sa ei mahu.
Nüüd nendega sa oled koos,
kes kilkavad sust lahus.

Sa iseenesele näid
nüi muutund, imeline,
et nagu armununa käid
ja kordad ühte nime...

Õöst hommikuni üle vee
nüüd sulpsatavad mõlad.
Veesõidul kandub kogu tee:
laul, naer, kitarrikõla.

KAAREL MAID

Lumilill

Kas te kuulnud, juba teate,
laulikud mis tasa laulnud,
vestelejad vestelenud,
kirjatargad kirja pannud.

See on lugu lumilillest,
esimesest metsalillest,
kaunis lugu metsateedelt,
laante varjatud radadelt.

Mina olen seda kuulnud
talimetsa tummas kajas,
härmatise hõbehelis,
lume vaiksemas languses.

See on laul, kuis kaunim neidis
hea ja lembeline leidus
ilma teel'la, kus käib kurjus,
kus on sorti kimbutamas,
vanatühi saaki saamas —
õnnest langevaid hebemeid.

Siisap neidis läinud laande,
selle süle sügavusse,
palunud seal Metsavana —
armast habemes taadikest —
et võiks saada lumililleks,
õitseda varjussa varane:
hommik annab vilu juua,
päeva annab päikest juua,
õhtu õilmedki uinutab.

Siis ei oleks karta kurja,
sortsi hõlma puudutusi,
jälil vanatühja silma.

Nõnda sündind, nõnda saanud...

★

Seda lugu vestab tuuli,
talihärmatise helin,
lume vaiksem alla-langus.

ENN UIBO

OMA TUBA OMA LUBA...

JOH. RUVEN

Varasügisene päike kuldab viljadest tiineid puid, kui Tiit Nõukas tuleb aiast. Ta on täna heas tujus. Suvi on olnud kaunis, puud on täis mitmevärvilisi viljakobaraid, põõsad nõtkuvad koorma all, kapsad aiaturgas pakatavad suurusest, sõnnikuhunnikult allalooklevad rohelised väädid varjavad laiade lehtede all suuri kullakarvalisi kõrvitsaid, kurgipeenral ripub lugematu arv juba kullaseks tõmbunud pikergusi vilju. Suvi on olnud üle ootuste hea.

Tiit Nõukas jääb aiavärava juures seisma, paneb maha kaks rasket korvitäit punetavaid õunu, pirne, kapsaid ja porgandeid, pühib krobeline määrinud käega otsaette tulnud higi ja heidab pilgu pirnipuule. Samas tuleb vandesõna suust. Näe saadanaid, kirub ta juba poolenisti hambutu suu. Jälle platsis — mitte põrmugi ei karda. Muudkui äiga kiviga.

Kahinal tõuseb muusträstaste parv pirnipuult ja eemaldub viivuks. Tiit kummardub ja tõstab üles suure pirni. Paras suutäis Reedale, aga linnud ära rikkunud. Suur auk sees. Kuidas sa viid seda talle. Niikuinii heidab ette, et olen ihne.

Ta haarab maast südametäiega teise kivi ja virutab puu suunas. Ainult poolkuivanud lehtede krabinat ja kivi kukkumist on kuulda. Läinud, mõtleb ta rahuldatuselt, haarab maast korvid ja läheb oma maja poole. Ent samas nägu tõmbub kohe pilve. Inimesi seisab ta korteri ukse ees. Nad silmitsevad teda ärritatud ja vaenuliste pilkudega. Nende kurjad silmad mõõdavad korve põlastava ilmega. Tiit Nõukas tasandab käiku.

Mis nad jälle tahavad, mõtleb ta ukse taga ootajaid tusaselt silmitsedes. See asi on otsustatud. Ei teie minu tahtmist murra, olgugi et olete mu pojad-tütred. Jätke mind kohe parem rahule. See tuleb teile endile kasuks, muidu veel vihastan.

Ent ootajad ei jäta teda rahule. Ning vanatüdrukust tütar Liina on esimene, kes avab oma mürgise suu.

„Noh, korjasid jälle oma armukesele kraami. Oma lapsed olgu ilma.“

„Kuss!“ käratab pikk närviliste liigutustega poeg Johannes. „Näe, inimesed avavad aknad. On seda tsirkust siin väljas tarvis. Lähme sisse.“

„Tee uks lahti!“ põrutab Liina Tiidule, keda Johannese noomimine aina erutab. Ta heidab akendele sünge salvava pilgu, näeb sealt inimesi alla

vaatamas ja ta viha üha tõuseb. Küll see vanamees tahaks saada — teeb neile häbi. Varsti ei tea enam, kuhu oma silmi panna — igaüks naerab.

Tiit Nõukas hakkab tundma nende kolme inimese ees hirmu. Üksikult ta saab nendest jagu, aga täna nad on kokku rääkinud ja tulevad teda kolmekesi murdma. See teeb ta ettevaatlikuks, ta paneb korvid maha, seab ninal prille ja küsib:

„Mis teil jälle tarvis on... kolmekesi?“

„Tee lahti,“ käratab nüüd ka Johannes, kelle häbitunne inimeste ees on kõige suurem. „Küll me sees räägime. Anna võti siia.“ Ning ta käsi kipub vana mehe taskusse.

„Mis sa...“ vihastub Tiit nüüd niisugusest omavolist ja tõukab poja käe eemale. „Õige mul koerad, või kohe vägisi.“ Ning ta pahameel üha kasvab. Ja see teeb ta julgeks. Ta läheb, koperdab ukse juures, avab, pöörab ümber, võtab ühe korvi ja kamandab nooremale pojale:

„Võta sa see teine korv.“

„Mina?“ uriseb see haavunult ja eemaldub veel rohkem.

Ka teised kaks vaatavad vastumeelselt ja nõutult korvi, ent käsi ei pane neist ükski külge. Seda nähes tuleb Tiit paariastmelisest trepist alla, et ise võtta korvi. Ent nüüd seda ei lasta sündida. Liina, see kõige käredam, põrutab Oskarile:

„No mis sa seisad, eks võta siis, ega see su käsi riku.“

Ja kui meestest ikkagi käsu teostajat ei saa, haarab ta ise korvi, lükkab vanamehe ukse poole ja nad lähevad neljakesi majja.

Tiit Nõukase aiamaajakeses on kolm tuba. Neist on kaks lahti, kolmas luku ja taba taga, ning mis tal seal sees on, seda ei tea keegi. Sinna vanamees ei luba võõraid uurima.

„Küll siin on aga õhk!“ kurdab Liina korvi maha pannes. „Ära tapab, tee oma aken lahti. Kuidas sa siin elad?“ Ning ta vilgas pilk jookseb mööda aset, mis on määrinud, segamini ja kortsus, peatub laual, kus vana äratajakell pidutseb võidu kuivanud leivakanika ja sibulatesse uppuvate heeringatega. Ning silmapilk ta hellub ja käratab vendadele:

„Jumal, vaadake ometi, kuidas ta elab — nagu loom. Kas teie siis ei saa siin nii korraldada, et ta natuke inimese moodi välja näeks. Küll olete aga...“ Ning ta paneb kohe käed külge ja hakkab koristama isa tuba.

Mõlemad vennad vahivad ümbrust, noorem kehitab põlastavalt õlgu.

„Keda ta siia laseb. Kardab, et varastame paljaks.“

Tiit Nõukas ei vasta. Ta paneb korvid laste silmade eest ära kapi taha, vaatab viivu rahutult tütre tegevust, istub siis voodile, teeb lahti oma tubakakoti ja paneb piipu. Kaks poega, üks istub diivanil, teine toolitsal,

ootavad. Õde lükkab ükskakskolm laua puhtaks, jääb siis, narts käes, seisma ja pöördub isa poole.

„Kuule, isa, mis tempe sa siin teed?“

„Ei tee midagi tempe,“ vastab Tiit ning tõmbab nii ägedasti piipu, et tuba on täis sinakat suitsu ja põleva tubaka raginat.

„Kuidas nii ei tee. Johannes kirjutab mulle ja kutsus mind kaugelt kirjaga välja. Sa pidavat tahtma abielluda? Kas see ei ole siis temp — mõtle ise, vana inimene juba.“

Nüüd on küsimus esitatud ja kõik kolm jäävad uudishimulikult ootama. Ent Tiit vaikib. Ta laseb närvi sedes piibu uuesti tubakat täis, paneb koti põue ja mõtleb pahaselt: Sina mu vanadust tead. Võib-olla on mu soonis rohkem elu ja tuld kui sinul, vanatüdrukul. Mis sa topid oma nina minu asjusse, jäänud sinna, kus sa elad, nende poistega saan ma ise valmis. Ning ta põrnitsev vaade jookseb sõnatult poegade nägudel, kes ei saanud tast jagu, ning kutsusid nüüd õe endale appi. Pangu see isale mõistuse pähe. Aidaku. Ja Tiidu viha üha kasvab. Lurjused, ise elavad hoovipealses majas priikorteris, mõlemad saavad tema käest igakuist toetust, nüüd neile sellest enam ei jätku, nüüd hakkavad korraga tundma huvi isa elu vastu. Kus nad varem olid, kui isa siin haigena lebas ja Reet teda põetas. Siis neid ei olnud. Tulid vahel vaatama, küsisid Reeda käest, kas vana hakkab juba surema. Seda nad ootavad. Aga ei Tiit mõtlegi surra, tema elab oma pojad mitu korda üle ega luba end segada. Ja sinised ägedad suitsupilved aina tõusevad ta piibust.

Vaikus muutub rusuvaks, laste nägudel peegeldub kannatamatus, Liina on istunud lauaotsale ja mõõdab nüüd isa küsiva ja rahuliku pilguga. Johannese silmad jooksevad luurates mööda tuba, Oskar suitsetab ägedasti sigaretti. Kõik ootavad vastust. Ent seda ei tule, Tiit hakkab kohmitsema voodi juures, ta teeb, nagu poleks neid üldse toas. Paha, et see Liina on siin, tema ees Tiit tunneb nagu natuke häbi. Tütar. Üsna hea tütar — pole isal kaelas istunud — on kõik aeg ise enda eest väljas olnud. Ja on nii kangesti vana kadunud Tiina, nagu oleks see tõusnud hauast ja päriks aru.

„Näe, vana on jäänud tummaks,“ lausub Oskar, see kõige noorem, üleolevalt. „Hakkas kartma. Näeb ikkagi, et ei saa oma tahtmist.“

„Rahu!“ põrutab talle Liina ägedasti. „Ma ei usu teid mitte põrmugi. Las isa räägib.“

„Noh, taat, kuidas siis on? Kas see on tõsi, et kavatsed abielluda? Seda sa ei tohi.“

Tiidu käed värisevad, viha, hirm, rahutus elavad ta sees vaheldumisi. Vaata kui järsk on see tüdruk, ta tütar seal. Nagu kadunud Tiina, põrutas peale ja Tiit pidi vaikima. Noh, Tiinale ta alistus, aga tütrele — ta vaatab

Liinale vilksti otsa, näeb, et selle nägu on üsna heatahtlik. Kui temaga üksi rääkida, ehk saaks aru. Aga need poisisaadanad on nagu keerubid sind kohe murdmas. Oleks nad üksi — kihutaks välja, aga tütar...

„Mis teie mu asjusse segate,“ ütleb ta üsna vaikselt. „Eks ma ise tea, mis teen. Ega ma pole veel eestkostmise all.“

„Ei ole veel, aga paneme,“ räuskab Oskar ja lennutab sigareti põrandale.

„Vait!“ hüüab Liina. „Mis sa segad, las ma kõnelen isaga.“

Sellega on Tiit nõus. Tütrega tuleb mõistlikult kõnelda. Ta on küll kõige ägedam, aga ikkagi naisterahvas, ehk saab selgeks teha, et Tiit peab abielluma.

„Las poisid lähevad minema, siis kõneleme,“ ütleb ta nüüd kindlalt.

See neile ei meeldi. Poisid kargavad vihaselt püsti. Kas neil pole selle tähtsa asja juures samuti õigus kaasa kõnelda. Mis saladusi siin hakatakse arutama. Ei, nad ei lähe välja. Ent nüüd lööb Liina isa mesti, ta enesetunne on tublisti tõusnud, isa tahab temaga üksi kõnelda. Las siis kõneleb. Kes teab, mis need poisid siis kõik on teinud? Vanamehel ehk õiguski. Ja võib-olla pole asi nii hullgi.

„No kaduge juba,“ ütleb ta poistele. „Kui isa tahab, et mina temaga kõnelen, siis jääb nii. Minge välja, küll mina teid hiljem kutsun.“

Kaks sõnni põrnitsevad teineteist pahuralt, heidavad vihaseid pilke isale, õele, ent siis lähevad pikkamisi välja.

Nüüd on Tiit Nõukas ja tütar üksi. Ei olegi nii õdus istuda selle tüdrukuga, kes meenutab nii hirmsasti Tiinat. Poiste juures Tiidul oli nagu rohkem julgust. Nüüd see on võetud, nüüd tal ei tule sõna suust. Hirm kohe pitsitab kõri.

Tütar muutub kannatamatuks.

„Kõnele, oleme üksi.“ Ning ta läheb ukse juure, paneb selle kinni ja tuleb tagasi. „Mis juttu need poisid ajavad, et tahad abielluda?“

„Õiget juttu,“ vastab nüüd Tiit ning hakkab jutustama oma senisest elust. Hakkab õigustama oma kavatsusi, kõneleb, kuidas tal pole koristajat ega kedagi. On nagu mahajäetud. Poisid muudkui joovad ja lallavad.

„Ega siis Johannes?“ küsib Liina. „Ta ju perekonnainimene.“

Ei, Johannes mitte. Aga Oskar. Muudkui mürgeldab. Tööd ei tee, käib ainult ähvardamas ja raha norimas. Isal olgu kõik luku taga, istugu nagu vangis, kartku, et iga minut võib poeg sisse murda, naha peale anda või koguni teise maailma toimetada. Seepärast tema võtab naise, võõras inimene, nad hakkavad teda kartma, jätavad isa rahule.

Liina kuulab ta juttu sünge ilmega. Või nii on asjad. Poisid on ise ulakad. Seda ta arvas. Aga see peab nüüd muutuma. Tema ise kannab selle eest hoolt. Isa olgu rahul, ta paneb neile mõistuse pähe.

„Kas sinagi saad sellega hakkama?“ kahtleb Tiit. „Nad niisugused väenikad.“

„Küllap saan. Aga see jutt abielust sa heida peast. Mis ema selle peale hauas ütleb?“

„Mis tal enam ütelda,“ sõnab Tiit, „ei see temale enam mõju.“

„Kes see inimene on?“ küsib tütar. „Kas ta on vana, mis ametit ta peab? Ehk tahab ainult su raha, mitte sind ennast.“

Tiit jutustab oma armsamast ainult head, ent see ei veena tüdart. Tema otsus on kivikõva. Isa ei tohi abielluda. Kuhu tema siis häbi pärast oma silmad paneb. Kuuekümneviie-aastane isa võtab naise. Ilmale naeruks. Ei, seda Liina ei luba. Sellest peab isa aru saama, see on võimatu.

Tiit Nõukas kuuleb tütre otsust kasvava ärritusega. Mitu korda püüab ta tütrele vahele rääkida, ent see lööb käega, tean, mis sa tahad öelda, see kõik ei aita, sina pead sellest mõttest loobuma, seda me sulle ei luba. Ja see, et ta üldse isa tunnete maailmast ei hooli, vaid ainult nagu allohvitser põruta ja raksub, teeb Tiit Nõukase kangeks. Nohisedes ta tõuseb püsti ja enam sõna lausumata ta hakkab end riide panema. Tütar, kellest ta nii palju lootis, on talle äkki õhk. Teda nagu polekski toas, kuigi ta istub diivanil õhetavana ja silmitseb ärritatuna isa.

„Sa hakka nüüd minema,“ ütleb talle Tiit, „ma tahan välja minna.“

„Kuhu sa lähed?“ küsib Liina käte värisedes, vihane, et ka tema ei saa vanamehest võitu.

Tiit Nõukas ei vasta. Oskar on lükanud ukse praokile, ta kannatamatu nägu põleb uudishimust. Nähes, et sees on jäänud vaikseks, ta tungib Johannesega tuppa.

„Noh?“ küsib ta õelt.

See küsimus juhib Liina viha teisale. Nagu tulekeeled põletavad noomitussõnad poistele näkku. Nemad, just nemad on süüdi, et isa on aru kaotanud. Joovad ja lällavad, jätavad vanamehe omapead ning nüüd see hakkab tegema rumalusi.

„No ega ikka ei tee,“ vastab Oskar tigidasti. „On ennegi jagu saadud niisugustest vanadest täkkudest, küll saadakse ka temast.“

„Sellele litakale kuluks nahatäis anda,“ ähvardab Johannes. „Kodarad pooleks lüüa, siis teab, mis tähendab poole aruga inimeste võrgutamine.“

Ent Tiit Nõukas ei pööra tähelepanu nende räuskamisele. Esiteks, jah, tal oli pisut hirmu, kui nad kõik kolmekesi nagu kohtumõistjad ta ukse taga seisid, ent nüüd see on taandunud. Suur armastus, mis elab Tiidu südames, annab talle jõu ja julguse. Ta ei ärritugi enam nende räuskamisest, vaid ajab neid nagu karjane lambaid ukse poole ja sõnab:

„Minge aga ära, minge, minge. Ei mul ole teiega tegemist.“

Ent Oskar hakkab vastu. Ta surub vanamehe vastu seinä, ta käsi on tõusuvalmis, aga Liina on see, kes ta eemale tirib.

„Jäta ometi, näed, ta on poolhullu. Siin peab kuidagi teisiti.“

„Mis teisiti!“ möirgab Oskar. „Vanamees tuleb hullumajja saata. Varas, oma laste varas, tahab meid paljaks teha!“

Palju ei puudu, et ta vanamehele uuesti kallale ei kargaks, ent Johannes ja Liina haaravad tast kinni ja viivad välja.

Tiit Nõukas lükkab ukse nende taga kinni ja tuleb tuppa tagasi. Sa jumal, vana vekker näitab nii palju ja tema peaks olema juba Reedä juures. Ei, nüüd ta peab ruttama, peab kõnelema Reedaga, kiirustama nende abieluga; kui see tehtud, jätavad lapsed ta ehk rahule.

Tal läheb hulk aega kohmitsedes. Ta silub oma halle juukseid peegli ees, paneb õunakorvile peale paberi ja lõpuks on ta valmis. Paneb aknad hästi haaki, äkki tuleb mõnel nendest mõte sisse tungida ja siin tustima hakata. Selle eest peab olema valvel. Ning nüüd on siis kõik korras. Kaks korvi kätte ja Tiit Nõukas läheb.

Ent uks on kinni. Katsub uuesti. Ei, uks on kinni. Kuidas see juhtus, kas ma ise panin lukku, ja kus siis võti on?

Ta jätab korvid esikusse ja tuleb tuppa. Ei, võtit ei ole laual. Tõsi jah, võti jäi väljapoolle ette, kui ta ennist sisse tuli. Lapsed on pannud ta luku taha, mis muud. Vaat kus ulakad. Ta läheb uuesti ukse juurde, katsub: kinni mis kinni. Nüüd ta süda läheb täis, ta kolistab ja põrutab, ent keegi ei äva, väljas poleks nagu ühtki inimest. Imelik, muidu oli hoovipealne alati lapsi täis, kus nad nüüd on, mõtleb ta ja kuulatab. Tõsi, seal nad jooksevad, neil pole aega tema kuulamiseks, peab uuesti põrutama.

Ta teeb seda. Vaikus. Mäng nagu lakkaks. Siis lähenevad kellegi sammud ja lapsehäälel küsib aralt:

„Kes seal kolistab?“

„Mina!“ hüüab Tiit kõvasti. „Tehke uks lahti, mis te must kinni panite?“

Ent uks on paks ja Tiidu vihasel häälel puudub selgus. Ukse taga jääb jälle kõik vaikseks ning Tiit alustab uut lõhkumist. Ning jälle küsib lapsehäälel.

„Mis sa seal kolistad?“

Ants, mõtleb Tiit, see on ju tema pojapoeg, Johannese poeg Ants. Kas ta siis aru ei saa, mis vanaisa räägib. Ning ta kummarub ja küsib:

„Ants, oled sina see?“

„Mina jah, Ants jah. Vanaisa, mis sul viga, et sa taod?“

Tiit paneb suu lukuangu juurde, kõneleb sellesse pika jutu, ent vastus, mis ukse tagant tuleb, viib ta meeleheitele.

„Ei saa aru!“

Ei saa aru, kirub Tiit. Kuhu see aru sul nüüd kadus. Muidu oled küll kange mees kasse taga ajama, koeri kividega loopima ja mõrtsukat mägima, aga nüüd, kus tarvis, ei kuule. Viimaks ta kisendab lukuauku:

„Ants, kas nüüd kuuled mind?“

„Kuulen küll.“

„Tule siis akna juurde. Kas said aru?“

Vastust ei tule. Ainult hirmsat jalgade müdinat on kuulda, nagu läheks kompanii sõdureid üle paraadväljaku. Ning Tiit ruttab akna juurde ja teeb selle lahti.

Tõsi, kahupäine, elavate, põlevate silmadega pojapoeg seisab akna juures ja vahib uudishimulikult üles.

„Ants!“

„Jah.“

„Mine kohe tuppa ja ütle, et isa tuleks ja teeks ukse lahti. Ehk parem too võti ja ulata mulle läbi akna. Ma annan sulle siis õuna,“ ei, mõtleb ta, neid see tragun saab ise kätte, „ma annan sulle raha.“

Poiss on juba minekul, kuuldes juttu rahast, ent aiavärava juures ta sammud aeglustuvad, ta jookseb ruttu tagasi, ning Tiit mõtleb, mis siis nüüd lahti on.

„Vanaisa!“

„Jah. Miks sa ei läinud?“

„Vanaisa, ma tahan teada, palju sa mulle raha annad. Kas viis senti või?“

„Kui ukse lahti teed, saad kümme. Aga tee kähku.“

Jälle ei tule vastust. Ent Tiit näeb, kuidas poiss kaob tuuletiivul aiast. Maias raha peale, mõtleb ta heameelega, vaatamata oma tusasele meeolule. Raha tegi kohe jalad alla. Sind litsi küll!

Ta hakkab ootama. Päike langeb veripunasena aia õunapuude taha, kell toas tiksus ja osuti ruttab ning ruttab. Mis küll Reet mõtleb, kui Tiit täna õhtul ei ilmu. On vist kohe tusane ega võta jutule, ümbritseb ennast niisuguse jääkorraga, et ei sulata seda lahti Tiidu hellitussõnad ega ta kaks tulvil korvi puu- ja aedvilja. Ei aita, ta peab oma lastega midagi ette võtma, midagi niisugust, mis kohe mõjub. Tuleb testament teha ja nad pärandusest ilma jätta. Siis lähevad targemaks. Aga kuhu see poiss ometi jääb, muidu on alati igal pool jalus, komista teise otsa, aga kui saadad asjale, siis kaob lõpmatuks ajaks. Võiks ju ka siit aknast minna, mõtleb Tiit ja vaatab välja. Aga aknad on kõrgel, kive oli laialt, kui ta ehitas selle aiamajakese endale, vundament sai kõrge, kohe nagu takistuseks.

Ja poiss ei tule ikka veel. Tiit vahib ringi. Mitte ühtki hingelist ei ole aias ja ega ole ka imestada. Tiit on keelanud oma suure maja üürilistel aeda tulemise ja sellepärast neid ka ei ole. Oleksid aknad õue, siis hüüaks, aga

nüüd kuuleksid ainult puud ja pöösad ning kuldnokad, kes jälle registavad suure pirnipuu okstes.

Viimaks tuleb poiss. Ent nüüd ta ei jookse. Ta tuleb laisal, lontsival sammul, võtab enne vaarikapöösa küljest marja, pistab suhu, annab jalaga mahakukkunud pirnile hoobi. See lendab nagu jalgpall.

„Noh, kas said? Kus võti on?“ küsib Tiit kärsitult.

„Ei saanud,“ vastab Ants ükskõikselt.

„Kas isa ei olnud kodus?“

„Oli küll, onu oli ja tädi oli.“

„Miks nad siis ei andnud?“

„Isa ütles, et pole tarvis. Ütles, et sul pidavat luku taga isegi hea küll olema, et siis lähed targemaks.“

Tiit on nõutu, poiss ei tee ka tast enam välja, ta on leidnud uue ameti ja tongib pöösa all olevat siili, kes vaenlase ees kerra on tõmbunud ja nüüd vihaselt sisiseb.

Või kohe meelega panid luku ja riivi taha, mõtleb Tiit Nõukas vihaselt. Seda ma teile ei kingi, selle eest peate kallilt maksma. Aga mina pean siit täna välja pääsema. Kui see poiss jõuaks ometi redeli tuua ja siia akna alla panna. Ent need on ju rasked, Tiit on teinud oma maja abiriistad kõik tugevad, et peaksid vastu mitu eluiga. Aga proovida võiks. Ehk saab mõne naakmanni abiks, küll siis läheb, mis mees tast muidu kasvab.

Poiss on aga nüüd silmapiirilt kadunud. Et ta aga aias on, selles on Tiit kindel, kuhu ta ikka nii vara läks. Tuppa see juba nii kergesti ei lähe. Küllap teeb seal aiasopis kusagil jälle mingit kindlust, või ajab taga mõnd hilist põrnikat. Näh, seal ta pea välgubki. Ning Tiit hüüab poissi kõigest jõust.

Poiss ei tule. Pöörab korraks pead ja kaob siis jälle. Tiit peab peaaegu oma hääle ära karjuma, kui poiss viimaks akna juurde ilmub. Ning Tiidu viha lakkab kohe. Ta seletab pikalt ja laialt, kus redel seisab ja milleks tal seda tarvis on.

„Mis sa arvad, kas sa jõuad siia tuua.“

Poiss mõtleb natuke.

„Ma kutsun Jüri enesele appi, siis saan.“

„Kutsu, kutsu jah. Oota... oota veel natuke.“

Poiss on juba läinud. Ei läbenud oodata. Tiit tahtis teda veel õpetada ettevaatlik olema, aga noh, küllap ta saab juba sellega hakkama.

Ja Tiit ootab. Poisike aga ei tule ega tule. Päike vajub aia taha, mahe soe hämarus, mis kord-korralt tiheneb pimeduseks, matab aia enese alla. Lahtisest aknast hoovab sisse mulla, lillede ja küpsevate viljade magusat lõhna. Tiidu rahutus üha suureneb.

Kuhu see poiss ometi võis minna? Unustas mu käsu ära. Või aeti juba tupp magama ja redel jäi seetõttu toomata, või ei saanud oma seltsilist naakmanni kätte. Ehk hakkas mõni muu asi huvitama. Ei neid lapsi või ka põrmugi usaldada. Ta ootab veel natuke, läheb siis ukse juurde, ehk see on nüüd lahti tehtud; niikuinii on hilja Reeda juurde minna. Aga uks on ikka kinni. Saadanad. Oma lihase isa panid luku taha. Raevunult taob ta uksele, nii et terve maja põrub — ei, kedagi ei ole kuulamas. Või siiski. Kusagil kostab nagu jortuvat lauluhäält, liginevaid samme. Tiit lõhub meeleheitlikult, nüüd lähenevad sammu ja joomisest kärisev inimese hääl küsib:

„Kes kurat siin kolistab?“

Ahah, see on lukksepp Kirst, mõtleb Tiit. Tema maja rahutuim elanik. Mürgeldaja ja prasnike pidaja. Sellega saab asja.

„Mina olen,“ kisendab ta läbi ukse.

„Sina, kes sina?“ vastab joomari sõjakas hääl.

„Mina, majaperemees. Poisid panid mind luku taha. Tee lahti, mõistad.“

Nüüd Tiit ootab, lukksepp läheb toob tööriistad ja murrab ukse lahti. Aga midagi säärast ei sünni. Joomar on nagu unustanud majaperemehe palve. On ehk koguni ära läinud. Ei, laulab üsna tasa siin ukse läheduses. Vaja veel kord proovida. Ja Tiit röögib jälle ning nõuab lahtitegemist.

Joomar hakkab end liigutama, tuleb ukse juurde, kobab lingi kallal, keerutab midagi, on kuulda traadi puutumist vastu ust. Aga uks ei avane.

„Mis sa seal teed?“ küsib Tiit kannatamatult.

„Ma panen sulle trellid ette, siis sa saadanahing ei saa üldse enam välja. Üüri sa alla ei jäta, remonti ei tee... Pursui! Kõnge ja sure!“

Ja nüüd on kuulda, kuidas ta läheb lauldes maja poole. Ei saa täna välja, mõtleb Tiit lootusetult ja läheb tupp tagasi. Kell on juba kümme. Tuba upub pimedusse. Tiit läheb käsikaudu akna juurde ja vaatab välja.

Mingi öine lind häälitseb, mingi loomake jookseb aia niiskes mullas salapäraselt ja kärmelt, tuul kahistab juba närtsimisele valmistuvates lehtedes, ja siis asub aeda vaikus, hämarus ja rahu.

Tiit ootab veel viivu lootusetult, lööb siis akna kinni ja viskub rahutuna voodisse.

2

Õösi ei saa Tiit Nõukas und. Kättemaksu mõtted tulevad nagu iseendast ajju. Mida peab tegema niisuguste lastega, kes tarvitavad oma isa vastu vägivalda? Ei lase teda sinna, kuhu ta tahab minna, keelavad teda abiellumast ja võib-olla hauduvad koguni surmamise mõtteid. Sellega nad saavad hakkama. Ei aita, Tiit peab nad kohtusse kaebama. Olgu küll, et oma lapsed, aga õigus peab maailmas olema. Tema ei ole vanadusnõder, et nad

teda takistavad naist võtmast. Tema keha elab veel ja tahab saada elust viimast osa. Niikuinii on ta olnud kaua ilma naiseta. Sellest on viis aastat tagasi, kui Tiina suri. Pärast seda pole ta puutunud ühtegi naist. Aga keha nõuab, ei lase magada. Vintskle ja vähkre voodis, silma ei saa kunagi kinni. Ja nüüd, kus ta leidis tööka ja mõistliku naisterahva, lapsed tulevad vahele. Ei, seekord ta nendele alla ei anna!

Nõnda venib öö. Tiit Nõukas vahel magab, vahel on ärkvel, vaatab kella — kas ei hakka juba tulema hommik, siis tekib õues elu ja liikumist, küllap ta saab siis välja. Vaevalt nad julgevad teda päeval kinni hoida. Ta karjub siis inimesi appi, kui muidu ei saa.

Viimaks jääb ta rahulikult magama, ja kui ärkab, on suur valge väljas. Aia kastemärjas rohus ja niisketes päikesekullas virvendavates lehtedes laulavad linnud, tänavalt kostab sõidukite mürinat, õuest laste ja inimeste häält. Nüüd on siis hommik saabunud, mis vabastab ta vanglast. Tuleb aga minna ukse juurde ja kolistada, ning kui muidu ei saa, siis saata keegi politsei järele.

Ta nokitseb süüa laual lehavatest toitudest, silmitseb murega korve, mis pidi viima Reeda juurde. Õunad, pirnid on niisama ilusad kui eile, aga aedviljakorvi välimus on teine. Salatil ei ole seda mahlast ja värsket jumet, kapsaste pealmised lehed on tõmbunud kortsu ja halliks ning porgandid öö jooksul tahenenud, ei ole nii ilusad, punased ja kuldsed kui eile, mil ta nad peenralt kiskus. Kuidas sa viid niisugust kraami sellele, keda sa armastad, kes nüüd on kõik su elu. Häbi hakkab. Aga selle häbi pärast peavad lapsed saama teenitud palga, see otsus Tiit Nõukase südames on kindel. Ta võtab kepi ja läheb sellega ukse juurde, tahab hakata sellega kolistama, aga just siis kostavad sammud, võti ragiseb lukuaugus ja uks keeratakse lahti. Avaja on Liina.

„Noh, mine nüüd kustahes,“ ütleb ta, hääles põlgusevarjund.

Tiit Nõukas viibutab vihaselt keppi tütre näo ees. Või koguni tema! Seda võis arvata. Vana Tiina tembud sees.

„Kuidas sa tohtisid mind luku taha panna?“ küsib ta ja sülg ta hambust suust lendab tütrele näkku.

Tütar astub paar sammu tagasi, nagu kartes, et kepp võib teda kogemata tabada.

„Ega mina sind kinni pannud, et sa mind ähvardad. Ähvarda tegijat. Ja mis see sulle tegi, et olid ühe öö luku taga. Eks sa jõua veel küllalt minna oma armukese juurde.“

Selle sõna juures tõuseb Tiidu viha veel suuremaks. Kuidas nad tohivad Reeta sõimata armukeseks, anda korralikule naisterahvale niisuguse halva nime. Reet pole sugugi ta armuke, vaid ainult armsam. Ta on aus naiste-

rahvas, ta pole veel Tiitu enda ligi lasknud, ütleb kogu aeg, et oodaku, kuni abielluvad.

„Või ei teinudki sina,“ ütleb ta uskumatult. „Kes siis? — Aga kuidas sa tohid võõrast inimest sõimata armukeseks?“

„Mis ta sulle siis muud on?“ küsib tütar.

„Uist häbematane!“ hüüab Tiit ja kepp teeb jälle ähvardava tiiru. „Püüad küll parem olla kui poisid, aga ise oled nendega kambas. Kas sa tead, mis ma nüüd teen?“

Tütar ei vasta. Ta näeb, et Johannese näol tuleb talle abi. Ta jätab isaga kaklemise selle hooleks. Ainult üks vastus tuleb põlastavalt ta suust:

„Mis sa, vanainimene, meile ikka teed?“

Vaat kui suureline teine veel. Ei karda mitte põrmugi, mõtleb Tiit. Mis sa teed niisuguste lastega? Ja kui tuleb Johannes, ta võtab võtme, keerab ukse lukku ja ütleb:

„Jätan teid varandusest ilma, vaat mis, lähen kaeban politseile, mis te mulle tegite.“

„Mine aga mine,“ ütleb Johannes üsna rahulikult. „Kas said puurist välja ja oled jälle lai mees, lähed meie varandust laiali tassima? Sellel tuleb varsti lõpp, kui sa ennast ei paranda.“

Siis nad lähevad minema ja Tiit Nõukas jääb üksi. Johannese ähvardus on teinud ta keeletuks. Tea mis plaanid neil on... Hullumajja! Lihast isa! Kas tema ei ole ikkagi peremees ega või teha mis tahab. Ei noh... nii seda jätta ei tohi.

Nüüd ta võtab korvid ja läheb. Õues vaatab arglikult ringi — kas ei ole näha poegi, tütart. Akki võtavad kinni ja teevad tembu ära. Ja keegi ei tea küsida, kuhu Tiit Nõukas on jäänud. Ent õu on tühi ja ta astub tänavale.

Seal see poiss on jälle! Pojapoeg Ants kastab kõrvalmaja voolikuga tänavat. Eile ei olnud teisest asja, kadus nagu maa alla, täna on jälle nii tragilt väljas korra eest, nagu oleks tänavast kastmine tema mure, nagu oleks tema siin majaperemees.

Ent ka Ants on vanaisa näinud. Ta viskab vooliku teisele kastmislajale poisile pihku, õpetab kuidas kasta, jookseb siis vanaisa juurde ja küsib: „Vanaisa, mis sul seal korvis on?“

Ja enne kui Tiit saab vastata, ta käed nagu noorel röövlil sorivad korvides.

„Vanaisa, ma võtan õuna.“

„Ei saa siit, mine võta aiast. Hakka sulle veel kätte tooma.“

„Mul ei ole aega,“ vastab Ants tõsiselt, „ma pean tänavat kastma,“ ning hetk hiljem on suur punane õun ta käes ja ta noored hambad murravad seda aplalt.

„Sind sindrit küll!“ kirub Tiit ja paneb paberid uuesti korralikult korvile peale. „Laiskvorst! Ei viitsi ise tooma minna.“

Ta hakkab minema, ent seisatub kohe, mõtleb viivu ja hüüab:

„Ants!“

„Mis sa tahad?“ küsib asjamees vooliku otsas.

„Tule vaata natuke siia.“

„Tule ise,“ on vastus.

Tiit ootab viivu. Ei poiss kuula sõna. Tuleb ikka ise minna. Ants juhib vanaisa auks veejoa hästi kõrgele, vastasmaja ääres päikesepaistes lebav koer saab sellest osa ja paneb tuhatnelja minema.

„Ära hulla,“ noomib Tiit. „Ütle mulle parem, miks sa eile mulle redelit ei toonud.“

„Ei saanud,“ vastab poiss.

„Ei jaksanud või?“

„Jaksasin küll. Jüri tuli appi.“

„Miks sa siis ei toonud?“

„Isa ei lubanud. Sai meid kätte ja lubas mulle tuupi teha, kui ma veel kunagi peaksin julgema redelit võtta.“

Nii, nii, mõtleb Tiit Nõukas. Seda oli arvata. Ega nad käed rüpes seisnud. Kuulsid küll, kui ta kolistas, aga ei teinud välja. Keelasid poisilgi vanaisale abi andmast. See on tubli poiss — hakkaja ja kange vaimuga. Vaata kui Tiit veel vihastab, teeb testamendi pojapoja nimele. Küll siis siunavad, aga kelle töö, oma töö. Aga võib-olla ei saa poisski. Abiellub Reedaga, siis peaks see saama, kui ta on tubli ja truu naine. Pojapojale võib jätta natuke. Õppimisraha. Las ajab end ise jalgele, temal polnud kedagi aitajat, kui muretses selle maja.

Nüüd ta on armsama kodu lähedal. Süda hakkab vägisi põksuma, veri nagu kohiseb kõrvus jällenägemisrõõmust. Ent täna tas on pisut hirmu. Miks sa eile ei tulnud, kui ma sind ootasin, võib Reet ütelda. Eile lõin sinu pärast lahingut, vastab ta Reedale, sul on palju vaenlasi, kes ei taha lasta saada sind minu omaks. Aga mina kaitsen sind, olen mõlema eest väljas. Ole aga mulle truu.

Maja on vana. Reet elab ülal ärklitoas. Trepid, mis sinna viivad, on järsud ja kulunud, annab kohe tirida mõlemat korvi, enne kui jõutakse Reeda ukse taha. Koputatakse. Õmblusmasina vurin lakkab.

„Sisse.“

„Tõin sulle natuke värsket kraami,“ ütleb Tiit Nõukas ja paneb korvid pliidi ette. „Tule vaata, tee tühjaks, mul on korve tarvis. Pidin tulema eile, aga ei saanud.“

Naisterahvas tõuseb toolilt, tuleb vaatama. Tal on aastaid juba poole-

saja ümber. Näos on kortse, silme all kanavarbaid, nina suur ja nägu lai. Ennem inetu kui ilus. Ent Tiidule on ta ilus, kõik Reeda juures meeldib Tiidule.

Nii hea on teise ümbert kinni võtta ja kallistada, magus surin jookseb siis läbi ihu. Justkui oleksid noor ja puudutaksid esimest korda naisterahvast. Millest see tuleb, et tal on niisugune mõju minule, mõtleb Tiit ja vaatab hella pilguga Reeta.

Naisterahvas silmitseb korvis olevaid vilju, tõstab üht ja teist, hammustab õuna küljest tüki, siis järsku tõsineb, vaatab Tiidule otsa ja ütleb:

„See ei ole hea, et sa tood mulle kraami.“

„Ei ole hea,“ üllatub Tiit. Niisugust juttu ei ole Reet varem kunagi ajanud. Kas eile vihastus, et täna ajab kiusujuttu? Eks seda puuviljaäri müüjat saab ka teine kord kätte. Ega ta ära jookse, Tiit võib talle rohkem maksta kui keegi teine. Sularaha tal küll niipalju ei ole, aga eks ta teeb võlga. Vekslid või obligatsiooni. Siis saab Reet teostada oma unistuse, asub puuviljaäri pidama. Aga mitte enne, kui perekonnaseisuametis on käidud. Alles siis Tiit kirjutab kaupluse Reeda nimele. Muidu, kes teab, inimesi on mitmesuguseid, kuid Reedast ei tahaks seda uskuda. Ta on nii armas, aus ja lahke. Õiglane inimene. Näe, isegi ta puuvilja põlgab ära. Või on see ainult kättemaks, et ta eile ei tulnud. Ja Tiit küsib:

„Kas kaupmees käis eile siin?“

„Käis küll,“ vastab Reet tusaselt.

„Sellepärast oledki nii halvast tujus,“ ütleb Tiit ja paneb käe Reeda piha ümber. Ent Reet vabastub ja istub masina taha.

„Mis sa...“ ütleb ta tõrjuvalt.

Ja seletavalt:

„Istusime siin kaupmehega nagu kaks poolhullu, ootasime poole ööni. Inimene lubab tulla, aga ei tule. Mul hakkas päris häbi inimese ees. Arvab, et meil polegi tõsist kavatsust ostmiseks. Narrime muidu.“

Tiit mõtleb jutustada, mispärast ta ei saanud tulla, aga saab veel sõnal sabast kinni. Kas ongi hea ütelda, et oli luku taga, et Tiidul oli Reeda pärast tüli, et lapsed lubasid ta saata hullumajja. Siis Reet hakkab kartma, ei peagi teda üldse meheks ega lase enese juurde. Las jääb pealegi teiseks korraks. Sellega aega on.

„Noh, ega sellepärast midagi katki ole,“ ütleb ta. „Kaupmees võib uuesti tulla, ega tal neid ostjaid palju ole. Ja täna on mul aega, võime asjad korda ajada. Mul käsiraha kaasas.“

„Ei sellest tule midagi välja,“ vastab Reet kärsitult. „Mis me tühjast unistame, jääb niikuinii õhulossiks.“ Ning masin hakkab vurinal õmblema.

Mis jutt see on, mõtleb Tiit. Kuidas ta täna nii tõrges on? Kas ta ikka

tõesti arvab, et ma ei tahtnud tulla, et hoidsin kõrvale, ei tahtnud tema heaks kulu teha. Kuidas ta võib ometi nii rumal olla.

Ja nõndakaua kui Tiit mõtleb, õmblusmasin vana naise käte all jookseb vurinal. Äkki ta peatub, tõstab oma tõsise näo ja ütleb:

„Sa, Tiit, ära enam käi minu juures.“

Tiit otsib toolilt tuge. Jalad muutuvad nõrgaks, süda hakkab rinnas rahutult peksma, silme ees tantsivad sädemed. Hinges on nii valus, et tahaks karjuda. Jumal hoidku, mis see siis on? Teda aetakse välja. Kas Reedal on äkki mõni teine, kes oli kärmem, mitte nii pika meelega kui tema, Tiit Nõukas.

„Kas... kas sa siis ei armasta mind enam?“ küsib ta viimaks nõutult.

„Mis see armastuski aitab, ega me ikka abielluda saa.“

„Kuidas nii, miks ei saa,“ vaidleb Tiit vastu. „Homme päev lähme perekonnaseisuametisse, ajame selle asja joonde.“

„Seda sa räägid ainult,“ ütleb Reet, „ma ei saa sind uskuda. Sa valetasid mulle, et su pojad ja tütar on nõus meie abieluga. Tegelikult nad ei ole nõus. Oma valega sa teed mulle inimeste ees häbi.“

Tiit Nõukas silmitseb Reeta ehmunult. See jätkab:

„Eile, kui me kaupmehega sind ootasime, tuli su poeg. Tegi lärmi, söimas mu näo täis, loopis mulle igasuguseid tänavanimesid, ähvardas maha tappa, kui ma sind rahule ei jäta. Koda oli inimesi täis, kõik irvitasid ja hõiskasid, olin nagu piinapingil. Ja mille pärast? Sellepärast, et sina valetasid, sain mina, süütu inimene, kannatada. Kaupmees läks pahaselt minema, ütles kibedaid sõnu, aga sina räägid abielust.“

Reet vaikib vihaselt ja ta näpud traageldavad kiiresti lihtsat sõduripesu. Ta nägu punetab, kõneldes eilsetest sündmustest. Ja Tiidu süda läheb üha murelikumaks. Ta tunneb, et see natuke õnne, mis ta veel igatses, hakkab käest kaduma. Ta ütleb:

„Eks sa toonud politsei, andnud seaduse kätte. Ma oleks sulle advokaadi võtnud, poiss oleks saanud ränga karistuse.“

Reet ei vasta, ainult pomiseb endamisi rahulolematult. Tiit istub vaikides, ta sees raevutseb. See võtab sõnad tal suust, ta ei leia Reeda jaoks küllalt häid lohutussõnu. Või nii julmad on ta lapsed, ei aita enam sellest, et peavad temaga lahinguid, tulevad Reeda juurde, kukuvad söimama võhivõõrast naist. Tahavad teda hirmutada, et ta jätaks Tiidu maha; arvavad, et sedasi jõuavad kergemini eesmärgile. Ei see neil heaga lõpe. Õigus on tema pool, küll ta mõistab nendega hakkama saada. Hoopis raskem on Reedaga. Nad on ta ära hirmutanud, vaese üksiku naisterahva. Ta võib tõesti Tiidule selja pöörata. Hirmuga.

Tiit tõuseb, läheb Reeda juurde, paneb käe õlale. Seda ei lükata ära,

aga ei haarata ka tast kinni. See annab Tiidule julgust. Ära kaota lootust, ära ole nii arg, küll Tiit saab nendega hakkama, sunnib neid sinult vabandust paluma. Nüüd tema mõõt on täis, nüüd ta kannatus on katkenud. Tiit võtab nende vastu abinõud tarvitusele. Küsib, mis nad Reedast tahavad, ja siis . . .

„Mis sa neile ikka teed,“ ütleb Reet pahaselt. „Nad kolmekesi, noored inimesed. Hakkavad kiusama. Jõuan mina nendega võidelda. Kes teab, mis teevad. Näe, lubas anda mulle kollase passi ja saata sinna majja.“

„Või seda ka,“ imestab Tiit ja viha üha kasvab. Küll on inimesed, või mis inimesed need enam on. Selged kiskjad, nendest ei maksa välja teha. Küll tema läheb kohe võimude juurde, annab asja kohtusse.

„Mine jah,“ ütleb Reet. „Mul polegi praegu aega. Töö peab olema täna valmis. Tullakse järele. Eks sa tule jälle . . . õhtul. Päeval segad.“

Tiit viivitab. Ei taha nii tühjalt minna. Midagi nagu puuduks. Reet ei luba, tõukab käe kohe ära. Tiit on nukker.

„Kas sa mulle musi ei annagi?“

Masin jääb seisma. Reeda näole ilmub naeratus. Musi! Mis sa vana inemene sellega teed? Aga ulatab siis vastu tahtmist huuled ja lükkab Tiidu kohe eemale, kui see kauaks jääb.

„Mine juba, va ahnepäits.“

Nüüd Tiit läheb. Kohe nagu kergem minna. Ihugi rahulikum. Ukse juures viipab käega. Reet noogutab peaga, käed on kinni. Vaeseke, töö ajab teda taga. Küll Tiit ta varsti päästab.

Ta on tänaval. Üsna madalalt käiv päike kütab maju ja tänavaid. Tiit seisatab ja mõtleb. Kuhu ma nüüd lähen? Politseisse! Ent sinna ei tasu minna, nemad ei aita. Naeravad, küsivad, mis lapsed tegid. Panid luku taha. Ehk tegid niisama nalja, sellepärast ei saa vastutusele võtta. Teotasid mu armsamat, Reet Tiiduleppa. Las ta tuleb siis ise kaebama. Aga Reet ei lähe politseisse, kuigi Tiit tahaks. Ta kardab mundrimehi — pole eluaeg nendega tegemist teinud ega taha nüüdki. Ent midagi peab ette võtma. Viha nii hirmsasti võimutseb. Tuleb rääkida tõsiselt, tuleb . . . Just, just, nii tuleb teha, kadugu nad majast, mingi mujale, maksu üüri, küll siis mõistavad.

Vanamehe samm läheb kohe kärmemaks. Tema on peremees oma majas, nüüd näitab. Paneb ette tingimuse: kas jätate rahule, või majast välja. Embkumb? Ent koridoris tuleb ta peale argus. Kuulatab ukse taga, seest kostab hääli. Olgu! Mis nad mulle ikka teevad? Koputab. Uks tehakse lahti.

„Tere,“ ütleb Tiit.

Need vaikivad. Kõik kolm on ninapidi koos. Tuba on sinist suitsu täis, Oskar istub särgiväel voodis, käte vahel ajaleht, nägu punane. Liina pilk on

vaenuline, ent siis see muutub, ta pakub isale lahkesti tooli. Johannes sööb köögilaua taga — vaikib.

Tiit ei mõista alustada. Õiged sõnad ei tule suust. Ei istu pakutud toolile. Kui on vaen nende vahel, olgu.

„Miks te käite inimesi tülitamas?“

Nad ei vasta kohe. Oskar vaatab Johannesele, endal nägu naerul. Johannes ei tee väljagi — sööb edasi. Nagu ei puutuks asi temasse. Liina seisab nõutult.

„Mis inimestest sa, isa, räägid?“ küsib Oskar pilkavalt, suu muigel.

„Küll sa ise tead,“ pöörutab Tiit. „Sina see meister olid. Keegi muu ei saa selle asjaga hakkama.“

„Olin siis olin,“ vastab Oskar ükskõikselt. „Sinu asi, kus ma käin. Ega sina vastuta. Kui tahan, lähen veel, teen selle lehma elu kibedaks. Siis saab aru.“

Tiit hakkab värisema. Kepp pöriseb närviliselt põrandal. Olgu siis, ta ei tahtnud seda teha, aga nad ise sunnivad. „Välja! — Ütlen teile oma korterid üles. Minge. Mul pole teid tarvis. Mul on inimesi küllalt tulemas, kes maksavad üüri. Niisuguseid ulakaid ma ei pea.“

„Mis sa ütlesid, keda sa ajad välja,“ kargas nüüd Johannes laua tagant. Ka teised on püsti tõusnud.

„Teid, sind ja Oskarit. Pole mul tarvis oma majas niisuguseid lapsi. Nagu rajakad! Tulevad silmle, ei anna rahu.“

Viivu on vaikust. Liina on kohkunud. Johannes on muutunud näost valgeks. Oskar istub voodile, tahab naerma hakata, aga kargab siis uuesti üles ja hüüab Liinale raevunult:

„Näe, missugune ta on. Ja sina süüdistad meid. Kaitsed seda vana jäära. Ta kurat on ju hull, Seevaldis on ta koht.“

Johannes ei ütle sõnagi. Ta väriseb vihast. Tuleb ukse juurde, kisub selle lahti ja käratab vanamehele:

„Välja! Olgu su õhk siit kadunud.“

Tiit on keeletu. Seda ta ei oodanud. Oma majast ajavad välja. See annab jõudu, see lammatab viimase mõistusenatukese.

„Välja!“ ütleb Johannes veel kord, nüüd juba rahulikumalt.

Koridori on tulnud inimesi. Seisavad ja piiluvad kappide tagant. Niisugust asja ei näe igapäev. Tiidu pilk otsib neid rahutult. Tuleksid ometi välja, siis oleks tunnistajaid. Mis nad end peidavad? Kardavad noori, ei tule talle abiks. Kohtus oleks tarvis.

„Lähen,“ ütleb ta viimaks. „Aga esimesel olgu korter tühi!“

Uks lüüakse raksatades kinni. Õues on lapsed kobaras, uudistavad Tiitu argade silmadega. Mõtlevad, ei tea mis kisa see oli. Mis talle tehti? Tiit

on ärritatud, pillab kepi, üks tüdruk ulatab selle, Tiit pomiseb ähvardusi, laps taandub ehmunult.

Advokaadi juurde, nüüd enam ei oota. See peab aitama. Olgu kas või kohtuga, aga tema peab oma õiguse saama. Temal on ka õigus eluks, ta ei lase lapsi seda eneselt võtta.

Ta seisatab viivu oma aiamaajakese künnisel, vaatab põrnitseva pilguga hoonet, mis varjab ta vaenlasi, sülitab ja astub tuppä.

Varsti on väljas kõik nii, nagu poleks midagi juhtunud.

3

See sünnib mõni aeg hiljem. Tiit Nõukas on oma lapsed kohtusse kaevanud ja seda on tunda kõigest. Kui vanamees nüüd aeda läheb, seisab pojapoeg Ants aia juures, vaatab tumma ja uudishimuliku pilguga vanaisa tegevust. Ent kui vanaisa seisatab ja teda kaasa kutsub, ei liigu ta poiss sammugi.

„Miks sa enam aeda ei tule?“ küsib Tiit. „Mul on sulle palju uudist, sinu kõrvits on kõige suurem. Tule vaatama.“

Poiss mõtleb natuke, ta on juba peaaegu nõustumas. Tema kõrvits. Ta pole seda kaua näinud. Terve suve nägi ta kallal kurja vaeva, kastis ja väetas, nüüd oleks tore vaadata, kui suur ta siis on. Poiss on juba tulemas, aga siis vaatab akna poole, sealt on näha ema nägu. Kohe ta muutub.

„Ei tule!“ ütleb ta siis.

„Miks sa siis ei tule? Oled varemgi käinud.“

„Aga nüüd ei tule. Isa ja ema ei luba.“

Isegi laps on ta vastu välja mängitud. Poisi nägu on nii salvav ja põlastav, et valus hakkab selle pilgu all.

„Kas sa siis vanaisa enam ei salli. Mis ta sulle on teinud?“

„Sa pole kellegi vanaisa,“ vastas poiss. „Ajad meid majast välja, oled paha vanaisa. Ma ei taha enam su aeda näha.“

Ei taha küll, aga ikka seisab paigal. Vaatab ahnete unistavate pilkudega aia poole. Tema kõrvits! Tema kindlus! Kas need sõdurid peavad ikka veel vastu, või on andnud alla. Ta pani suured laevad neid pommitama. Küllap nad on kõik surnud. Nüüd neid kuluks matta. Ta unustas ju sanitarid juurde panna. Vaatab jälle akna poole, terve olemus on kaheks jaotatud — hirmuks ja uudishimuks. Tuleks ju, aga aknakardinate taga liigub keegi. Ema või isa? Kumbki ei luba. Ei ole midagi teha. Rihm on valus. Läheb, pea norus, toa poole. Ent siis seisatab, hüüab. Tasa, nagu kardaks kedagi.

„Vanaisa!“

„Jah.“

„Tule lähemale, siit nad ei näe. Ma räägin sulle.“

Tiit tuleb. Mis sel poisil ütelda on? Ütleb mõne rumaluse või? Aga ei ütle. Vaatab hirmunult ringi, hakkab vanaisa käest kinni, ütleb tasa, sosal:

„Vanaisa, ma tulen teine kord. Siis, kui isa-ema pole kodus. Salaja.“

Ja paluvalt:

„Ära sa seda kõrvitsat veel ära võta. Mina ise... Ära löhu mu kindlust, ära luba kellelgi seda puutuda. Ma tulen... ükskord.“

Ongi läinud. Tiit on rõhutatud, tunneb end mahajäetuna. Pikkamisi kõmbib ta aiamaajakese juurde, kõmbib parajal ajal. Praegu seisab ukse juures võõras. Mundrimees. Ulatab talle kohtukutse, nõuab allkirja. Tiit ei saa aru, ei taha kutset vastu võtta; tal on juba üks, siin on tegemist eksitusega, mis ta selle teisega veel teeb? Ent mundrimees ei ole nõus. Uurib kohtukutset, pärib, vahib paragrahvi numbrit, ütleb:

„See siin on teine asi, siin ei ole väljatõstmisest juttu, see paragrahv kõneleb pillamisest, eestkostmise alla panemisest. Andke aga allkiri.“

Vaatab veel kord imelikul pilgul Tiidule otsa ja läheb. Tiit jääb hirmunult trepile. Pea ei mõista, mis on juhtunud. Pillaja, tema pillaja! Mitte kunagi! Isegi Reedale ei raatsinud osta puuviljakauplust, enne kui on abielus. Tegi isegi häbi enesele müüja ja Reeda ees. Ja nüüd — läheks küsima nende käest, mis uus ulakus see on, aga kus sa julged. Nüüd vahekorrad nii teravad, nad viskavad uksest välja, ei võta jutule.

Ent süda on rahutu. Kuigi oled süütu, mure tuleb hinge. Kes neid teab, ehk hangivad valetunnistajaid, need saavad sellega hakkama, arvavad, et ta on vana, ei suuda ennast õieti kaitsta. Väänavad su kaela igasuguste nõksudega kahekorra.

Tänavale minnes on mure jälle kannul. Ta on tõesti Reedale raha andnud. Väikesi summasid. Andis tagamõttega, ent Reet nägi tagamõtte läbi. Läks tulivihaseks ja ähvardas välja kihutada, kui hakkab nii...

Nüüd ta on kohale jõudnud. Reeda korter on lukus. Kus ta ometi peaks olema, mõtleb Tiit kärsitult. Muidu oli alati töö kallal. Või ehk läks tööd viima — särke ja pükse laadaplatsi kaupmehele. Siis peab ootama või tagasi tulema.

Tal ei ole tarvis ühte ega teist. Vanem eit on tulnud koridori, peseb kraani all oma potti. Vaatab ikka vilks ja vilks Tiitu, mõõdab ja kaalub teda.

„Ega teda ei ole enam kunagi päeval kodus. Ta peab nüüd Kure ja Tihase tänava nurgal puuviljakioskit. Teate, see rohelineks värvitud putka seal raudtee lähedal. Sealte võite ta kätte saada.“

Reet ostis puuviljakioski! Mis see tähendab? Kust ta selle raha võttis? Tal oli äkki ehk mõni teine Tiidu kõrval, seepärast ei tahtnudki teda näha? Teine oli heldem, ta võlus Reeda kiiremini ära. Rahaga! Tiit tahtis teda võluda armastusega. Siis saab inimene ikka lüüa.

Tiit ruttas juhatatud kohta. Teel tuleb kahtlus hinge. Ehk vanaeit ajas niisama lorajuttu. Reet võib-olla käib päeviti tööl, käib passimas. Seda on ta varemgi teinud. Tal ju sadat seltsi ameteid. See küll ei või tōsi olla, et on puuviljakioski omanik.

Aga on. Istub nii uhkelt rõõmsana ja punetavana leti taga. Aga lett on täis igasugust seltsi kompvekke, šokolaadi, puuvilja. Uhes plekkämbris laua otsal hapukurgid. Neid sööb praegu limonadivedaja, kelle auto ukse ees. Ei lähe ka minema. Muudkui ajab tühja juttu Reedaga, teised poed oodaku tema kraami järele. Ei jäta teda Reedaga üksi.

Viimaks läheb. Kuivatab niisked käed Reeda poolt antud rätiku külge, paneb paberossi suhu ja väljub. Ennem heidab Tiidule ükskõikse pilgu.

„Sa juba siin,“ ütleb Tiit Nõukas.

„Siin jah, juba nädal otsa. Ära tüütas see masina taga istumine. Eks ma proovi ka teist leiba süüa, natuke kergemat kui seni. Pean mina siis eluaeg saksu harima. Kui äri ei lähe, annan ära,“ vastab Reet.

„Nõnda... nõnda jah. See on õigus. Ega seda saa salata. Aga... aga, kuidas sa selle said? Kas järelmaksu peale või? Muidu mina ju...“ Tiit jääb põnevusega ootama.

„Natuke järelmaksu peale,“ ütleb. „Muist laenasin ja muist oli omal kogutud. Eks näe, kas saan tagasi makstud või lähen pankrotti,“ naerab rõõmsalt.

„Eks sa võtnud minu käest. Oli ju juttu,“ ütles Tiit.

„Ei julgenud,“ vastas Reet. „Sul ju niisugused asjad lastega ees, et õigel inimesel on parem eemale hoida. Eks lastel ole ka õigus mõnes asjas. Kes sindki teab uskuda, valetasid ja mulle, et lapsed lubasid. Lapsed on ehk õigemad kui sina.“

Säärast juttu on Tiidul valus kuulata. Tal on põues paber, mis näitab vastupidist. Lapsed tahavad teda vastutusvõimetuks tunnistada. Kaebasid kohtusse. Ehk kutsuvad sindki.

„Mulle tuli jah üks paber. Politseinik tõi. Pean olema tunnistaja ühes asjas. Pole vaadanudki, mis asi see on, võib-olla sama ongi.“

Nad mõlemad uurivad kohtukutseid, kumbki on natuke isemoodi, aga paragrahvi number on mõlemal üks. Samuti kohtu tähtpäev. Tiidu süda läheb raskeks. Kutsuvad Reeda tunnistajaks. Kui seal räägibki viimaks, et on saanud natuke raha, et... mis siis? Siis kohus teeb otsuse tema kahjuks.

Reet lööb käega.

„Ole kohe muretu. Mis sa kardad. Kuidas ma tohin sellest kõnelda. Siis olen ise kohe süüdi. Ütlen neile lihtsalt, et ei tea midagi, ega nad vägisi mu käest midagi välja pressida ei saa.“

See rõõmustab Tiitu. Ta tuleb leti taha, tahab Reedale musu anda, tahab heameele pärast teda kallistada, aga Reet lükkab ta eemale.

„Oled sa hull. Päisepäeva ajal. Kaupluses. Iga minut võib inimene sisse tulla — kus selle häbi ots. Küll need mehed on ikka...“ noomib ta Tiitu. „Jäta nüüd niisugused asjad, sul tõsisematki ees.“

„Ma tulen sulle õhtul vastu,“ ütles Tiit. „Saadan sind koju.“

Sellega ei ole Reet nõus. Kes teab, mis kellaajal tema siit vabaneb. Vahel varem, vahel hiljem. Jõuab Tiit teda siin oodata.

Jõuab küll.

Ei see ole ilus, kui tema siin istub ja inimesi kioskis käib. Tal kiosk alles sissetöötamise ajajärgus, see peletab inimesed eemale. Rumal. Olgu aga nüüd tõsine. Tal on isegi ränk koorem kanda. Küll pärast, hiljem... kui kõik möödas on.

Oleks ikka hea olnud, kui tema selle poe oleks ostnud Reedale. Siis oleks olnud kohe teine õigus siin istuda. Ent samas mõttekäik suundub teisale. Hea ikka, et ta ei ostnud, siis see oleks olnud lastele suur tõendus tema pillamisest. See Reet on ikka tark naisterahvas, tema kohe nagu aimab kõik ette. Päästab sedasi Tiidu häbist.

Ning Tiit Nõukas suundub rõõmsalt kodu poole.

Kohtupäeva lähenedes Tiit Nõukase rahutus kasvab. Oõseti ei saa und, ikka tulevad pähe hirmsad ja õudsed mõtted. Kui nad siiski viimaks võivad, kui kohus teeb otsuse nende kasuks. Mis siis? Viivad ta viimaks hullumajja, nagu lubasid, nad saavad sellega nüüd hakkama, nüüd nende südamed on eriti täis. Esimene kohtuprotsess lõppes Tiidu kasuks. Nad peavad välja minema tema majast. See valas nagu õli tulle. Oskar tuli tänaval ta juurde, kõndis hulga aega kõrval, põrnitses vihasealt.

„Said seekord võidu, vanamees, aga ega see sulle heaga lõpe, pea seda meeles. Enne juba pistan maja põlema, kui lasen sind selle eidega sinna asuda. Siis, kurat võtaks, oleme kõik paljad.“

Sest ajast tunneb Tiit Nõukas hirmu. Õhtuti lukustab ukSED korralikult, oõsiti tõuseb üles, käib ümber aiamaajakese, uurib, kas kuskil ei ole tulepessa. Võib-olla panevad hirmsas vihas maja põlema, nii et Tiit põleb sisse. Ainult tuhk jääb järele ning mine siis küsi, kes tegi. Samas haarab teda kahetsus: poleks pruukinud lastega vahekorda nii teravaks ajada. See korterist väljaajamine oleks võinud jääda tegemata. Ehk oleksid siis pika-peale leppinud. Aga nüüd on hilja.

Ta kõnnib rahutult õues, tänaval ja aias. Seal on nüüd kõik nukker ja kurb. Lehed on langenud, puud ja pöösad on raagus ning viljad koristatud. Isegi see suur kõrvits, mis kuulus Antsule. Vanaisa ootas küll kaua kannatlikult pojapoja tulekut, aga see ei tulnud. Nähtavasti ei lastud, ning Tiit tõi kõrvitsa viimaks aiast ära — lagunemise tunnustega.

Nüüd siin ei ole midagi teha, ei temal, veel vähem Antsul. Nüüd siia asub mahajäetus ja pimedus ning talvised võimsad väed matavad kõik lumme. Kuni tuleb uus kevad, uus öitsemine ja rõõm.

Ühel päeval, kui Tiit parandab prügikasti, teeb ta seda suure kolinaga, et Ants ehk kuuleb ja tuleb välja teda vaatama. Ent Ants ei ilmu aknale ega välja. Selle asemel sõidab õuevärava ette suur must auto. Sealte väljub mees pintsli ja potiga ning kleebib väravale ja koridori uksele suure punase plakati.

Ettevaatust! Sarlakid!

Sarlakid, mõtleb Tiit Nõukas. Kes on tema majas sarlakis? Ta pole kuulnud. Neid lapsi siin on ju laialt. Ta ruttab mehe juurde, see on oma töö lõpetanud ja hakkab minema.

„Kus siin majas on sarlakid? Missuguses korteris?“

Mees seisatab viivuks, aga lööb siis käega. Must auto on kannatamatu, annab kogu aeg signaali. Peab ruttama, neid oodatakse veel kuskil mujal.

Ning läinud ta ongi. Mitte ühtegi last ei ole väljas, kellelt küsiks. Tiit uurib aknaid, ehk mõni on kaetud, siis teaks kohe, kus on haige. Sarlakite puhul peab olema pimedas. Ega ometi... Ei, Johannese aknad on kõik valged, ainult kaetud õhukeste tüllkardinatega. Jumal tänatud, siis seal ei ole. Kus see sarlak siis võiks olla, mõtleb ta rahulikumalt. Kas kingsepp Tomingase juures? Temal ikka on lapsed alati haiged. Viletsad ja nirud. Ei saa korralikult süüa, sest vanamees joob ja laagerdab.

Ta läheb alla keldrisse, kus elab kingsepp. Rõske, kopitanud õhk lööb talle maa-aluses koridoris ninna. Kivid hõõguvad raudset külmust, akna juures jookseb nirinal vesi. Tema ei saa sinna parata. Maja on mäe all, siia valgub kõik vesi ja niiskus, mida tänavatorud ei jõua ära tõmmata. Ka ei ole siin rohkem kortereid kui ainult üks. Seegi vanast ajast, ning nüüd nõutakse kaotamist. Hullud! Kuhu see vaene inimene ajada?

Silmad hakkavad harjuma pimedusega. Veel mõni samm, siis on natuke valgem. Väike aken, tolmune ja kõntsaga kaetud, laseb hädiselt valgust läbi. Ei ole täiesti pime.

Ta koputab. Vaikus. Kas neid ei ole kodus? On ehk tööl, või... jooma peal. Ei, keegi kolistab sees. Nüüd lähenevad tatsutavad sammud, ukse taga seisatakse. Siis küsib lapsehääli:

„Kes seal on?“

„Mina! Majaperemees.“

Uks avaneb, selle vahele ilmub väikese kaheksa-aastase tüdruku nägu. Ta on särgiväel, palja jalu. Tõusis voodist. Näol peegeldub hirm ja kartus. Majaperemees! Tuli noomima! Seda nendega juhtub.

„Meil ei ole kedagi kodus,“ ütleb ta aralt.

Tiit astub tuppa. See on madal, poolpime ja must. Räbaldunud takune tekk ripub üle voodiääre, köögikapp on täis toidujätiseid, pliidi juures lehkab mustaveeämber.

„Ega mul isa polegi tarvis,“ ütleb Tiit leebelt, nii et laps imestub. Majaperemehe-onu ei riidlegi! Muidu alati: sinna ei tohi, seda ei tohi ja teist ei tohi, ning et lõhute keldriaknaid ja varastate aiast kraami. Nüüd nii hea.

Tiit vaatab ringi. Voodist vahib talle vastu uudishimulikke lapsenägu-
sid, üks tatsutab poolpaljalt põrandal, oja järel. Ei, siin ei paista olevat.

„Kas teil on sarlakid?“

„Ei ole, ei ole,“ vastab tüdruk. „Sarlakid on ülal, korter number kuues.“

Number kuus, võpatab Tiit. See Johannese korter. Kas siiski...? Aga aknad olid ju katmata. See ei või ju olla.

„On küll,“ ütleb tüdruk nüüd kindlalt. „Ants on sarlakis, ma tean, tädi rääkis.“

Tiit ehmuab, külm tunne käib üle keha. Ants sarlakis! Võib-olla koguni suremas? Ja tema ei saa näha. Jälle üks mure juures. Tema armastab seda poissi siiski rohkem kui kedagi muud. Poeg! Poja puhul ta aitaks tagant, niikuinii käituvad nagu mõrtsukad. Ent pojapoeg...

Õue jõudes heidab pilgu poja korteri akendele. Seisab viivu nõutuses. Siis läheb. Jalad viivad automaatselt trepist üles — sinna, kus elab poeg. Koridor on tühi. Seisatab. Kuulatab. Kõikjal on vaikus. Nüüd kuulduv ukse tagant kõnelemist, keegi nagu tahab tulla välja. Tiit taganeb, teeb seda õigel ajal. Uks avaneb, Johannes väljub. Ta on väsinud ja mures. Silmab isa, mingi põlguseilme jookseb üle näo. Ning siis möödub sõnatult Tiidust.

Tiidu hinge nõõrib hirm. Häda ja ahastus südames. Sirutab käe pojale järele.

„Johannes!“

Poeg peatub. Ilme näol on ikka ühesugune, külm ja põlgav.

„Kas... kas Ants on haige?“

Hetkeks muutub poja nägu pehmemaks. Siis tuleb meelde kohus, välja-
ajamine. Vaen. Mis see vanamees tast nüüd tahab? Siis ei olnud Antsust huvitatud, kui kaebas kohtusse ja ajas välja. See teeb südame kõvaks.

„Mis see sinu asi on. Kah mul kaasatundja. Eks me kohtus räägi.“

Vaatab veel viivu ja kaob. Tiit vajub küüru, nagu oleks õlgadel raske

koorem. Läheb uuesti ukse taha, kuulatab, ei midagi. Kõikjal vaikus. Kui koputaks... Nüüd ei ole Johannes kodus. Sõrmenukid tõusevad ja langevad nagu iseenesest vastu ust. Tiit ootab ärevalt. Süda taob. Kas lastakse sisse?

Ei tule kedagi. Teda haarab meeleheide. Tõstab uuesti käe. Just siis kostavad aga sammud, uks avatakse. Äi ja minia on vastamisi. Kumbki ei saa sõna suust. Minia näos peegeldub väsimus, magamata ööd ja nukker abitus. Ta ei lausu sõnagi.

„Ants...“ pomiseb Tiit.

Minia ei vasta. Uks avaneb laiemalt. Hetke Tiit kõhkleb, siis astub sisse. Minia läheb ees.

Tuba on poolpime. Aknad on kaetud, nähtavasti on seda alles praegu tehtud. Poiss on vaheseinaga eraldatud väikeses toas. Seal on pime. Tiidul läheb aega, kuni silmad hakkavad seletama.

Väikemees on voodis. Ta nägu, käed on kaetud punaste plekkidega. Ta hingab kahisedes, raskelt ja vaevaselt. Silmad on kinni. Väikesed liikmed on luised... nii luised.

„Kas arst käis?“ küsib Tiit tasa.

Minia noogutab. Laps hakkab siplema. Ema kummardub ta kohale, katab tekiga, kõneleb. Poiss ei vasta. Siis nad tulevad ära.

„Mis arst ütles?“ küsib Tiit.

„Ei tea veel midagi,“ ütleb minia. Ta pilgus ei ole tigidust ega vaenu. Praegu pole selleks aeg. Ta laseb Tiidu välja ja läheb tagasi poisi juurde.

Tiit seisab koridoris. Ta ei mõista kuhugi minna. Elumõte on nagu kadunud. Selle asemel on astunud hirm ja valu. Nüüd ei mõista kuhugi minna, midagi teha. Ainult lapse nägu tantsib ta silmade ees. Kuuleb ta rasket hingamist veel kojas.

Siis ta tuleb ära. Ta on äkki vanaks jäänud. Pea ei tööta. Haige lapse kaju segab. Ei anna rahu. Reet on kadunud kuhugi kaugele. On nagu mingi valus mälestus.

Toas laual lebab kohtukutse. Alati see häiris teda, vihastas. Nüüd on ükskõik. Samas ta ehmutab. Siin on ju tänane kuupäev. Kas Johannes läks viimaks kohtusse... siis peab ju ka tema. Milleks? Kas või selleks, et nad lepiksid, et ei oleks nende vahel kohut. Mis on olnud, seda ei saa teha olematuks. Ent selle uue protsessi võiks vältida. Süda kohe ei anna rahu. Poiss...

Ta riietub kiiresti. Kui kohtaks ometi Johannest, lepiks kokku. Ent kohutus ta ei leia Johannest. Asi on juba ees. Advokaadid peavad oma sõnalahinguid. Reet tunnistab, tunnistab tema vastu. Ütleb, et on lubanud

talle osta üht ja teist. Ent see ei aita. Kohus otsustab pärijate nõudmise rahuldamata jätta.

See võit teeb ta südame kergeks ja raskeks ühtlasi. Pilk otsib ikka veel Johannest. Ent Johannes ei ole veel ikkagi tulnud. Selle asemel tuleb paks ümargune advokaat, surub kätt ja ütleb:

„Hästi läks, kuradi hästi.“

Advokaat kõneleb seal veel midagi, ent Tiit ei kuula teda. Tal on midagi muud mõttes. Ants, peaks see terveks saama.

Ta laskub trepist pikkamisi. Silmad üha otsivad tuttavat kogu, ent poega ei ole. Saatis ainult advokaadi nende kõikide eest. Seda ei oleks tarvis olnud. Kui nad täna oleksid kõnelnud isaga viisakalt. Nüüd...

Väljas seisab Reet, nagu ootaks teda. Kui Tiit Nõukas seisatab, astub juurde, ulatab käe ning soovib õnne. Ja viivu hiljem.

„Nüüd on siis lõpp meie vahel. Ära tule enam minu poole. Ma ei saa seda lubada, ma olen sõnaga seotud.“ Ja kui Tiit sellele midagi ei vasta, ta ütleb:

„Su lapsed maksid mulle, nad ostsid mind ära. Tütar käis minu juures. Hakatuses ähvardas, aga ma olin kõva. Siis ta hakkas nutma ja pakkus raha, et ma sind rahule jätaaksin.“

Tiit vaatab teda suuri silmi.

„Ma võtsin raha vastu, sest teadsin, et sedasi on parem. Kuigi sa oleksid minuga abiellunud, nad oleksid mu elu teinud põrguks. Ja sina oled vana, sa ei jõua nendega võidelda, ning ühel päeval sured maha. Ja siis nad on peremehed ja ajavad minu välja. Ära pane pahaks, et ma niimoodi talitasin, sedasi oli parem. Ela nüüd hästi ja vaata ette.“

Ta sirutab käe ja lahkub. Tiit vaatab talle niikaua järele, kui ta kaob tänavanurga taha. Ta isegi ei imesta Reeda juttu. Ainult vandesõna lendab ta suust ja sülg lendab tänavale.

„Õige kuradima eit! Vaat kus tegi tembu.“

Ent hinges on natuke valus, et ta teda reectis, et ta oli valmis müüma armastust raha eest. Ning et tal jätkus jultumust tulla hoiatama laste eest. Tema... võõras inimene.

Jälle tuleb haige poisi kuju ta silme ette. Vanamees tunneb, et ta on talle praegu kõige lähedasem, lähedasem kui ükski muu. Kui arst suudaks teda päästa, kui nad lubaksid tal istuda pojapoja voodi ette, ehk siis paraneks. Ehk annab teha...

Ta läheb notari juurde, ja kui ta sealt tuleb, on juba hilja. Ta ruttab edasi-tagasi voogavas rahvahulgas, katsub, kas paber on ikka taskus, ning süda on rahul. See annab talle julgust minna pojapoja juurde. Nüüd ta koputab julgesti ja kõvasti. Nähtavasti oli Johannes ukse taga, sest see

avanes kohe. Ka minia on seal, ta nägu õhetab, nad on vist arutanud kohtuprotsessi. Nüüd vaatavad nad teda jaheda ja etteheitva pilguga, mille varjus peegeldub viha ja pettumus.

„Ants . . .?“ küsib Tiit.

„Eks ta ole haige,“ vastab Johannes pahaselt. „Mis sul sest.“

Tiit ei vasta, ta kobab kärsitult taskus, siis toob sealt välja testamendi ja ulatab Johannesele. Poeg ei taha seda algul võtta, ent siis ta pilk kiindub sõnale testament, ning hakkab kohe ahnelt lugema. Tiit ei oota vastust, ta läheb pojapoja juurde, minia tahab teda nagu korraks takistada, aga Johannes keelab käega. Ta nägu äkki õitseb ja hiilgab. Ta on unustanud haige ja vaenu. Nüüd ta vaid tunneb varandusest rõõmu.

Ent ta ei saa seda rõõmu kaua maitsta. Just siis, kui Tiit läheb seinataha pojapoja juurde, tulevad Oskar ja Liina. Mõlemad on sünged ja tigedad. Oskar viskab mütsi lauale ja puhkeb vanduma. Liina on natuke vaiksem, küsib, kuidas on lapse tervis, ja hakkab jutustama advokaadist ja kohtust. Sellele seltsib Oskari karm ja kärisev joomarihääl — nüüd ta alles lubab vanameest pihtide vahele võtta ja näidata.

„Vanamees tuleb saata hullumajja,“ teeb ta ettepaneku. „Seal on tal paras koht.“

Johannes ei vasta. Testament põleb ta käes. See teeb Oskari ja Liina ta vaenlaseks. Nüüd ta ei ole enam nendega liidus, nüüd ta peab võitlema nende vastu. Ja see sunnib teda ütlema häid sõnu Tiidu kasuks.

Äkki ilmub Tiit Nõukas poisi juurest. Ta on kuulnud siin Oskari ja Liina häält. Tahab nüüd nendega kõnelda.

Aga selleks ei anta talle mahti. Isa nähes kargavad Oskar ja Liina üllatanult üles. Nende nägudele asub ehmatus, nende ajudesse kahtlus. Nad hakkavad aimama halba.

„Mis see siis tähendab?“ küsib Oskar ägenedes. „Mis see vanamees siin teeb? Mis ajast te olete säärased sõbrad?“

Keegi ei vasta. Tiit Nõukas vahib Johannese otsa, siis Oskarile ja Liinale, ent sõna ta suust ei tule.

„Ei ole midagi,“ lausub viimaks Johannes. „Vanamees tuli nasama siia.“

„Nasama . . .“

Pinevus jääb püsima. Kahtlased ja uurivad pilgud ristlevad toas. On tunda äikese lähenemist. Siis tuleb Johannese naine. Ta vahib kõiki rahulikult pilgul ja pöördub mehe poole.

„Mis sa sest varjad. Saavad niikuinii teada.“

Ja ootamata enam Johannese arvamist ta lausub külalistele:

„Tiit pärandas oma majad Antsule. Testament on siin.“

Mõlemad külalised lähevad näost valgeks, Oskar kisub vennanaise käest testamendi, loeb pooleni ja puhkeb siis vihaseks sajatama.

„Kurat,“ karjub ta raevunult. „Pettus ja kokkumäng. Vanamees ja Johannes mängisid kokku. Kuradi juudased!“

Ta karjumine ajab Johannese naise vihale.

„Minge välja ja karjuge seal,“ kamandab ta Oskari ja Liinat. „Mul laps suremas.“

Oskar ei taha minna. Tulgu teised kaasa ja tehtagu arved õigeks. Aga kui need ei tule, haarab ta mütsi, jääb Johannese ette seisma ja sõnab:

„Hea küll, praegu lähen. Aga ega sellega ei ole veel kõik lõppenud, nüüd alles algab. Ei ole need majad veel sinu... Ennem põletan nad maha ja lähen trellide taha, kui et sulle...“ Ja Tiidu poole pöördudes: „Ära sa arva, et sinagi pääsed. Küll ma leian sinulegi paraja koha — hullumajja.“

Raksatades lendab uks kinni. Lühikest aega kajavad sammud trepil, õues ning siis asub vaikus tuppa. Tiit Nõukas vaatab Johannesele ja miniale otsa ning küsib:

„Mis nüüd saab?“

Johannes naeratab kurjalt.

„Nüüd lüüakse niisugune lahing, et mõni leiab lõpuks oma kondid puusärgis. Nüüd ei anta armu. Mine nüüd oma tuppa, meil tuleb siin naisega plaani pidada.“

Tiit Nõukas tahab midagi vastata, lööb siis käega. Milleks? Ega see niikuinii ei aita. Nüüd siin algab suur lahing võltsimiste, petmistega, kakluste ja alatustega. Nüüd siin hakatakse võitlema varanduse pärast.

Ning minnes üle õue oma aiamaajakese juurde jääb ta äkki seisma, võtab piibu suust, sülitab ning sõnab tulivihaseks:

„Neetud varandus! Et seda kurat võtaks!“

PRAKTIKA OSA TUNNETUSES

Kokkuvõte M. Naumova artiklist ajakirjas
„Pod znamenem marksizma“ nr. 5 1940.

Lenini-Stalini partei on poliitiliste parteide ajaloos ainus, kes ühendab oma võitluse praktika teaduse ja teooria silmapaistva tähtsuse tunnustamisega. See ühendamine andis võimaluse sotsialismi ja töölisliikumist ühtseks tervikuks liita, luues seega võimsa kogemusliku baasi eesrindlikule revolutsioonilisele teooriale ja valgustades ühtlasi revolutsioonilist töölisliikumist teaduse võimsa valgusega.

Teooria ja praktika sügaval sidemel bolševistliku partei tegevuses on sügav põhjendus marksismi filosoofilises teoorias. Marksistlik filosoofiline materialism lülitab praktika oma tunnetusteooriasse ja seab selle koguni tunnetusteooria aluseks. Marx ja Engels „lülitavad praktika kriteeriumi materialismi tunnetusteooria alusesse“¹, ütleb Lenin praktika osast tunnetuses.

Marksistlik filosoofiline materialism väidab, et praktika on aluseks, millel areneb tunnetamine, et praktika on tunnetamise ajendavaks jõuks, et tunnetus on praktika tulemuseks, üldistuseks. Teiseks väidab marksistlik filosoofiline materialism, et praktika on töö kriteeriumiks, andes võimaluse tõelikku väärist eraldada, ning kindlaks määrata teaduse selle või teise väite usutavust.

★

Marxi-eelse materialismi üheks kõige põhilisemaks paheks oli selle mõtisklikkus, kaemuslikkus. Vanad materialistid kujutasid endale tunnetuse arenemist nii, et ühel pool asub loodus, kuna teisel pool seisab osavõtmatult mõtisklev, vaatlev inimene. Tunnetus ajendavaks jõuks tunnustati „uudishimu“, „tunnetusjannu“. Mõned materialistidest tunnustasid tunnetuse ajendavaks jõuks inimeste tarvidused, sest tunnetus annab võimaluse rahuldada vajadusi.

Vanade materialistide viimases väites tundub juba teatud lähenev mõttele praktika osast tunnetuses, aga väga puudulikul kujul. Vanad materialistid lähenevad praktikale kui eksperimendile, kui laboratoorsele katsele, mis tuleb tõmmata kaasa tõelikkuse kontrollimiseks, spekulatiivsel teel leitud tõeliste väidete kinnitamiseks. Nii esineb näit. Descartes'i juures praktika alles pärast tunnetamist, mis esialgu toimub iseseisvalt. Samuti arvestasid ka materialistid-empiristid, et kaemus (mõtisklemine) avastab looduse saladused, praktika aga eksperimendina kas kinnitab või kummutab avastatud töö.

Seega ei ole antud juhul veel mingit alust rääkida kriteeriumi tunnustamisest. Praktikast ei seata siin tunnetamise aluseks, ei tunnustata tunnetamise ajendavaks jõuks, vaid see esineb alles pärast tunnetamist. Üldse aga viis vana materialismi kaemuslikkus passiivsusele. Tunnetamine kui midagi „kõrgemat“ eemaldati inimese praktilisest tegevusest kui millestki „madalamast“, labasest.

Selgema kehatuse sai tunnetamise ja praktika ühenduse katkestamine „kirgede“ tun-

netamisele vastandamises vanade materialistide poolt. Inimese ühiskondlik-ajalooline tegevus arvestati „kirgede“, „afektide“ maailmaks, kus, nagu ütles Spinoza, inimene on rumaluse ja madala meelsuse ori. Sellele vastandati kirk puhta mõistusega taibatava teadmise vastu. Ainult maistest kirgedest loobunud tark-filosoof t u n n e t a b loodust.

Kuigi vanade materialistide kõrk suhtumine inimese elavasse tegevusse sisaldas proteste tavalisse ümbritsevasse tegelikusse mõtlematult suhtumise vastu, tähendas seesama mõistuse ülistamine ja praktika tähtsuse mitterõõmimine ka vana materialismi põhjalikkuse puudust. Seetõttu vana materialism langes f a t a l i s m i, mis oli tihedaimalt seotud nende passiivse-mõtiskliku lähenemisega inimesele ja tema tegevusele.

„Mitte nutta, mitte naerda ja mitte põlata, vaid mõista on vaja“, ütles Spinoza. Selles teesis on selgesti väljendatud tema arusaamine tunnetamisest. On vaja mõista looduse ja ühiskonna sündmuste käiku. Paratamatuse mõistmine tekitab vabaduse. „Vabadus on tunnetatud paratamatus“, ütleb Spinoza. See formuleering aga ei anna paratamatuse ja vabaduse suhte probleemi tõelist lahendamist — valemis puudub tegevus. Engels määrab vabadust teisiti.

„Vabadus seisneb mitte kujutatavas loodusseadustest sõltumatuses, vaid nende seaduste tunnetamises ja seetõttu nende kindlaksmääratud eesmärkideks plaanikohaselt kasutamise võimaluses.“

„Tahtevabadus ei tähenda midagi muud, kui võimet asja teadmiselega teha otsuseid.“

Nii on tarvis mitte ainult mõista, nagu kuulutab Spinoza, vaid ka tegutseda. Ainult tegevus koos paratamatuse mõistmisega vabastab fatalismist ja loob õige vabaduse.

Spinoza oli fatalist, sest ta citas praktika osa tunnetusteoorias. Seepärast osutab vääraks Asmuse poolt avaldatud väide³, milles ta püüab Spinozat tunnustada filosoofiks marksistlikus mõttes, ja Milneri väide, et „Spinoza ei olnud fatalist“⁴. Ütelda nõnda — tähendab eitada Spinoza materialismi passiivset-mõtisklevat iseloomu.

Ses suhtes mitte ainult Spinoza vaid ka hilisema aja metafüüsiline materialist Feuerbach ei väljunud passiivse-mõtiskliku materialismi raamest. Sellest räägitakse Marxi teesides Feuerbachist:

„Kogu eelneva (kaasa arvatud ka Feuerbachi) materialismi peapuudus seisab selles, et ese, tegelikkus, meelelisus võetakse ainult objektiivse mõtiskluse kujul, aga mitte kui meelelis-inimlik tegevus, praktika; mitte subjektiivselt.“

Nii Feuerbachile, Spinozale, prantsuse materialistidele jne. praktika — see on madal, kaubitsev ala, millel ei ole tegemist tunnetamisega. Ka Feuerbachi juures tunnetamise ülesanne viiakse ainult „mõistmisele“ ilma tegevuseta. Praktika küsimuses seisab Feuerbach tunduvalt madalamal oma õpetajast Hegelist. Lenin ütleb Hegeli kohta:

„Kahtlemata seisab praktika Hegeli juures tunnetusprotsessi analüüsis kui lüli ja nimelt kui üleminek objektiivsele (Hegeli järgi „absoluutsele“) tõele. Marx järelikult ühineb vahetult Hegeliga, tuues tunnetusteooriasse praktika kriteeriumi: vt. teesid Feuerbachist“⁵.

Tõesti, Hegeli filosoofias etendab praktika moment suurt osa. Hegel arvustab Kanti sellepärast, et viimane eemaldab tunnetusteooria reaalsest, praktilisest tunnetamisest. Hegel arendab õiget mõtet, et tunnetamine ei ole eseme passiivne vaatlemine, vaid tunnetava subjekti ja objekti vastastikuse mõjutamise protsess, Hegel arendab „Loogika teaduses“ mõtet, et praktika on lüliks subjektiivse kujutluse objektiivseks tõeks üleminekul.

„On tähelepanuväärne,“ ütleb Lenin, „et ideele kui mõiste ühtelangemisele objektiga, ideele kui tõe le, Hegel läheneb inimese praktilise, otstarbekohase tegevuse kaudu?“.“

Hegel läheb kaugemale: ta mõistab praktikat kui tööd. Loodus, ütleb ta, on inimesele ainult lähtekoht, mis peab tema poolt ümber kujundatama. Vastuolu inimese ja looduse vahel laheneb töös, mis kujundab looduse. Sellised väited annavad Marxile ja Engelsile õiguse ütelda, et Hegel „näeb ära töö olemuse ja mõistab objektiivset inimest, tõelist, tegelikku inimest, kui tema enda töö tulemust“.

Eelöeldust võib teha järelduse, et Hegel on eelkäijaks marksistlikule õpetusele praktika osast tunnetuses. Kuid — üksnes eelkäijaks. Hegel ainult a i m a s ning väljendas puudulikult ideed praktika osast. Takistuseks oli Hegelile tema i d e a l i s m. Hegel räägib aktiivsest suhtumisest objektile, looduse ümberkujundamisest subjekti poolt, tööst, kuid objekt ise, loodus, on temale ainult mõte, idee, ja teiseks mõistab ta praktika ja töö all ainult abstraktset-mõtlevat tegevust, mõtisklemist.

Kui objekt on Hegelile samasugune mõte nagu subjektki, siis muidugi subjekti ja objekti kogu vastastikune mõjutamine on ainult kaemus, mõttega iseenda ümberkujundamine. „Hegel teab ja tunnustab ainult üht töö liiki, nimelt — abstraktset-vaimset tööd“, ütleb Marx. Hegel lahustab mõttes kogu tegelikkuse ja seepärast tema juures mitte üksnes tunnetusteooriad, vaid ka kogu praktika on üksnes mõtlemine, tunnetamine. Praktika sellise mõistmise juures on muidugi võimatu tõesti reaalne tõe kriteerium.

Marksistlikul filosoofilisel materialismil seisis ees mitte ainult mõtiskleva materialismi, vaid ka hegeliaanliku p r a k t i k a idealistliku mõistmise arvustamine. Marx ja Engels löid uue, materialistliku õpetuse praktikast, mis ainuüksi võibki õigesti valgustada teadmise arenemise aluse ja tõe k r i t e e r i u m i küsimust.



Määrates praktika marksistliku mõistmise mõtet ja sisu kui tunnetuse alust ja tõe kriteeriumi, peame lähtuma ajaloolise materialismi teooriast. Inimese tunnetus on ideoloogiline p r o t s e s s, mis m ä ä r a t a k s e ü h i s k o n d l i k u o l e m i s e g a, lõplikult võttes — tootmisega.

Marxi-eelne materialism asus tunnetusteoorias materialistlikul positsioonil, tunnustades inimese tunnetuse materiaalse asjade peegelduseks. See oli aga puudulik materialism, sest otsustamata jäi küsimus, kuidas toimub tunnetuse tõelikkuse kontroll. Vana materialism ei võinud tõe kriteeriumist anda arenenud materialistlikku õpetust seetõttu, et ta ei võinud inimese ühiskondlikule elule läheneda materialistlikult ja dialektiliselt. Ühiskondlikus elus nägi ta ainult psüühilist, ainult ideoloogilist momenti, taandades sellele kogu ühiskondliku elu. Seega oli suletud tee inimliku teadmise m a t e r i a a l - p r a k t i l i s e aluse mõistmisele.

Rääkides ühiskondliku elu „eeldusist“, nägi Feuerbach neid inimeste t e a d v u s e vormides. Marx ja Engels näitavad „Saksa ideoloogias“ teisi, põhimisemaid „eeldusi“. Esimeseks „eelduseks“ on — inimese materiaalse vajaduste rahuldamiseks tarvilike vahendite tootmine. Edasi järgneb rida teisi „eeldusi“, enne kui ilmub see teadvus ning tunnetamine, mis Feuerbach ekslikult luges ühiskondliku elu esimeseks alguseks. Marxi ja Engelsi järeldus on säärane:

„Täiesti vastandina saksa filosoofiale, mis laskus taevast maa peale, meie siin tõuseme

maa pealt taevasse, s. o. me lähtume mitte sellest, mis inimesed räägivad, arvavad, kujutlevad endist, ja mitte sõnalisist, mõeldavaist, arvatavaist, kujuteldavaist inimesist, et nende juurest tulla tõeliste inimesteni; meie lähtume tõeliselt tegevaist inimesist ja järeldame nende tõeliselt elulisest protsessist samuti ka selle elulise protsessi ideoloogiliste peegelduste ja kajastuste arengu¹⁰.”

Nii arendavad Marx ja Engels ajaloolise materialismi põhitseisi: ühiskondlik olemine määrab ühiskondliku teadvuse. „...Milline on inimeste eluviis, selline on nende mõtteviis!“

Selle määranguga on ühtlasi antud ka praktika marksistlik mõistmine. Praktika marksistlikus käsitluses on „inimeste eluviis“, nende elu reaalne „protsess“, kus inimesed esinevad „tegevate“, „tõeliste“ inimestena. „Elu, praktika vaatepunkt“, ütleb Lenin, „peab olema tunnetusteooria esimeseks ja põhimiseks vaatepunktiks¹².“

Kuid millistest elementidest koosneb see elu, mis moodustab praktika marksistliku mõistmise olulise sisu?

Inimese kui ühiskondliku olendi elu aluse moodustab materiaalne tootlus. Materiaalne praktika — see on eelkõige inimese tegevus, milles ta kujundab ümber teda ümbritsevat loodust ja ühes sellega kujundab ümber isennast.

„Ideede, kujutluste, teadvuse kujunemine“ ütlevad „Saksa ideoloogias“ Marx ja Engels, „on esialgu vahetult põimitud inimeste materiaalsesse tegevusse, inimeste materiaalsesse suhtlemisse¹³.“

Marx ja Engels vaatlevad inimest mitte kui loodust passiivselt vaatlevat olendit, vaid kui aktiivset olendit, kes alaliselt kujundab loodust ümber ja kasutab seda oma vajadusteks. Materialistlikku tunnetusteooriat formuleerivate Marxi ja Engelsi määratu teene seisab selles, et nad avastasid inimese olulise materiaalse tootmisprotsessis väljenduva seose loodusega. Marx märgib töö otsustavat osa inimliku loomuse muutmise protsessis.

„Töö on kõigepealt inimese ja looduse vahel toimuv protsess... Ta paneb liikvele inimesele kuuluvad loomulikud jõud: käed ja jalad, pea ja sõrmed. Mõjudes nende liigutuste kaudu välisele loodusele ja muutes seda, ta samal ajal muudab oma enda loomust¹⁴.“

Meie tunnetamise tungimine esemesse toimub kõigepealt ühiskondlikus tootmises, tootmise ajaloolises arenemises. Tootmises isik „objektiviseerub“ töö kaudu, objekt ise aga osutub „meelelis-inimlikuks tegevuseks“. Praktika — see on tootmine, tööstus. Engels ütleb, et agnostilised väljamõeldused purustatakse „praktika endaga, s. o. kogemuse ja tööstusega¹⁵“.

Oleks siiski praktika marksistliku mõistmise lihtsustamine, kui meie selle taandaksime ainult materiaalsele tootmisjõududele, vaid tehnilisele protsessile. Nõnda toimis Šuljatikov oma raamatus „Kapitalismi õigustamine Lääne-Euroopa filosoofias“ ja nii on arutanud ka mõned teised, mõteldes praktika all ainult tööstusliku tootmise tehnilist protsessi. Kuid Engels räägib mitte ainult tööstusest, vaid ka kogemusest, praktikast üldse. Materiaalse praktika juures on tähtsad ka tootmissuhted.

Materiaalne praktika — seda on ka inimeste klassilised suhted, klassivõitlus, parteide võitlus. Klassivõitlus aga moodustab inimühiskonna ajaloo põhimise sisu. Praktika marksistlik mõistmine haarab seega inimsoo kogu ülemaailmse ajaloo. Nimelt klasside ja parteide võitluse tunnetuse arenemise aluseks tunnustamine moodustab lähtekoha marksistlikule-leninlikule õpetusele teooria parteilikkusest.

Materiaalne tootmine ja klassivõitlus — see on alus, ent tunnetuse arenemisele avaldavad mõju ka veel teised, tuletamistegurid, mis on vahendajaiks ühiskonna majandusliku aluse ja teoreetilise teadmise arenemise vahel.

„Vastavalt materialistlikule ajaloomõistmisele“ on lõplikus arvestuses ajaloo-protsessis määravaks jõuks tegeliku elu tootmine ja taastamine. Ei mina ega Marx väitnud rohkemat. Majanduslik seisund — see on alus, kuid ajaloo protsessi käiku mõjustavad ning paljudel juhtudel määravad enamasti selle vormi mitmesugused pealisehituse momendid: klassivõitluse poliitilised vormid ja selle tulemused — võitnud klassi poolt pärast võidu saavutamist seatud konstitutsioonid jne.; õiguslikud vormid ja samuti kõigi nende tegelike võitluste peegeldus osavõtnute ajudes, poliitilised, juriidilised ja filosoofilised teooriad, usulised vaated ja nende edasine arenemine dogmade süsteemiks¹⁶.“

Praktika — see on elu, see on inimeste kõigekülgne tegevus ja võitlus, mille protsessis nad muudavad loodust ja iseendid, tunnetavad loodust ja iseendid. Praktika põhimiseks sisuks on muidugi materiaalne tootmine.

★

Inimeste praktiline tegevus on inimese poolt looduse ja ühiskonna arenemise seaduspärasuste tunnetamise protsessi lähtekohaks ja aluseks. Engels näitab¹⁷, et endiste filosoofide ja loodusuurijate peapuudus seisis selles, et nad põlgasid uurida inimese praktilise tegevuse mõju nende mõtlemisele. Kõik inimese loogilised järeldused on aga seotud praktikaga.

„... Inimese praktiline tegevus pidi miljardeid kordi viima inimese teadvuse mitmesuguste loogiliste figuuride kordamisele, et need figuurid võisid saada aksioomide tähenduse¹⁸.“

Arvestades Dühringit apriorismi puhaste matemaatiliste mõistete peast tuletamises, näitab Engels, et matemaatika, nagu kõik teadusedki, tekkis inimese praktilisest vajadusist. „Nagu teisedki teadused, tekkis matemaatika inimeste tarvidustest: maakera ja nõude mahtuvuse mõõtmisest, aja ja mehaanika arvestamisest¹⁹.“

Darwini teooria oli mitte ainult õpetlaste-naturalistide poolt XVII—XVIII saj. kogutud hiiglamaterjali, vaid ka inglise karja- ja taimekasvatajate poolt kogutud puhtpraktilise kogemuse üldistus. Luues loomuliku valiku teooriat, arvestas Darwin inglise praktikute kogemusi kunstliku valiku alal.

Praktilise tegevuse tõttu on inimesel võimalik tungida sügavamale loodusnähtusis, avastada looduse ja ühiskonna arenemise seaduste kogu mitmekesisust. Inimeste praktiline tegevus annab meile kasulike aparaatide leiutamise ja võimaluse täiustada oma meelteorganeid. Inimeste tegevus annab meile võimaluse allutada endale loodust, sunnib teda inimeste eesmärgi teenima.

Teaduse kogu ajalugu on teooria ja praktika tiheda seose kujukaks tõenduseks. Töötuse ja tehnika arenemine annab alati rikkalikema aluse avastusteks füüsika, keemia, astronoomia jne. aladel. Nii on metallurgia arenemine aluseks oksideerimise ja põlemise teooria väljatöötamisele, millel omakorda on määratu tähtsus metallurgia edasisele arenemisele. 1861. a. lihtne aednik Joseph Monier, taotelles tugevamate tünnide valmistamist, avastas endale üllatuseks uue aine — raudbetooni. Tuntud vene leidur Kulibin, otsustas võlvisildade küsimuse veel sel ajal, kui ei olnud võlvide arvestamise teooriat.

Marx, Engels, Lenin ja Stalin näitasid alati, et nimelt praktilises tegevuses ja võitluses on meie tunnetamine kõigepealt võimeline tabama asjade objektiivsust ja nende seaduspärasust. „Küsimus sellest, kas inimlikule mõtlemisele on omane objektiivne tõde, ei ole üldse teooria küsimus, vaid praktiline küsimus²⁰.“ Väljaspool praktikat on meie tunnetamine abituks ja viljatuks kaemuslikkuseks.

Hegeli järgi muutub ese seepärast, et muutub inimese mõte temast. Tegelikult aga on eseme muutmiseks täiesti vähe tema mõttes muutmisest. Marx kirjutas:

„Ideed ei vii kunagi välja vana korra piirest: nad alati viivad välja ainult vana korra idee piirest. Ideed üldse ei võidagi teostada. Ideede teostamiseks on vaja inimesi, kes peavad kasutama praktilist jõudu²¹.“

Iseloomustades teooria ja praktika lahutamatu seost, näitab seltsimees Stalin, et teooria kujuneb abstraktseks, kui ta ei ole seotud praktikaga. Teooria muutub töölisliikumise suurimaks jõuks, kui ta asub lahutamatus seoses revolutsioonilise praktikaga. Teooria ise, osutab seltsimees Stalin, on kõigi maade töölisliikumise kogemus, võetud selle üldisel kujul²².“

Juba ammu oli olemas stiihiline töölisliikumine, enne kui teadus pööras sellele oma tähelepanu. Kui kord töölisliikumise arenemine saavutas sellise astme, et õpetlased enam ei võinud sellest mööduda, tuldi töölisliikumist uurides mitmesugustele järeldustele. Ühed õpetlased soovitasid töölisliikumise lahendamiseks ainsa vahendina — nuuti, teised — filantroopilist tegutsemist, kuna kolmandad, tõelised teadlased Marx ja Engels aga, olles stiihulist töölisliikumist kõigekülgselt uurinud, tulid järeldusele, et ainult proletaarne revolutsioon ja proletariaadi diktatuur võivad lahendada töölisliikumise. See tähendabki, et teadusliku kommunismi teooria ilmus proletariaadi klassivõitluse praktika üldistusena.

Marksismi kui teaduse iga samm edasi on lahutamatu seotud proletariaadi revolutsioonilise praktikaga. Võtkem näit. Marxi poolt riigist ja proletariaadi diktatuurist õpetuse arendamine. „Marxi õpetus on ka siin nagu alati valgustatud sügavast filosoofilisest maailmavaatest ja ajaloo kogemuste kokkuvõtte rikkaliku teadmise²³.“

Veel „Saksa ideoloogias“ 1845.—1846. a. ja „Kommunistlikus manifestis“ 1847. a. annavad Marx ja Engels proletariaadi diktatuuri küsimuse üldise asetuse, järeldades proletariaadi diktatuuri paratamatust kõigi seniste sotsiaalsete revolutsioonide kogemuse üldistusena. 1848.—1851. a. uue kogemuse põhjal tuleb Marx kodanliku riigiparaadi purustamise vajaduse järeldusele. Pidades valjult kinni ajaloolise kogemuse faktilisest alusest, jätab Marx lahtiseks küsimuse, millega asendada hävitamisele kuuluv kodanlik riigiparaat. Materjal selle küsimuse otsustamiseks anti Pariisi 1871. Kommuuni ajaloo poolt.

„Massilises revolutsioonilises liikumises, kuigi see ei saavutanud eesmärki, Marx nägi määratu tähtsusega ajaloolist kogemust, teatud sammu edasi ülemaailmsele proletarsele revolutsioonile, praktilist sammu, mis on tähtsam kui sadu programme ja arutlusi. Analüüsida seda kogemust, tuletada sellest taktika õppetunde, vaadata selle alusel üle oma teooria — nõnda seadis Marx oma ülesande²⁴.“

Pariisi Kommuuni kogemuse põhjal Marx töötas välja kapitalismist proletariaadi diktatuuri kaudu sotsialismile üleminekuks tõhusa, revolutsioonilise teooria, mis geniaalselt näitas teed proletariaadi edasisele revolutsioonilisele võitlusele. Lenin osutab, „et Vene 1905. ja 1917. aasta revolutsioonid jätkavad teises olukorras ja teistes tingimustes Kommuuni teed ning kinnitavad Marxi geniaalselt ajaloolist analüüsi²⁵.“

Teine näide sellest, kuidas proletariaadi klassivõitluse revolutsiooniline praktika on marksistlik-leninliku teooria arenemise aluseks ja ajendavaks jõuks. Kirjutades Oktoobri-revolutsiooni eelõhtul 1917. a. raamatu „Riik ja revolutsioon“, näitas Lenin, et sotsialismilt kommunismile üleminekul kulgeb ühiskonna arenemine hiiglatempos, kuid faktidel põhjendatult loobus ta vastamast küsimusele selle kohta, milliseid teid kaudu toimub kapitalismilt sotsialismile üleminekul vaimse ja füüsilise vastandlikkuse kaotamine²⁶.”

Sellele küsimusele vastamine sai võimalikuks alles stahhanovliku liikumise arenemisega Nõukogude Liidus. Üldistades stahhanovliku liikumise uut kogemust, formuleeris Stalin tuntud väite sellest, et vaimse ja füüsilise töö vastandlikkuse kõrvaldamine toimub „ainult tööliklassi kultuurilis-tehnilise taseme insener-tehnilise töö tööliste tasemeni tõusu alusel“²⁷.” See stalinlik teoreetiline väide läks praktilise eesmärgina ÜK(b)P XVIII kongressi otsustesse kolmanda viisaastaku plaani kohta.

Nii on revolutsiooniline praktika revolutsioonilise teooria ajendavaks jõuks, mis tõukab teooriat edasi ning annab teoreetiliseks üldistuseks praktilist materjali.



Praktika osa tunnetusprotsessis ei piirdu veel sellega, et ta on tunnetamise lähtekoht, sest praktika on ühtlasi tunnetuse õigsuse, objektiivsuse kriteeriumiks. „Oma praktikaga tõendab inimene oma ideede, mõistete, teadmiste ja teaduse objektiivset õigsust“²⁸.”

Inimliku tunnetamisega saavutatud tões peab kontrollitama, et selguks objektiivne tõde. Selleks ei ole küllalt kaemusest, mõtisklemisest, vaid on jällegi vajalik praktika kõige laiemas mõttes, praktika kui „elu“, kogu inimlik praktika. Seltsimees Stalin räägib töös „Dialektilisest ja ajaloolisest materialismist“ praktika osast tunnetusprotsessis:

„... marksistlik filosoofiline materialism lähtub sellest, et maailm ja tema seaduspärasused on täiesti tunnetatavad, et meie teadmised loodusseadustest, mis kogemuse, praktika poolt on järele proovitud, on usaldusväärsed teadmised, millel on objektiivsete tõdede tähendus...“²⁹”

Praktika kriteerium annab võimaluse kontrollida teaduslike teooriate tõelikkust ning kinnitab teoreetiliste väidete õigsust. Vene esimese revolutsiooni perioodil töötas Lenin välja kodanlik-demokraatliku revolutsiooni sotsialistlikuks ülekasvamise teooria. Revolutsiooni käik kinnitas leninliku teooria õigsust. 1915. a. arendas Lenin oma geniaalse teooria sotsialismi võidu võimalusest ühel, eraldi võetud maal. Proletaarse revolutsiooni võit 1917. a. ja sotsialismi ülesehituse edukas toimumine NSV Liidus kinnitasid praktiliselt geniaalset leninlikku teooriat.

Mitte ainult ühiskondlikud teooriad, vaid teaduse kõik tõelised väited kinnitatakse praktikas. Näiteks uus agrotehniline võte — tõustamine (jaroviseerimine) — on järele proovitud praktikaga määratus hulgas kolhoosides ja sovhoosides. Saagi suurenemine on tõustamise efektiivsuse parimaks tõestuseks. Iga tööpäeva kohta, mis kulutatakse kartuli külvimaterjali tõustamiseks, tuleb mitte alla 2 tsentneri lisasaaki. Praktika mitte ainult kinnitas tõustamise teooriat, vaid tugevendas ka põllumajanduse praktiliste töötajate usku sellesse teooriasse.

Praktika kriteerium aitab paljastada vananenud, äraelanud teooriat, mis on lakanud tegelikkusele vastamast ning on saanud arenemise pidurdajaiks. Õige teaduse jõud seisab selles, et ta praktika kriteeriumi abil läheb julgelt oma teooriate kontrollimisele ja järgib

juhgelt praktika häält, kui viimane tõendab nende või teiste teooriate väärust või vananemist. Seltsimees Stalin õpetab³⁰, et õige teadus peab olema revolutsiooniline. Sellise teaduse jõud seisab tema seoses praktikaga, võitluses vana ja iganenuga.

Praktikaga lahutamatu seotud teadus murrab vanad traditsioonid ja normid, asendades need uutega. Nii kummutasid stahhanovlased tööstuses vananenud normid ja püstitasid uued normid vastavalt teaduse ja tehnika nõudeile. Seltsimees Stalin esimesena nägi ja mõistis stahhanovliku liikumise määratud tähtsust, avastas selle uudsuse, mis tekib masside töösse suhtumises. Sellele uuele orienteeris ta partei ja tööliisklassi.

Teaduse ja praktika ühendamise klassikaliseks eeskujuks on seltsimees Stalini tegevus kodusõja aastail. Seal, kus kontrrevolutsioonilised jõud ähvardasid nõukogude võimu olemasolu, sinna ilmus seltsimees Stalin, võttis juhtimise oma tugevatesse kättesse ning lõi murrangu. Nõnda oli Tsaritõnis, nõnda oli idarindel, nii oli Petrogradi rindel, kus seltsimees Stalin „kummutas mereteaduse“, organiseerides rünnaku merelt ja maalt, nii oli lõunarindel, kus Stalin hülgas Trotski kahjuliku plaani ning esitas ja teostas Denikini jõukude purustamiseks oma plaani. Stalinliku strateegia klassikaliseks eeskujuks on ta plaan võitluses Judenitšiga Petrogradi juures, kus ta praktiline vahelesegamine kindlustas võidu ja tõi paranduse olemasolevasse mereteadusse.

Oma aruandes esimese viisaastaku tulemusist ÜK(b)P KK ja KKK ühendatud pleenumil 7. jaanuaril 1933 kriipsutas seltsimees Stalin alla inimeste praktilise tegevuse tohutut osa võitluses sotsialistliku ühiskonna ülesehitamise eest. Viisaastaku nelja aastaga teostamise praktika kummutas täielikult kodanlike ja sotsiaaldemokraatlike tegelaste „teooriad“ viisaastaku plaani teostamatusest, sotsialismi ülesehitamise võimatusest ühel maal ja kapitalistliku majandussüsteemi paremusest.

Seega praktika mitte ainult ei kinnita tegelikkust õieti kajastavaid teaduslikke tõendusid, vaid ka lükkab ümber edasiliikumist pidurdavad õpetused. Seejuures tuleb aga arvestada, et praktika kriteeriumi mõju maht ja ulatus määratakse absoluutse ja suhtelise tõe üldise vahekorraga tunnetuses. Lenin ütleb:

„... Ei tule unustada, et praktika kriteerium ei või asja olemuse tõttu kunagi täielikult kinnitada või ümber lükata mistahes inimlikku kujutelmale. See kriteerium on ka niivõrd „ebamäärane“, et mitte lubada inimeste teadmisel „absoluutseks“ muutuda, ja samal ajal niivõrd kindlakujuline, et pidada halastamatut võitlust kõigi idealismi ja agnostitsismi teisenditega³¹.“

See Lenini väide kinnitab täielikult absoluutse ja suhtelise tõe vahekorra küsimuse marksistlikku lahendust tunnetusprotsessis. Ei saa absoluudistada praktika osa tõe kriteeriumina. Praktika kinnitab teadmiste arenemise objektiivset käiku, kuid ei püstita absoluute, sest tegelikkuse tunnetamise protsess on lõp m a t u, sest „kogemus on alati lõp e t a m a t u³²“. Absoluutne tõe koostatakse reast suhtelistest tõdedest, igas suhtelises tões on inimsoo konkreetsel arenemisastmel tera absoluutset tõtt.

Lähtudes praktika kui tõekriteeriumi mitterõistmisest ning absoluutse ja suhtelise tõe vahekorra mitterõistmisest, süüdistasid machistid marksiste dogmatismis. Paljastades machistide absoluutset relativismi, kirjutas Lenin:

„Kuna aga praktika kriteerium, — s. o. kõigi kapitalistlike maade arenemiskäik viimaseil aastakümneil, — tõendab vaid Marxi k o g u ühiskondlik-majanduslikku teooriat üldse, aga mitte selle ühe või teise osa, formuleeringu jne. objektiivset tõe, siis on selge,

et rääkida siin marksistide „dogmatismist“, tähendab teha andestamatut järeleandmist kodanlikule majandusele. Ainus järeldus sellest marksistide poolt jagatud arvamisest, et Marxi teooria on objektiivne tõde, seisab järgmises: minnes Marxi teooria teed mööda, meie läheneme üha enam ja enam objektiivsele tõele (mitte kunagi tühjaks ammudades seda); minnes aga igasugust teist teed mööda, meie ei või jõuda mitte-millelegi peale segaduse ja vale³³.“ Selliselt on marksistlik teooria edasi arenenudki.



Marksism seisab teooria ja praktika liitmise eest. Teooria ja praktika lahutamatus ühtsuses on aluseks praktika, kuid ka teooria mängib tohutut osa, avades edasiliikumise perspektiive, mobiliseerides ja organiseerides, valgustades teed praktikale.

Teooria muutub suurimaks materiaalseks jõuks, kui teda valdavad massid. Et olla bolševistlikku tüüpi juhiks, õpetab meid seltsimees Stalin, peab endas teoreetilist võimsust ühendama proletaarse liikumise revolutsioonilise kogemusega.

¹ Lenin, Teosed, XIII k., lk. 112.

² K. Marx ja F. Engels. Teosed, XIV k., lk. 114.

³ V. Asmus. „Ülevaade dialektika ajaloost uues filosoofias“, 1929, lk. 44.

⁴ J. Milner. „Spinoza“, lk. 119. Spinoza ütleb: „Kõik sünnib fataalse paratamatusega.“ (B. Spinoza. Kirjavahetus, lk. 191. 1932). „Ma tunnustan kõikide asjade ja tegevuse fataalset paratamatust.“ (Sealsamas, lk. 218.)

⁵ K. Marx ja F. Engels. Teosed, IV k., lk. 589.

⁶ V. I. Lenin, „Filosoofilised vihikud“, lk. 203.

⁷ V. I. Lenin, „Filosoofilised vihikud“, lk. 184.

⁸ K. Marx ja F. Engels. Teosed, III k., lk. 639.

⁹ K. Marx ja F. Engels. Teosed, III k., lk. 639.

¹⁰ K. Marx ja F. Engels. Teosed, IV k., lk. 16—17.

¹¹ J. Stalin, „Dialektilisest ja ajaloolisest materialismist“, lk. 23, 1939. a. väljaanne.

¹² Lenin, Teosed, XIII k., lk. 116.

¹³ K. Marx ja F. Engels. Teosed, XIV k., lk. 645.

¹⁴ Karl Marx, „Kapital“, I k., lk. 119, 1932. a. väljaanne.

¹⁵ K. Marx ja F. Engels. Teosed, XIV k., lk. 645.

¹⁶ K. Marx ja F. Engels, Kirjad, lk. 374, 1931. a. väljaanne.

¹⁷ K. Marx ja F. Engels. Teosed, XIV k., lk. 406.

¹⁸ V. I. Lenin, „Filosoofilised vihikud“, lk. 183—184.

¹⁹ K. Marx ja F. Engels. Teosed, XIV k., lk. 39.

²⁰ K. Marx ja F. Engels. Teosed, IV k., lk. 589.

²¹ K. Marx ja F. Engels. Teosed, III k., lk. 147.

²² J. Stalin, „Leninismi küsimused“, lk. 14, II. väljaanne.

²³ Lenin, Teosed, XXI k., lk. 402.

²⁴ Lenin, Teosed, XXI k., lk. 393—394.

²⁵ Lenin, Teosed, XXI k., lk. 436.

²⁶ V. I. Lenin, Teosed, XXI k., lk. 436.

²⁷ J. Stalin, „Leninismi küsimused“, lk. 495.

²⁸ V. I. Lenin, „Filosoofilised vihikud“, lk. 184.

²⁹ J. Stalin — „Dialektilisest ja ajaloolisest materialismist“, lk. 12—13. (M. N. sõrendus.)

³⁰ J. Stalin, „Leninismi küsimused“, lk. 502.

³¹ Lenin, Teosed, XIII k., lk. 116.

³² V. I. Lenin, „Filosoofilised vihikud“, lk. 174.

³³ Lenin, Teosed, XIII k., lk. 117.

³⁴ J. Stalin, „Leninismi küsimused“, lk. 11.

Müüdi mind

Mürk sõi peagi rõõmsa meele,
saatus ränk sai saatjaks teele,
pole piiri silmaveele,
sest mind kurja kaasaks kanti,
metsahunt mu meheks anti.

Mis on minul õnnest aimu:
kaitsmas pole ühtki kaimu,
keset rahva vaenu, laimu,
sest mind kurja kaasaks kanti,
metsahunt mu meheks anti.

Kas sa tahad või ei taha,
vanemaile meeldis raha,
võõrale mind müüsid maha,
kurjale mind kaasaks kanti,
metsahunt mu meheks anti.

Mammon köitis onupoega,
tädi riided uhke moega,
nii mind paari pandi soega,
nii mind kurja kaasaks kanti,
metsahunt mu meheks anti.

Kes must hoolis; taat sai kulla,
sõnad peale luges mulla,
et võiks pikad piinad tulla.
Nii mind kurja kaasaks kanti,
metsahunt mu meheks anti.

Kellelgi ei hakand hale,
naaber, kellel vaikiv pale,
avitas mu sadulale.
Nii mind kurja kaasaks kanti,
metsahunt mu meheks anti.

Raske töö mul murdis piha,
murepõlv sõi luudelt liha,
ümber vananaiste viha.
Sest mind kurja kaasaks kanti,
metsahunt mu meheks anti.

Pale viimse puna kaotas,
mees mind peksis, põrmu vaotas,
öö end minu ellu laotas,
sest mind kurja kaasaks kanti,
metsahunt mu meheks anti.

Keegi muresid ei jaga,
koos ei istu halajaga,
üksi nuuksu, nuta aga,
et mind kurja kaasaks kanti,
metsahunt mu meheks anti.

Ihnus

Naljahammas ihnuskoile
ükskord ütles: Tahad, ma
räägin oma unenägu,
ainult ära pahanda.

Mis siis sellest pahaks panna,
räägi aga, kallid vend.
Tea siis, nägin, et su majas
kaelani ma täis sõin end.

Ihnus sõnagi ei lausund,
jooksul koju tõttas vaid
ja seal ajas ehmund naise
majast välja sedamaid.

Sellest asjast kuulda saades
ütles ihnsale Kazi:
Kuigi sul võib õigus olla,
kõnele, miks tegid nii.

Õiglane Kazi, siis kuule:
Rind mul ausast vihast kees,
sest et unes minu leivast
sõandas süüa võõras mees.

Õöd ja päevad hirm mind vaevab,
sest siin hukatus on eos.
Vajan naist, kes minu moodi
oleks igas töös ja teos.

Et ta hoolsamalt kui taba
vara üle valvet peaks,
nü et teed mu toidukambri
keegi uneski ei teaks.

Muidu aga võib mu vara
varsti tuulde lennata.
Näed nüüd, et ta nuhtlust vääris,
sest ta oli — pillaja.

AUGUST SANG

FORMALISMIST

LEO SOONPÄÄ

Ette kantud Tallinnas Kunstihoones 12. V 1941.

Pravdas⁴ ilmus 1936. aastal rida artikleid, milledes konkreetsete näidete varal tehti kindlaks mõningate nõukogude kunstnike kallak formalismi ja naturalismi. Nii näiteks vaadeldi „Pravda“ 28. jaan. numbris Šostakovitši ooperit „Mtsenski maakonna leedi Macbeth“, mille muusikas ilmnevad formalistlikud tendentsid, 6. veebruari numbris käsitleti üht sama helilooja balletti, 1. märtsi numbris V. Lebedevi illustratsioon S. Maršaki lastejuttudele jne. Kõigile vaadeldavatele teostele ja nende loojaile heideti täiesti põhjendatult ette kalduvust formalismi ja naturalismi. See „Pravda“ poolt alustatud kampaania formalismi ja naturalismi vastu leidis elavat vastukaja kogu nõukogude ajakirjanduses. Ilmus artikleid „Komsomolskaja Pravdas“, „Literaturnaja Gazetas“, „Iskusstvos“ jt. Formalismi ja naturalismi küsimust valgustati põhjalikult ning jõuti nende suhtes üksmeelselt eitavale seisukohale.

Inimesele, kes kunstiküsimustest eemal on seisnud, paistab arusaamatu olevat, miks neid kahte „ismi“ nii kurjalt rünnati ja mis „ismid“ need üldse on. Eriti arusaamatu tundub see olevat inimestele, kes on kasvanud kodanlikus kunstimõistmises. Meie kodanliku ajajärgu kunstikirjutustes ja -kõnelustes vilksatas ainult harukordadel sõna „formalism“ — põhjalikumalt definitsiooni ega seletust ei ole talle antud. Naturalism on küll kunstipublikule pisut tuttavam sõna, kuid temagi mõiste ja olemus ei olnud paljudele selge. Igal juhtumil võeti meil naturalismi ja formalismi kui kaht vastandlikku nähtust kunstis. Seepärast võibki niisuguse mõttelaadiga inimesele paista imelikuna, kuidas võib üht teost korraga nii naturalismis kui ka formalismis süüdistada.

Ometi need kaks voolu kunstis on üksteisega lähedalt sugulased. Kunstniku lähenemine oma ülesandele on mõlemas voolus üks. Ei naturaliste ega formaliste huvita kujutatava objekti sotsiaalne väärtus. Neile ei ole tähtis mis, vaid kuidas. Naturalist huvitub ainult sellest, kuidas looduse objekti tõetruumalt edasi anda. Tema silme ees on kõik olendid ja esemed üheväärsed. Kujutatava objekti ideelistest väärtustest ta ei tea midagi ega tahagi midagi teada. Täpselt samuti toimib formalist — tedagi ei huvita kunstiojekti sotsiaalne väärtus, temale on looduseesemed ainult substraadiks, millel ta oma värvifantaasiat mängida laseb või mille vorme ta oma „subjektiivse nägemise“ kohaselt väänab.

Formalism ja naturalism pole juhuslikud nähtused. Neil on kindlad juured omaaja üldises mentaliteedis.

Ilma materiaalsesse baasi süvenemata vaatame selle mentaliteedi mõningaid väliseid avaldusi.

Kant näit. oma „Puhta mõistuse kriitikas“ arvab, et inimesel üldse pole võimalik tõelist maailma tunnetada. Inimene elavat ainult nende kujutluste keskel, mida ta saab oma

mõistuse- ja vaatlusevormide abil — asjade tõeline olemus — „Ding an sich“ — jäävat talle igaveseks saladuseks.

Terve rida filosoofe haaras kinni sellest õpetusest, seletades seda omamoodi ümber — ja nii tekkis ametlik kateedrifilosoofia, mis pikapeale laiematesse massidessegi imbus. Dialektiline materialism ja teaduste progress ähvardasid XIX sajandi lõpul Kanti idealistlikku süsteemi kummutada. Kapitalistlik ideoloogia, millele Kanti õpetus oli niisama kasulik kui ristiusu kiriku õpetus, tundis vaistlikult oma alused kõikuma löövat ja ta organiseeris vastulöögi. Kerkib rida filosoofe, kes idealistliku mõttesuuna äärmusse viivad. Dialektilise materialismi kollektiivsele põhimõttele seatakse vastu individualistlik, ego-tsentriline maailmavaade. Subjektivistlik idealism ajab oma kõige kummalisemad õied solipsismis. Selle „maailmavaate“ esindajad Schubert-Soldern, Kauffmann, Rehmke jt. ei tunnista peale oma „mina“ midagi. Nendele on maailm ainult „mina“ kujutus, looming. Loogiliselt on need süsteemid osavalt üles ehitatud, kuid praktiliselt pole nendega midagi peale hakata. Seepärast ei leia nad ka teed laiematesse hulkadesse.

Osa idealiste esinevad quasi-materialistidena. Nii Mach, Avenarius jt. Need „empirikrititsistid“ tunnistavad ainuõigeks tunnetuse vahendiks inimese aistingud. Kuid nemadki arvavad, et maailma tõeline pale jääb tunnetamata. Nende õpetuse seisukohalt on inimene ainult oma aistingute produkt. Kui meie meeled „rikki“ läheksid, kujuneks empirio-krititsisti arvates maailm hoopis teissuguseks, kui me seda praegu tunneme. Nagu näeme — jälle seisame „Ding an sich“ ees, jälle peame jätma lootused tõelise maailma dešifreerimiseks.

Kui need idealistid maailma tunnetamises siiski mõistusele peaosa jätavad, siis idealistide teise tiiva mehed ei näe mõistuses inimsoo relva. Juba Ed. v. Hartmann oma alateadvuse filosoofiaga avab väravad poolmüstilistele, poolmõistuspärasele spekulatsioonile maailma ja inimese olemuse üle. Henri Bergson oma intuiitse tunnetamise õpetusega sammub juba avalikult mõistusest lahus. Ratsionalismi asendab irratsionalism. Psühholoogias hakkavad uurijaid üha rohkem huvitama alateadvuse probleemid. Sigmund Freud, Adler, Jung jt. rajavad psühhoanalüütikute kooli, kus unenägude ja amorfsete elamuste kaudu tahetakse avastada inimhinge tõelist olemust. Hinge „sealpoolne“ nihkub ikka rohkem psühholoogide huvide fookusse. Spiritism ja okultism ähvardavad juba saada tõeliste teaduste tiitli. Nimekas saksa psühholoog Max Dessoir tegeleb juba üsna tõsiselt näoga okultsete probleemidega ning inglise hingeteadlane Oliver Lodge on lausa veendunud spiritist.

Nendele ülikooli kateedri poolt tunnustatud teadusmeestele liituvad poolametlikud oma „süsteemidega“. Antroposofia, teosofia jne. on uuteks aspirantideks kapitalistliku Euroopa teaduste peres. Steiner, Blawatsky, Anny Besant, Charles du Prel — need on uued prohvetid. Samuti 'ähevad intelligentsi hulgas moodi igasugused „salaõpetused“. Vana India yogide tarkused, Talmudi õpetused, Kabbala, keskaegsed müstikud on suurmoeks.

See irratsionalism avaldub ka kirjanduses. Maurice Maeterlinck saab kirjanduse suurmeistriks, sest tema teostes peegeldub irratsionaalne idealism kõige puhtamal kujul. Venemaal lõikab loorbereid Leonid Andrejev oma kosmilise müstikaga. Sümbolite kaudu rääkimine on kirjanduse stiiliks seepärast, et nii usutakse „tunnetamatute“ asjade olemusele kõige lähemale jõudvat. See on kõik ju nii arusaadav: idealistide seisukohalt ei ole see tõelikkus, mida me näeme, tajume — nende arvates on tõelikkus hoopis midagi muud. Seepärast ei ole tähtis, et kunstnik kujutaks ümbritsevat loodust nii, nagu ta näeb, — tõele ta seega lähemale ei pääse.

Kunstnik oma loomingu kaudu peab aitama maailma tõelist olemust dešifreerida — nii õpetati. See vaade kunstniku kutsumusele kallutas paljusidki täieliku tobeduse teele. Huvi-tavamaks näiteks on siin „Rose + Croix“ (Roos ja Rist) episood. 1892. a. korraldati Pariisis kunstinäitus „Rose + Croix“ vendluse poolt. Kataloogi (mis muide kandis nimetust „Estee-tiline žest“) eessõna oli kirjutatud Peladan'i poolt — ning siin pöörduti paatoslikult kunstniku kui preestri, kunstniku kui võluri poole. Näitusest osavõtjad nimetasid end maagideks ja esteetideks. Nende embleemiks oli gootika roos. Nad olid maalijad, kuid pidasid endid ka muusikuteks ja õistel tundidel tegelesid nad vaimude väljakutsumisega. Kataloogis olid nende pildid, kus nad olid riietatud Kaldea maagidena. Näituse avamis-päeval pidasid nad Notre-Dame'i kirikus jumalateenistuse, kusjuures orel mängis Wagneri „Parsifali“. Orel vaikinud, tõmbasid nad põuest roosid ja ristasid need pistodadega. See oli kõik muidugi ülimal määral imetlusväärne — naiivsele pealtvaatajale.

Selle kunstnike grupi käitumises peegeldub suurema osa tolleaegse kunstnikkonna suhtumine oma kutsesse. Kunstnik tundis end rahvast eemal seisjana, kõrgemal seisjana, ning ta ei tahtnudki rahva nivoole „laskuda“. Kunstniku käitumine muutub omapäraseks, ta välimus erineb hariliku sureliku omast, tema kohta ei maksa tavaline moraal. Nii kisub kunstnik end lahti inimestest, lahti elust — põgeneb oma imaginaarsesse maailma ning elab oma kunstile. Rahvas, nähes niisugust temast kaugenemist, reageerib sellele kunstniku alavääristamisega. Ebapraktilist ja eluvõõrast inimest iseloomustades öeldakse: tal on kunstniku loomus. „Mitte sellest maailmast“ pärit olemine muutub kunstniku sünonüümiks. Nii katkeb side kunsti ja elu vahel.

Juba impressionistide loomingus hakkab avalduma ühiskonna mittearvestamine. Richard Haman oma raamatus impressionismi üle ütleb: „Impressionistlik moraal on täide-tud piiratud individualismist ja isegi egoismist... inimväärtuste hulgas karakterit ehk isik-sust asendab äärmiselt ebaterve subjektivism. See teisitiolemise individualism, see nõue olla kuidagi omapärane on meie aja eetika põhinõue.“ Impressionistide maailmavaade ühtub suurtes joontes subjektivistliku idealismiga. Nende usutunnistuseks on Machi õpetus, et maailm on ainult inimese aistingute kompleks, valguse ja värvi elamus. Nii ütleb Paul Signac: „Kui kunstnik seisab valge lõuendi ees, siis on ta esimeseks mureks otsustada, mis-suguste joonte kurvidega, missuguste vormidega seda liigendada ja missuguste toonidega seda katta.“

Kui impressionistidel oli lähtumispunktiks siiski loodus, siis nende järglased — *fau-ves*'id (Matisse'i koolkond), sümbolistid, dadaistid, kubistid, konstruktivistid, futuristid jne. lähtuvad kunstis ainult iseendast. Loodusevormid on neile heal juhul ainult inspireerijaks, kuid halvemal juhul muutub nende kunst omavoliliseks maalelementidega opereerimiseks. Nende kunstiloomingu printsiip leiab endale täpse vaste filosoofilises solipsismis.

Nüüsiis formalism kunstis tugineb idealistlikule filosoofiale, mille äärmine subjekti-vistlik tiib oli sureva kapitalismi viimne „ideeline“ endakaitse. Seepärast on kõigiti mõis-tetav, miks nõukogude kunst ei või sallida formalismi, miks formalism on sotsialistlikule kunstile otse kahjulik. Sotsialistliku kunsti põhimõtteks on Lenini ütlus: „Kunst kuulub rahvale!“ Tähendab, rahval on õigus kunstniku loomingust osasaamisele. Et see võimalik oleks, peab kunstikeel olema üldmõistetav. Selliseks üldmõistetavaks keeleks on realism, ning tõsine nõukogude kunstnik räägibki seda keelt.

CONSTANTIN MEUNIER' KAKS RELJEEFI TALLINNAS

VILLEM RAAM

Tallinnas Mere puiesteel nr. 17 asuvasse suurde kivivärvasse on sisse müüritud kaks vägagi tähelepandavat reljeefi, mida tavaline möödakõndija on osanud näha vist ainult juhtumisi. Reljeefid, mis on rangelt alistatud värava jõuliste profiilidele ja suletud arhitektuurile, pärinevad Belgia tuntuima skulptori Constantin Meunier' (1831—1905) ateljeest. On kahtlemata üllatuslik kohata euroopalise ulatusega suurmeistri teoseid Tallinna ühest üsna kõrvalisest majadeblokist, kunstihuvilisemagi üldsuse vaatepiirist kaugemale jäänud väikestes värava-niššides.

Värava vasempoolse käigu kohal asuv reljeef (suuruselt 64×83 cm) kujutab sümboliliselt kaubandust. Sadamakai ääres seisab laev ja rühm mehi on ametis selle lastimisega. Mõne üksiku iseloomustavama joonega on antud tabav kujutus laevast, kuna selle taustal on jõulises reljeefistiilis edasi antud hoogne tööprotsess. Paremal serval seisev hobusemees on oma töö nähtavasti juba lõpetanud, kuna kolm järgmist meest on tõstnud turjale kohale toodud materjali, et seda edasi toimetada tõstekraanale, millega on parajasti ametis viies tööline reljeefi vasemal serval. Hülgaslik keskmine figuur on dünaamilise kompositsiooni kandvaks teljeks, mille juures paremalt poolt rahulikult algav tööpinge jõuliselt välja lööb ja siis taas rahuneva kurviga ära pöördub kaugemal seisva kraanamehe juurde. Klassikalisele laadile lähenev ülesehitus toob elavalt esile tööliste karmid siluetid, kus julgelt kindel samm, lihastest pingul ülakeha ja sihiteadlikuks võitluseks terastunud näoprofiilid lubavad oletada neis peituvat rohkem kui ainult passiivset tööorja.

Värava parempoolse läbikäigu kohal olev reljeef (suuruselt 62×90 cm) on mõeldud sümboliks tööstusele. Rühm töölisi on erakordse liikuvusega pingestunud ühiseks ülesandeks lõomava kõrgahju ees. Võib ainult aimata tulest leegitsevat ahjusuud reljeefi paremal serval, kuid kompositsiooni enese kaudu loob kunstnik sellest seda jõulisema kujutelmaks. Kõik on nagu uppunud lõõskavasse kuumusse: poolalasti läikivad kehad, tõöst kurnatud, kuid jõulised ning karmid näod, pingsad käed, hoovad, rattad ja nahkpõlled. Meunier on selle kohta kord ise väga lihtsalt kirjutanud: „Minu suure kõrgreljeefi „Tööstus“ aineks on töömoment ühest klaasivabrikust. Suurtes põletatud savianumates on sulav klaas asetatud kõrgahju tugevasse tulle. Siin juhtub kas lühemate või pikemate vaheaegade järel, et mõni neist savianumatest lõhkeb ja vedel klaas ahju voolab. Kohkumatult tuleb nüüd lõhkenud anum asendada uuega. Kiiresti ruttab kohale selleks eriti varutud valverühm raudvankriga, millele toimetatakse valgeks hõõgutatud savianum. See on üks kõige raskemaid toiminguid, kui mõelda nende valge hõõguvuseni kuumutatud savianumate raskusele. Seal valitseb sagimine ning pörgulik liikumine, mis kestab ainult

mõned minutid ja mida olen püüdnud edasi anda oma reljееfis.“ (Walther Gensel, Constantin Meunier. Bielefeld und Leipzig 1907. Lk. 66.)

Mõlemad vaatlusalused reljееfid on pronksist, ilmastiku mõjul täiesti mustaks patineernud ja kattunud tiheda, sügavale sööbinud tolmukorraga. Nad on varustatud signatuuriga „C. Meunier“ ja alla servale on vaevu märgatavate tähtedega märgitud skulptori ateljee ja selle aadress, mille täpne lugemine aga ei ole enam võimalik. Nende andmete põhjal võime päris kindlasti oletada, et Tallinnas olevad pronksivalandid on teostatud otseselt kipsist originaalide järgi ja on väärtuselt nendega võrdsed. Kunas ja kuidas on mõlemad reljееfid Tallinna sattunud, selle kohta ei ole käesolevate ridade kirjutajal olnud võimalik hankida otseseid andmeid. Majaderühm, millega värv vahetult seoses on, kuulus endisele vabrikandile Rotermannile. Vanemate tööliste jutustuste järgi laskis Rotermann kõnesoleva värava kui ka lõunapoolse maja ehitada aastail 1909 ja 1910. Samal ajal olevat tellitud ka reljееfid, sest need kui tööstust ja kaubandust sümboliseerivad teosed tundusid värvakaunistuseks kõigiti sobivat. Meunier' surmast ei olnud siis veel kuigi palju möödunud, ta kuulsus aga üha tõsis, olles eriti hinnatud Saksamaal, kuna kodumaal Belgias ta seisis mõnda aega poliitilistel põhjustel isegi põlu all.

Meunier' ulatusliku loomingu keskseks ürituseks oli suurejooneline töö monument, mille lõplik realiseerimine aga kunstnikul kahjuks teostamata jäi. Kümme viimast eluaastat tegeles ta peaaegu ainult sellega, ja tulemuseks oli neli võimsat reljееfi: „Tööstus“, „Mäetööstus“, „Kaubandus“ ja „Lõikus“. Viis monumentaalset üksikfiguuri suure „Külva-jaga“ keskel täiendavad reljееfe nii sisuliselt kui kompositsiooniliselt. Peale Meunier' surma toimunud suurel erinäitusel Berliinis püüti neid üksikuid valmis monumentid liita ühiseks tervikuks, kuid ei jõutud kaugemale katsetustest, sest meister ei suutnud isegi veel lõplikult kujutella, millise ilme töö monument oleks pidanud saama. Meie poolt kirjeldatud kaks Tallinna reljееfi pärinevadki mainitud töö monumentide reljееfide seeriast, kuid selle vähendatud formaadis, nii nagu Meunier neid esialgu temale omases suuruses modelleeris. Neist „Tööstus“ langeb täpselt ühte monumentide viimisteldud reljееfiga, kuna „Kaubandus“ on detailides osaliselt erinev. See erinevus on küllalt tähelepanavaks seigaks. Teatavasti täiendas Meunier „Kaubanduse“ kompositsiooni peale esimest valu hiljem veel tunduvalt (vt. Walther Gensel, tsit. teos, lk. 66 jj.). Ta tõi reljееfi ülemise serva tunduvalt allapoole, lähemale figuuridele, et sel teel saavutada esialgsest suuremat tihedust ning monumentaalsust. Laevast on jäänud järele ainult mõned üksikud markeerivad jooned, keskmine rühm püsis peaaegu täpselt endisena, kuna hobusemees on tunduvalt täienenud. Vasempoolne seljaga vaatleja poole pöördunud seisev figuur on aga koti asemel endale vaadi võtnud ning seda veeretama kummardunud. Kirjeldatud parandused on palju lisandanud liikumist ja kompositsioonilist rütmielevust. Tallinnas olev reljееf esitabki huvitaval kombel Meunier' „Kaubanduse“ esimest kontseptsiooni. Säärasena pole see meile mitte vähem väärtuslik, ning teose kujunemise jälgimisel osutab ta võib-olla isegi suuremat huvitavust kui sama motiivi lõplik teostus.

Constantin Meunier' kunsti osatähtsus moodsa skulptuuri arendamises on mitmetigi pöördeline ja silmapaistev. Teda on nimetatud Millet' ja Courbet' traditsioonide jätkajaks töötava rahva kujutamisel kunstis. Kahtlemata on siin väliselt, puht-motiivilooliselt seisukohalt vaadeldes palju tõtt, kuid sisuliselt on Meunier sootuks midagi muud kui näiteks Millet' rahulikult staatilised ja sisemiselt veel harmoonilised talupojad. Meunier'ga algab



C. Meunier

Sepp



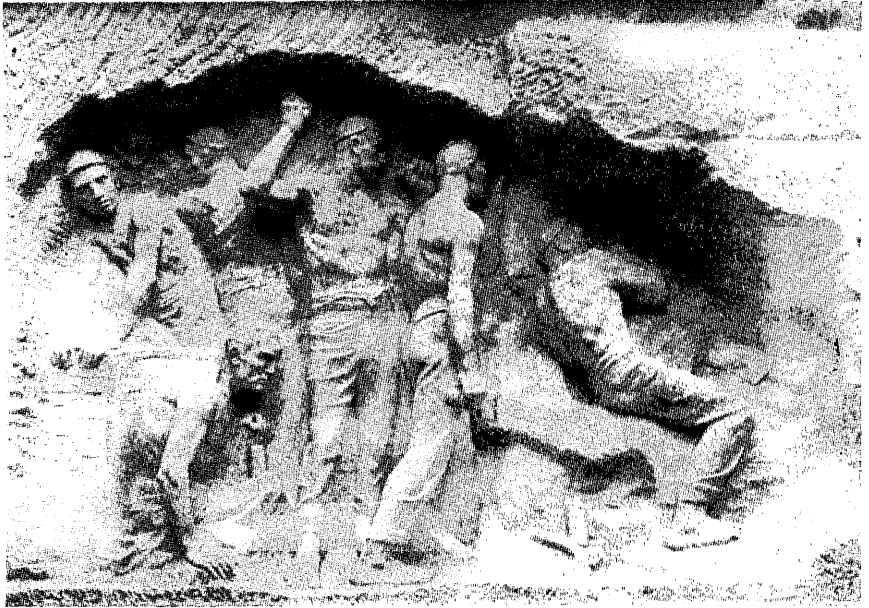
C. Meunier

Reljeef (Tallinnas)



C. Mennier

Reljeef (Tallinnas)



C. Meunier

Reljef



C. Meunier

Reljef

proletaarse töölise sissetoomine moodsasse skulptuuri ja moodsasse kunsti üldse. Ta ei vaatle töölisi mitte enam külma pealtvaatajana või sentimentaalse haletsejana, vaid ta kuulutab tema kaudu oma kunstis uut eetost, uut iseteadvust ja ranget tööpaatost. Oma elu esimesel poolel maalijana tegutsedes loob ta rea aktuaalseid maalinguid ja pastelle sadamate ning vabrikute miljööst. 55 aasta vanuselt siirdub ta äkki skulptuurile, kuid jääb siingi eelkõige maalijaks-skulptoriks, olles mitte niivõrd läbi imbnud ehtsast skulptoritundest oma materjali vastu kui selle maalilisest vormimisest valguse ja varju abil. Rodin'i voolavast vormist lähtudes arendab ta, osaliselt klassitsistlikele sugemeile toetudes, omapärase ning pieteedikalt summeeriva käsitluslaadi. Tugevas siluetis käsitletud figuurid, mis tavaliselt pole suuremad kui 50 kuni 60 cm, on suure monumentaalsusega tõstetud kõrgemale individuaalsete eriomaduste registreerimisest, nad on kujundatud heroilisteks tüüpideks täis sisemist edasiviivat dünaamikat.

UNENÄGUDE VABRIK

ILJA EHRENBURG

1. Zukor jääb mõtlema.

Üks ruutmeeter maad Broadwayl maksab enam kui suur mõis kõrvalises osariigis: see maa on kalleim kogu maailmas. Kalleimal pinnal kerkib taeva poole kalleim tempel. Selle vaatlemiseks tuleb pea taha kallutada: nii vaatasid inimesed kunagi jumalat ja tähti. 139 meetri kõrgust templit kroonib kolossaalne klaaskuppel. Öösi annab kuppel lennukeile signaale, päeval täidab ta möödujate südameid uhkusega. Templi ehitamine maksis ümmarguselt 16 000 000 dollarit. Kolmkümmend kuus majakorda. Kaksteist lakkamatult töötavat töstukit. Nelja ilmakaare poole vaatab neli hiiglaslikku numbrilauda: need näitavad New Yorgile kellaega. Templi portaal on kõrgem kõigi templite portaalidest, kõrgem Pariisi Jumalaema kiriku või Rooma Peetruse peakiriku portaalist. Templis on pimestavais mundreis teenrite hulgad, seal on marmor, pronks, vanaaegsed maalid. Seal kõlab tuhandete „Underwood’ide“ müra ja taevalike harfide õrn helin. Eurooplane-võhik võiks arvata, et see on börs või pank — eurooplane on ju võhik! Ei, see on tõesti tempel, uue kultuse pühakoda, ja see on pühendatud väsimatule apostlile — suurele „Paramount’ile“, kes eraelus on tuntud Adolph Zukori nime all.

Tempel on avar ja selles peetakse palju mitmesuguseid jumalateenistusi. All nutavad kahvatud neiud kahe armastaja hädade üle; kahekümne neljandal majakorral liidavad hingeldavad arveametnikud seitsmekohalisi arve; sisetubade vaikuses oigavad magamisasemeil kerged varjud — see on sanatoorium vaevatud ametnikele; kõige rahulikumas toas, pühimate uste taga pingutab nelja päeva jooksul nädalas oma harukordset mõistust mister Adolph Zukor.

Ameeriklasena pühitseb ta pühapäeva, juudina — laupäeva; tema puhkus algab järelikult reedel; ta puhkab kolm, töötab neli päeva. Täna on teisipäev ja Zukor on kohal. Ta vaatab läbi lauale kuhjatud pabereid. Kabinetis pole pealtnägijaid ja Zukor ei naerata: tema huuled kõverduvad, ta ei sarnle oma piltidega, mis on trükitud sajatuhandeis eksemplares. Kui ta naeratab inimeste juuresolekul, siis on see ainult hea südame ja asjaliku

püsivuse tunnuseks. Praegu on ta väga sünge. „Warner Brothers“ trumpas tema kavaluses üle. Ta ei uskunud kohe helifilmi tulevikku. „Warner Brothers“ hindas esimesena „Western Electric'i“ patenti. Nad valmistasid filmi „Džässilaulja“. Nende väike ettevõtte oli pankroti lävel — Zukor oleks võinud selle osta vähimagi vaevata. Nüüd hakkab „Warner Brothers“ võistleva „Paramountiga“. Ta kontrollib „First Nationali“. Ta ostab üles teatreid. Ja see kõik ainsa filmi tagajärjel! Muide, film on rumal — juudipoissi tahetakse rabiks kasvatada, poiss põikleb vastu, ta tahtvat saada näitlejaks...

Adolph Zukor unustab hetkeks ümbruse. Ta ei vaata enam pabereid arvudega — neid firma „Warner Brothers“ trofeesid. Ta näeb kollast küünalt, talmudi kavalaid täheköverikke ja „rebe“ kuivetanud kätt.

See pole uue helifilmi stsenaarium, need on ainult mälestused. Igal inimesel on õigus meenutada oma lapsepõlve, see õigus on isegi niivõrd murelikul inimesel, nagu on seda mister Zukor. Ta ei sündinud klaaskupli all, ta sündis kaugel siit, vagade juutide ja kaagutavate hanede keskel, keset viletsaid põlde ja jumalikku tarkust, väikeses Ungari linnakeses Riczes. Siis polnud maailmas veel maagilisi tselluloidlindikesi, mis toovad inimestele lootust ja tulu. Vagad juudid elasid siis vanamoeliselt. Väikese Adolphi onu härra Liebermann oli kõrgel ametikohal — ta oli sünagoogi vanem. Ta tahtis, et tema vennapoeg ärataks inimestes lootust, teiste sõnadega — ta tahtis poisist teha kroonurabi. Adolph pandi talmudit õppima. Ta õppis, missugust liha tohib süüa hea juut ja millal on talle lubatud elada seadusliku naisega. Ta mõtles patuseist paganaist ja kättemaksvast Jehoovast. Ümberringi käratsesid paganad — ungarlased; nad jõid ploomiviina, laulsid igatsevaid laule ja tapsid ülirasvaseid sigu. Adolph kordas tarkusest tulvil sõnu:

„Tuul puhub lõunasse ja suundub põhja, keerleb, keerleb oma teel, ja tuleb tagasi oma ringlemiselt.“ Kurvalt vilkus küünal. Akna taga kaagutasid haned.

See oli ammu, väga ammu — aastat nelikümmend tagasi. Adolph Zukoril olid siis ümmargused põsed ja unistav põskhabe. Ent ei maksa mõelda minevikule — Zukor on selleks liiga koormatud. Kui ta puhkab, segab ta kaarte, lööb reketiga valget palli, või mängib golfi. Praegu ta töötab. „Warner Brothers'i“ edu on ajutine. Iialgi ei õnnestu neil lüüa „Paramounti“! Niisiis asja juurde! Meil on Inglismaal: Londonis — „Plaza“ ja „Carlton“, Manchesteris — „Royal“, Birminghamis — „Futurist“ ja „Scala“... Sam Katz, meie esindaja Inglismaal, teatab, et me võime osta kuus teatrit Londoni aguleis. 14 000 kohta...

Klaaskupli all käib lakkamatu töö.

2. Uue ajastu algus.

Adolph Zukori elulugu on palju õpetlikum kui „Džässilaulja“ stsenaarium. Poiss ei keerutanud kaua põskhabeme käharaid ega kuulanud kaua hanede kaagutamist — ta polnud loodud abstraktseks mõtiskeluks. Rohkem kui kõik mõtted tuule tühisusest huvitasid teda protsentide reeglid ja gloobus. Rabi ei mõistnud midagi vekslite diskonteerimisest, ja rabi mõtles, et maa seisab paigal. Linnakeses juhtus olema õpetajaks härra Rosenberg. Ta seletas Adolphile, et maa pöörleb ja tiirleb. Siis lakkas Adolph õppimast talmudi mõistujutte. Ta hakkas lugema romaane. Ta luges Ameerika kullatsijaist ja Pariisi salaurkaist. Härra Rosenberg küsis aralt:

„Võib-olla tahad saada advokaadiks?“

Poiss krimsutas nina — kui palju teenib mingi provintsiadvokaat!... Ei, ta eelistab raha teha! Sünagoogi vanem andis poisi ohates ärisse — las õpi kauplema.

Kui Adolph sai kuueteistkümne-aastaseks, otsustas ta sõita Ameerikasse. Ta ei lugenud huvitavaid raamatuid asjata: laiaõlalisel ja ohjeldamatu kujutlusvõimega inimesel pole Euroopas midagi peale hakata. Adolph saabus New Yorki kahekümne viie dollariga ja hea isuga. Ta töötas meistriabina tapetitöökojas. Hiljem vahetas ta tapetid karusnahkade vastu: temast sai köösner. Ta oli leidlik ja armastas tööd. Ei möödunud kümnet aastatki, kui ta avas oma äri Chicagos.

Ideede esmakordsuse üle vaidlevad nii paljudki: nii ameeriklased kui prantslased kinnitavad, et nemad leiutasid kino. Muidugi, „Paramount“ on loodud Adolph Zukori poolt, kuid võib möönda, et temalgi oli teatav eelkäija. Zukor müüs Chicagos daamidele karusnahku. Tema onupoeg Max Goldstein lonkis New Yorgi tänavail. Onupoeg otsustas avada passaaži, kus lastele ja päevavargaile näidatakse liikuvaid pilte. Zukor on perekondlike põhimõtetega ja taibukas inimene; ta andis Goldsteinile kolm tuhat dollarit. Ettevõtlik Goldstein laostus peagi; dollarite asemele sai Zukor „passaaži“ mingisuguse rumala ajaviitega. Zukor ei hakanud nukrutsema. Ta hülgas karusnahad ja hakkas tegelema „piltidega“. Kiiresti laiendas ta ettevõtet. Ta ostis mõned teised passaažid ja „rändvagunid“, kus hämmastunud päevavargaile näidati koski mägedes.

Kell viis hommikul. Öö läbi töötanud, tuleb Zukor tagasi koju. Allmaarauttee. Nukralt kõiguvad varjud — karmid suurlinna varjud: ettekandjad öölokaalidest, tööliselised, prostituudid, kes ei leidnud kliente, igavesele vaesusele mõistetud põõbel.

Ühes rütmis teistega kõigub Zukor nukralt. Järsku ilmub tema näole naeratus, silmad avanevad, muutuvad suuriks ja meeletuiks. Naaber vahe-

tab ehmunult kohta. Ent Zukor ei mõtle naabrile. Ta on mööda lasknud oma peatuse, ta ei näe ega mäleta midagi. Mitte asjata ei ütelnud ta alati, et südame põhjas Adolph Zukor pole poodnik, vaid kunstnik. Nüüd on tal inspiratsioon.

„Ma hakkam valmista pilte kuulsate näitlejatega!...“

Ütelge ruttu, kes on kuulsaim näitleja?... Varjud vaikivad. Rattad mürisevad ükskõikselt. Muidugi, too prantslanna!... Aga kuidas on ta nimi?... Meenus — Sarah Bernhardt! Kes ei tunneks seda nime? Isegi sünaagoogi vanem, ka tema on kindlasti kuulnud Sarah Bernhardtist. Tulevik on kindlustatud! Nüüd on ainult üks takistus: tuleb hankida dollareid.

See oli ammu — naised kandsid siis veel mahukaid korsette, ja sotsialistid olid veel üllad unistajad. XIX sajand oma lustmängude ja sõnamängudega ei tahtnud kaua leppida surmaga. Päeval peitus ta pelglikult, päeval undasid vaenuliselt keerulised masinad, tänavail kõlasid kõrvulukustavad autosignaamid, uus elu oli rahuldunult jõhker. Fordi tehases rabeles juba kuulus „lint“. Taltsutatud Niagara hakkas tootma kilovatte ja orjust. Philadelphias ehitati võimsaid vedureid Kanadale ja Austraaliale; Philadelphias nagu teisteski maailma linnades elasid inimesed kiirustades. Vahel vaatasid nad taevast: seal näitasid end esimesed lennukid; ent sagedamini vaatasid inimesed maapinnale: elatumine muutus üha raskemaks. Ilmusid autobused. Sagenesid enesetapmised. Kohmetult seletasid professorid oma kuulajaile, mis on trust. Vabariiki ilmus tubli sadakond kuningaid: ölikuningad, terasekuningad, vasekuningad, puuvillakuningad. Saabus tõelise demokraatia ajastu: treialit võrreldi lihttöölisega. Haavunud unistajad heitsid pomme — buržuaade, politseinike, lihtsalt möödujate peale. Edisoni firma, soovides hävitada Westinghouse'i firmat, tegi ettepaneku roimarite hukkamiseks kõrgepinge-voolu kasutada; labane nõor asendati elektritooliga. Kiiresti kasvasid äride pearaamatud, veelgi kiiremini kasvas ahastus.

Ent õhtul, kattudes sinkja uduga, hiilis möödunud sajand uuesti inimeste juurde. Ümmarguste laudade kohal põlesid veel koduselt lambid, naised püüdsid veel lugeda sentimentaalseid romaane, lapsed mängisid veel dominot ja muid aegunud mängu. Teatrid lavastasid toredaid oopereid, revüüsid ja keerulisi naljamänge. Teatreis käidi harva nagu külalisõhtuil, naised puuderdasid end vargsi, ja mehed panid kaela kõrge krae. Fuajees jalutades silmitsesid pealtvaatajad üksteist kaastundlikult nagu ühisest pidust osavõtjad. Vaheaegadel söödi šokolaadikompekke ja kõneldi ideedest. Tantsiti ainult ballidel, tantsiti vanu tantse: unistavat valssi või kadriilli. Elumehed käisid baarides, kus snooblikud prostituudid tantsisid cakewalk'i. Tavalised inimesed sattusid õhtul segadusse: nad ei teadnud, mida

teha jõudeajal. Olles harjunud päeval ruttama, ei saanud nad lihtsalt unistada, istudes perekonnapea tugitoolis. Pärast masinate müra, pärast autobuste raginat, pärast arvestusi ja vilesid ei suutnud nad samuti lugeda ega vaielda.

„Kas me ei läheks Smithide juurde? ...“

„Ei, olen väsinud ...“

„Täna mängitakse „Odeonis“ Ibseni uut näidendit ...“

„See jumps on mind tüüdanud ... Ja pealegi — ümber riietuda ... Aga olen nii väsinud ...“

„Jutusta mulle midagi ...“

„Olen väsinud ... Mõistad — olen väsinud! ...“

Nad istuvad vastamisi — Jenny ja Jack, Anna ja Karl, Jean ja Louise, nad istuvad ja vaikivad. Nende kohal põleb veel hubane lamp, kuid selle kollases valguses pole rõõmu ega rahu. Nad tahavad üht — lahkuda elust, arvude juurest, kruvide, masinaklahvide juurest, suurest tühisusest ja suurest üksindusest. Nad ei loe — raamatus on ju nii palju lehekülgi, ja raamatut lugeda on raske — tuleb taibata, meenutada, juurde mõelda: kes on kangelane, miks naeratab naiskangelane, kus nad elavad, missuguses linnas, millise lambi all? ... Mida võivad nad pika õhtuga peale hakata? ... Nad istuvad ja vaikivad kõigis Uus- ja Vana-maailma linnades, õnnetud sunnitöölised kolme vaba tunniga.

See oli ammu. Enne meie ajastut. See oli enne kino.

Adolph Zukor ütleb Elya Lichmanile:

„Kui annate mulle viis tuhat dollarit, siis teenite hästi. See on kõige tasuvam äri. Praegu pole inimestel sobivaid ja odavaid meelelahutusi. Teater on nagu käsitööriist või hobune. Me peame asja korraldama uuel viisil. Kas arvate, et võib teenida ainult suhkru või siidi pealt? Muidugi, inimesed tahavad hästi süüa, hästi riietuda. Aga inimesed pole loomad. Ma ütlen seda kui ungarlane ja juut, kui kunstnik ja filosoof. Inimesed tahavad ka unistada. Nad peavad tingimata nägema ilusaid unenägusid. Noh, hakkame tootma unenägusid, valmistame huvitavaid ja odavaid unenägusid. Annate mulle viis tuhat, mõne aasta pärast saate viissada. Vaadake inimesi — nad tahavad illusioone. Sellega võib kuulmatult teenida ...“

Lichman kuulab Zukorit. Lichman ei taipa midagi filosoofiast, teatreist ega illusioonidest, kuid Lichman usub Zukorit: Zukoril on hea haistmine. Lichman annab Zukorile 5000 dollarit.

Zukor ei tüsσανud Lichmani, ta eksis ainult veidi arvu suhtes; ta lubas Lichmanile 500 000. Möödus kuus aastat — Lichmanil olid Zukori esimese ettevõtte aktsiad, mille eest ta maksis 5000. Ta küsis — kui kõrge on täna

Zukori kurss? Harjumuse mõjul mõtles ta „Zukori“, aga mitte „Paramounti“ kurssi. Vastus pani ta muigama: ta hoidis käes 800 000 dollarit. Pagan võtaks, see Zukor ei eksinud! Tema unenäod osutusid palju kasulikumaks õlist, kullast ja margariinist.

3. Kui sõda, siis sõda!

„Esimene Ameerika sõdurite transport saabus Prantsusmaale!...“ Poisid vehivad ägedalt ajalehtedega. Kusagil ookeani taga muljuvad inetud tankid okastraati ja liha. Välihaiglate magamisasemeil tõmblevad näota inimesed: neid põletati. Käteta inimesed: nad on puruks raiutud; kopsudeta inimesed: nad on mürgitatud; need on üha uuenevad laibad, see on inimliha kaalu järgi. Homme tulevad nende hulka ameeriklased. Pole midagi parata — me kaitseme oma suuri ideaale!...

President Wilson peab uue kõne väikeste rahvaste vabadusest ja süütute naiste kannatusist, keda, nagu teada, uputasid barbarid. Kahekümnendal majakorral, Chicagos või Philadelphias, katab ameerika naine nutetud silmi: eile saatis ta oma Johni. Ent börs säilitab rahu, börs usub tellimistesse, tuludesse, võitu, tsivilisatsiooni. Usub börs, usub natsioon, usub maailm.

Adolph Zukor ei mõtle praegu võidule. Ta on sünge. Mis viga sajabrot-sendilistel jänkidel, aga Zukoril on kaks isamaad, arvestamata kolmandat, töötatud maad. Viimse päevani enne sõja puhkemist saatis ta oma onule, sünagoogi vanemale, hinnalisi ameerika dollareid sugulaste ja samausuliste jaoks. Nüüd lõigati tema perekond kaheks tükiks: ühed võitlevad kaksik-impeeriumi eest, teised — Wilsoni neljateistkümne punkti eest. Zukor on perekonna pea. Alati juhib ta perekondlikke nõupidamisi, kus otsustatakse Zukorite, Kaufmannide ja Kone'ide asju. Onu Kaufmann on arhitekt, ehitab teatreid, onu Kone töötab üürimise alal — nad kõik on vere ja „Paramounti“ aktsiate läbi seotud Adolph Zukoriga.

Võit?... Muidugi, Zukor on Ameerika patrioot, ta saabus siia kerjusena, nüüd on ta miljonär, ta on täis sügavat tänutunnet. Ent milleks tappa inimesi?... Kes vajab seda võitu?... Kas inimesed teenisid vähe ilma võiduta?... Tahtmatult meenuvad Zukorile tüütavad sõnad tuulest, sellest tuulest, mis pöördub tagasi oma ringlemiselt.

Jah, sõda on suur õnnetus, seda mõistavad kõik. Ent sõda on ka kasulik ettevõtte mitte ainult relvatehaste omanikele, sõda on kasulik ettevõtte kõigile taibukaile inimesile. Neli miljonit sõdurit — millega viita nende aega, kui mitte huvitavate piltidega?... Ekraan pole enam vaieldav uudis, palagan teenijaile ja lastele, see on ühiskondlik tarvidus nagu post või paberos-

sid. Uhes suurtükkide ja konservidega lossitakse laevadele tselluloidlinte. Heitnud pilgu Zukori lemmiknäitlejanna, võluva Mary süütule naeratusel, surevad sõdurid kerge südamega. Nad surevad, endastmõistetavalt, kõrgete ideaalide eest.

Kojujäänud ootavad võitu. Ent on raske täita jõudeaega ootusega. Ajalehtedel on trükimusta lõhn, kuid ärritatud kujutusvõime haistab muid lõhnu: vere, laipade, raibe lõhnu — see on sõja hõng. Kojujäänud ei tunne end hästi. Päeval nad rikastuvad, aga õhtul tunnevad hirmu; nad ronivad pimedaisse saalidesse nagu kaevikusse. Linal on lõbus, ahvatlev elu, ilma kindralstaabi kokkuvõteteta, ajalehtede krabinata, kuulamiseta — vist tuleb kirjajakandja! . . .

Zukor ei taha näidata sõjapilte: inimesed vajavad pettekujutlusi. Milleks näidata sõda, kui sõda on külje all? „Metro-Goldwyn“ kaotab kindlasti oma lahingufilmidega. Sel Goldwynil, või lihtsamalt üteldes — Goldfischil — on halb haistmine! Zukor hakkab valmistama sõjafilme, kuid mitte praegu; ta valmistab neid hiljem, kui sõda lõpeb.

Ühendriigid sõdivad Saksamaaga. Zukor sõdib „First Nationaliga“. Ta heitleb samuti näitlejatega: näe, näitlejad on kaotanud pea, neile ei piisa kõrgeist palkadest, nad tahavad ise filme valmistada. Neid abistab Wilsoni sugulane, kaval William McEddy. Kui näitlejad asuvad filme valmistama, mida hakkab siis tegema Adolph Zukor? . . . Ei, Zukor ei anna järele! Ta võitis juba Griffithi „United Artists“ filmiühingu juures. Peaasi — võimalikult rohkem teatreid! Kokku osta väikesilt teatripidajailt. Mitte ainult pilte valmistada — näidata neid. Marcus Lou uhkustab filmilindi pikkusega, Adolph Zukor — kohtade arvuga kinoteatris. Ta on kavalam kõigest: Loust, näitlejaist ja publikust.

Kui sõda, siis sõda! Zukori juuksed muutusid kohe halliks. Tal on piibelliku eraku juuksed, aga noore Taaveti süda. Akna all mürisevad trummid: sõdurid lähevad surma. Zukori õhukesed huuled on kokku surutud: Zukor läheb vastu võidule.

4. USA ja Adolph.

Teada saades, et tema vastu astus välja Ühendriikide valitsus, muigas Rockefeller põlglikult: ta teadis, et õli kuulub temale, ja ta ei kartnud mingeid seadusi. Eeskuju kohustab. Elu kuulub miljonäridele — äritseva Ameerika rahavürstidele. Milles on Zukor halvem Rockefellerist? . . . Kui õli elustab mootoreid, siis kino elustab südameid. „Paramount“ ei karda konkurentide paragrahve!

Zukor on järeleandlik võõraile nõrkustele: trustide-vastane seadus on hädatarvilik argade rahustamiseks. See seadus tuleb võib-olla avaldada,

kuid seda ei tule üldse rakendada. Ei saa piirata trusti kasvu, nagu ei saa piirata inspiratsiooni.

„Paramounti“ vastased asusid rünnakule. Nad süüdistavad Zukorit ebaseaduslikes intriigides — „Paramount“ tahtvat enda kätte koondada kogu kinotööstust: tootlust ja eksploatatsiooni. Ühendriiges kuulub talle 368 kino. Mõnes suuremas keskuses, näiteks Philadelphias, Dallases ja Jacksonis, on „Paramount“ üles ostnud eranditult kõik kinoteatrid. Zukor sunnib kinopidajaid võtma filme, jätmata neile valiku õigust. Ta nõuab, et kinoteatreis näidataks ainult tema filme. Ta võitleb välismaal teiste ameerika firmade vastu. Jah, see Zukor on liiga egoistlik, ning tal pole küllaldaselt patriootlikke tundeid! . . .

Ühendriikide valitsus muutub rahutuks. Ta nõuab, et „Paramount“ annaks allkirja, kohustudes loobuma edaspidisest kinoteatrite ülesostmisest, filmide üürimisest seeriata kaupa, lõpuks, püüdes piirata Ameerika filmide väljavedu. Ühendriikide valitsus peab silmas trustidevastast seadust.

Adolph Zukor naeratab lahkelt. Kõhklematult kirjutab ta alla: „Adolph Zukor“. Tuleb austada väikesi formaalsusi! Kohustava allkirja andnud, läheb Zukor üle tähtsamaile küsimusile. Meie ostame neli kinoteatrit Pennsylvanias. Juhendid „Paramounti“ esindajale: nõustume andma filme kinoteatrite omanikele ainult tingimusel, et nad hakkavad meilt võtma nelikümmend protsenti nädala-eeskavast. Leping viieks aastaks. Või: meie saame poole sissetulekust, kinopidajad kohustuvad võtma kuue kuu jooksul kaksteist filmi meie valikul. Euroopa: kokkulepe „Ufaga“ — „Paramounti“ tegevuskava. Pariisis — ostame „Vaudevillei“. Austraalias . . . Indias . . . Hiinas . . . Kõikjal ainult meie filmid. Suurepäraseid filmid! Hoiduge järeleaimamistest! Igal filmil on uhke pealkiri: „See on „Paramounti“ film!“

Algaval aastal kulutame suurfilmide tootmiseks, arvestamata kroonikaid ja lühifarse, 32 000 000 dollarit. Meil on 75 protsenti kõigist üldiselt tunnustatud „tähtedest“. Need „tähed“ säravad mõlema poolkera kohal, ajavad pea segi unistajail provintsis. Unistajad kirjutavad „tähtedele“ kirju; nad kirjutavad suurest kunstist või oma üksindusest, paluvad armastust või autogramme. Meil on eriosakond — kirjavahetuseks „tähtede“ austajatega: sisendada julgust ja tänulikkust. Meie ateljeed ulatuvad üle kümne hektaari. Igal nädalal vaatab üle 120 000 000 inimese meie pilte: vaatavad valged, kollased ja mustad, ametnikud, ministrid, kulid, vaatab kogu inimkond.

Mister Zukor andis kohustava allkirja. Ta ei meenuta seda enam. Naeratahes ütleb ta:

„Mina töötan vastavalt äri põhimõttele. Teie imestate selle üle, et mul kõik õnnestub? . . . Uskuge, minagi imestan selle üle.“

Kaamerad plõksuvad — mister Zukoril on väga fotogeeniline naeratus.

5. Elu seadus.

Ühed inimesed peavad mõtlema, teised — töötama: nii on loodud riik. Mispärast peaks mõtlema mingi tööline Detroitist? Tema eest mõtlevad teised. Ta töötab ja on õnnelik. Pühapäeval sõidab ta linnast välja: auto on välja mõeldud teiste poolt, nende poolt, kes mõtlevad. Tema vaid tõmbas eemale raudlatte. Teised joonistasid kaardile sirged teed, teised jutustasid talle, et puude kohin on võrratu nagu palve, et puhas õhk on kasulik kopsudele, ja et bensiin on Ameerikas eriti odav, sest Ameerika on suur ja võimas riik. Ta kuulab puude kohinat, põletab bensiini ning ei mõtle mitte millestki.

Ohtul läheb ta kinno: lint jookseb ruttu, inimesed tulistavad, jooksevad pilvelõhkujate katuseil, suudlevad, surevad. Kui armunud leiavad pastori, siis on see hea, kui roimar varastab briljandi — on lugu halb. Nii mõtleb mister Zukor või mister Lasky. Ta kuuleb, kuidas kõlab salapärane hääl: „Harry, olen sulle truu,“ „Jim, lase rutem!“ Ta ei tunne toredat Harryt ega julget Jimi. See on ikka sama mister Zukor või mister Lasky. Kõhuraäkijaina laulavad nad bassi või siristavad hiiglaslike mõõdetega saali pimeduses. Tööline vaatab, kuulab ning ei mõtle: ta on korralik tööline ja saja-protsendiline ameeriklane.

Ent kui töölisel pole tööd, hakkab ta mõtlema. See on ohtlik temale ja ka riigile. Kui mõtleb mister Yang, siis on see sobiv ja kasulik: ta mõtleb ju elektritööstuse ühendamisest. Mister Eastman mõtleb sellest, kuidas hävitada sakslasi — maailmas pole paremat filmi kui „Kodaki“ film!...

Mister Zukor mõtleb kinoteatreist; maailmas on 62 000 kinoteatrit ja neis kõigis peab näidatama „Paramounti“ filme. Üks mister Zukori alluvaid, mister Mendez, mõtleb, kes nimelt peab hüüdma: „Jim, lase rutem!“ Nad kõik mõtlevad tähtsaimast: Ühendriikide suurusest ja dividendidest. Aga millest võib mõelda töötut, kas või see sinisilmaline John Field laiade õlgadega ja rumala naeratusega?...

Mister Hoover kõneles üldisest heaolust ja John Field andis oma hääle mister Hooverile: mister Hoover mõtles ju John Fieldi eest. Johnile lubati õnnelikku elu, selle asemel anti talle töötut-kaart. Nüüd on tal küllalt jõudeaega ja tühi kõht. Ta mõtleb vastu tahtmist. Koos seltsimeestega karjub ta: „Maha!...“ Ta ei tea veel täpselt, keda ta söimab: pole midagi parata — sinisilmaline John pole harjunud mõtlema. Aga ta teab juba, et teda veeti ninapidi. Ta mõirgab: „Maha!...“

Nurga tagant hüppavad esile politseinikud. Politseinikud töötavad, järelikult nad ei mõtle. Osavalt haaravad nad rahvahulgast kord ühe, kord teise meelevaldaja, ning peksavad käratsejaid osavalt tugevate kummi-

nuiadega. Need on heasüdamlikud ja saledad politseinikud — tihti imetles John neid ekraanil. Üks neist, sinisilmaline ja laiaõlaline, haarab Johni. Avatud akna kõrval on filmiaparaat. „Vändake rutem!“ see on „Paramounti“ kroonika jaoks — kakskümmend sekundit — pärast uue ristleja vettelaskmist ja enne uisutajate võistlust.

Sinisilmaline politseinik töötab liiga agaralt, ta eksis mõne sekundi või mõne sentimeetri võrra: John Field viidi haiglasse. John Field lamab ja oigab vaikselt. Hiljem lakkab ta oigamast, ta hakkab rõgisema. Seda oleks hea filmida — kui palju helivarjundeid!... Ent seda ei filmi keegi: John Field pole uljas Jim ega õnnelik Gary.

„Paramount“ töötab suurejooneliselt: kolme tunni pärast on kroonika valmis. Öhtul linastatakse see kõigis kinoteatris. Mänguasjade-taolised politseinikud tuuseldavad lõbusalt kartlikke kisakõrisid. Publik rappub naerust. Õigupoolest on ristlejad kõik ära tüüdanud. Lõbusate politseinike nuiad on midagi hoopis muud. Naeravad soliidsed isandad aktsiate ja põhimõttega, naeravad tagasihoidlikud ametnikud, naeravad laiaõlalised sinisilmalised töölisel: kinos ei mõtle ju keegi, kinos ainult vaadatakse ja puhatakse.

Adolph Zukor istub oma töökabinetis. Virn ajalehti. „Töötute meeleavalendus... Mõned politseinikud on kergelt vigastatud... Üks meeleavaldaja suri haiglas. Töötuile müüakse õunu võlgu...“

Adolph Zukor vaatab aknast välja — tema ees on Ameerika selja-aju — suur Broadway. Inimesed, tohutu hulk inimesi. Ühed ruttavad „Paramount Palace’i“ — vaatama sensatsioonilist filmi „Armastuse paraad“, teised müütavad võlgu antud õunu. See on mõistlikum kõigist Euroopa sotsialistide lobajuttudest. Müük kandelaualt — see on geeniuste ülikool! Võib-olla seisab seal tänavanurgal uus Zukor... Kes mõtles välja võrdsuse? Puupead ja laisklejad. Miski ei suuda peatada andekaid inimesi. Jõulised õlad, neli matemaatikareeglit, mõni aasta võitlust. Miks nurisevad ometi need töötud? Neil on õunad ja lootus. Nende hulgast sureb üheksa inimest, kümnes tõuseb uueks Rockefelleriks. Heitke pilk mistahes „Paramount“-filmile: elurõõmus ametnik saab miljonäriks, õmbleja abiellub lordiga, hulkur leiab kullakangi.

Kehvik Cozienices või Kišinevis, kogunud mõned vaskmündid, läheb kinno. Seal vaatab ta võõrast õnne. Tema süda laieneb, silmad tumenevad. Veel pole midagi kadunud! Ta võib kohtuda rikka ameeriklannaga. Ta võib leiutada igavesed tikud. Ta võib kinni pidada tähtsa roimari ja saada kindrali auastme. Ekraan hoiab teda silmuse või pommi eest. Adolph Zukor on leiutanud kaitsesüstimise meeleheite vastu. Ta ütleb: „Püüdke, ja teie saate minu sarnaseiks! Hommikust õhtuni vaevlesin ma haisvate karus-

nahkade pärast. Nüüd olen ma rikas ja kuulus, nüüd pole enam Adolph Zukorit, tema asemel on „Paramount“.

Vaadake minu võistlejaid — nemadki ei kohtunud õnnega kohe. Marcus Lou oli kelneri poeg. Tema karjäär algas küllaltki tagasihoidlikult: ta müü-
tas tänavail ajalehti. Isegi neegrid kutsusid teda põlglikult: „Psst!...“
Kahekümne aasta pärast sosistasid ja küürutasid tema ees meelitavalt pan-
gadirektorid, senaatorid ja ministrid. Tal oli nelisada kinoteatrit ja oma
vaibavabrik; kõik nelisada teatrit olid kaunistatud tema oma vabrikus
tehtud vaipadega, mis kandsid tema, Marcus Lou initsiaale. Tal oli oma
isiklik saar, oma plaaž, oma golfiväljak, oma sadam, ta kasvatas hiiglas-
likke Brasiilia vesiroose. Ta nuusutas talveaias haruldasi lilli ja luges laisalt
bilansside nulle. Ainult surm, lugupidamatu surm julges teda häirida. Ta
jättis 25 000 000-dollarilise pärandi ja vaibad monogrammidega.

„Universali“ esimees Karl Laemmle kauples kunagi traksidega. Kõik-
võimas William Fox hulkus äratallatud kingades New Yorgi ghetto täna-
vail. Aga Zukori kaastööline Jesse Lasky, millega ta pole ainult äritse-
nud? ... Ta levitas ajalehti, istus kontoris, nuhkis politseijaoskondades,
otsides San Francisco ajalehtedele kõmulisi mõrvu, ta esines küll tsirkuses,
küll varietees, katsus isegi kullaotsijaks hakata. Ta ei leidnud kulda, see-
eest hakkas ta valmistama läbipaistvaid linte aukudega ja naljakate pilti-
dega. See on palju parem salapärase kullaterakeste otsimisest Alaskas!
Jesse Lasky on nüüd „Paramounti“ asekingas.

Adolph Zukor põlgab hädavareeid. Kui inimene on kahekümnendas
eluaastas vaene, peab ta käima odavas kinos ja uskuma tulevikku. On ta
vaene neljakümne-aastasena, siis ei maksa temast kõnelda: see on praak,
kõigest üks ühik statistika jaoks. Operaator ei viivita, kiirustage — esime-
ses jaos võib saada direktori tütre või kasuliku patendi, viiendas jaos võib
veel ainult rahulikult suudelda! ...

Miks ometi käratsevad need töötud? Mille vastu nad protesteerivad? Kas
elu vastu? Või surma vastu? Nad peavad kauplema õuntega ja käima kinos.
Selle asemel plaanitsevad nad meelevaldusi. Zukor põlgab poliitikat. Kas
maksab pidada kõnesid, kui võib teha dollareid? Poliitiliste peenuste jaoks
peab Zukor enda teenistuses Hayesi. See Hayes väljendub suursuguselt.
Zukoril on selletagi tegevust ülikülluses. Ta hääletab muidugi vabariiklaste
poolt: vabariiklased kaitsevad „kuiva režiimi“, aga Zukorile on see poliitika
teretulnud. Piisab õllebaaride avamisest, ja ameeriklased hakkavad
arutlema: kuhu minna täna õhtul? ... Praegu pole ameeriklasil valikut ja
kõik ameeriklased lähevad kinno. Kui Zukor hääletab vabariiklaste poolt,
siis on see bilansiküsimus. Aga töötud on ju otse võlutud rumalast poliitika-
st. Nad karjuvad hääle ära oma ideid kiites, nagu oleksid ideed habeme-

ajamisterad või täitesulepead. Las sõidavad Euroopasse! Euroopas on liiga vähe dollareid ja liiga palju aega. Zukori sünnimaal tahtsid mingid lollakad äsja korraldada revolutsiooni. Nad kuulutasid välja „vaeste võimu“. Milline narrus! . . . Võib-olla hakkavad nüüd roimarid politseinikke vangistama . . . Kui laostada rikkad, ei saa olla ilu ega kino.

Zukor on heasüdamlik inimene, ta on valmis ostma koormatäie õunu. Ent jätame heategevuse! Zukoril on radikaalne vahend: ta toodab lootust. Kui „Paramounti“ tulud ületasid läinud aastal 17 000 000 dollarit, siis võib selles näha ainult kõigevägevama tarkust — ta tasub sajakordselt.

Zukor vaatab läbi aruande-märkmed: „Kinoteatrite küllastajate arvule mõjub vähendavalt tantsude harrastamine, usuühingute tegevus ja samuti töötaolu kasv . . .“ Tantsudega tuleb võidelda. Oleme moraalivastaste lõbususte vastu. Mis puutub usuühingute konkurentsi, siis on siin kerge saavutada kokkulepet — miks mitte näidata filme kirikuis? Tuleb näidata, kuidas jumalavallatud patustavad — see hoiab patu eest baptiste ja metodiste. Las mister Hayes hoolitseb selle eest . . . Aga töötaolu lõpeb ju kunagi. Nende hulgas, kes müütavad Broadwayl õunu, surevad ühed omal ajal, teised rikastuvad, ja kolmandad lähevad uuesti tehaseväravate juurde: päeval konveier, õhtul — kino. Selline on elu seadus.

A. LAIKMAA MÖTTEID KUNSTIST

Ants Laikmaa (end. Laipman) ilmumisega kunstiellu käesoleva sajandi alguses algab eesti kunsti arenemises uus ajajärk. Ka enne Laikmaad ei puudu eesti soost kunstnikke, kes on võrsunud rahva hulgast (Köler, T. Grenzstein, P. Raud), kuid ühegi nimetatu looming ei pääse n.-ü. rahva hulka, sest nad kas töötavad Peterburi haritlaskonna (Köler) või balti-saksa „kõrgema kihil“ (Grenzstein) keskel ja nende jaoks. See oli „eliidi“ looming „eliidile“. A. Laikmaa esmakordselt aga arvestab üldsust. Kui laiale alusele asetab Laikmaa kunsti propageerimise ja edendamise kodumaal, seda iseloomustab kõige paremini ta 1904. a. „Teatajas“ ilmunud kuulutus oma ateljeekooli avamisest:

„Minu joonistamise ja maalimise õpetus celoleval poolaastal algab 1. augustil. Maks poole aasta peal (ette) on 60 rbl. ja seal alla kuni priikoolini, nii kuidas õpilase vaimuanded ja varaline kehvus seda tingivad (tarvitavad). Teatamise juurde palun ikka joonistuse proovisid lisada. Hans Laipmann, Tallinnas, Niine uul., Kotka majas“. („Teataja“ 27. juulil/9. aug. 1904.)

Sellest kuulutusest näeme, et püütakse ligi tõmmata kõige laiemaid rahvakihte ning lubatakse võimalus kunsti õppimiseks ka kõige vaesematele. Kui Köler noorele Laikmaale kinnitas, et kunstnikuks saamine nõuab palju raha, siis Laikmaa suhtumine on täiesti demokraatlik, võimaldades õppimist kõigile, kel on annet ja huvi.

Laikmaa suhtumist kunsti ja õieti kogu ta kunstiprogrammi sisaldab kuulus üleskutse „Teatajas“ 1903, mis algab Laikmaale omaselt ladinakeelse juhtlausega:

*Concordia res parvae crescunt*¹.

„Rõõmustaval viisil olen viimasel ajal meie ajakirjanduses ka meie kujutajate kunstnikkude kohta ning poolt hääli kuulnud („Postimees“, „Teataja“); seal on midagi märgata, mis nagu elule, liikumisele püüab saada; reakene nimesid tunnistab, et meil ka kujutava kunsti väljal juba arvuke — mis pealegi jõudsasti kasvab — mehi on, kes endid koguvad, ühiseks jõuks ühise avaliku tegevuse tarvis ühte heita ja rahvaga vastastikusesse kasulikkude kokkupuutumisesse tahavad astuda, kuna neid ülesanded ammu ju ootavad. Rahva käes on aineid, jätiseid vanast Eesti kunstist, selle iselaadist, — neid tuleb korjata, alal hoida, enne kui need täitsa kadunud on, ja nende peal võib mõndagi uuesti üles ehitada. Rahvast tuleb kunsti keele abil kõita ja äratada teda ilule ja edule — headusele. Mis seni kunstist tema piiresse ulatanud, läks temast mööda, ainult mõnedel jõukamatel, kel teiste leeridega ühendust oli, oli võimalik teda maitsta. Kunst on aga kõikide päralt. Sellepärast teeme otsa praegusele kurvale puudusele, asutagem omale ise kunstiselts, mis kogu rahvast teeniks, mis kunsti tarvidust täidaks ja meie rahvale tublide näitustega kunsti avaks. Igas vallas on oma laulukoor, igas kihelkonnas oma pasunakoor ja paar, need panevad ühisel jõul suured laulu- ning muusikapidud toime —

¹ Ühendus teeb tugevaks.

kui palju tähtsam ei ole kujutav kunst, mis ainult tunnete kõditamisega ei lepi, vaid mõtteid, ideesid ilma kannab, et tema pärast Eesti kunstnikud ja kunsti sõbrad, terve intelligents kokku astuks ja esialgu vähemalt üle maa ühe seltsi (harudega) asutaks.“ („Teataja“, 1903.)

Siin ütleb Laikmaa juba selgesti, et kunst pole mitte üksnes kõrgemate klasside eesõigus, vaid et ta on kõikide päralt. Ta teab, et kunsti tõeline läte voolab rahvast endast välja, kasvab ja võrsub just seal. Teadlikult juhib ta vanale rahvakunstile tähelepanu, mis oli pöördeliseks suhtumiseks senimaksnud töökspidamistega võrreldes. Laikmaa enda loomingus pole tunda sisulist mõjutamist rahvakunsti poolt ega ole ta looming rahvuslik selle sõna kitsamas mõttes. Küll on aga Laikmaa saanud rahvakunstist „äratust“ värvi osas, mida lähemalt valgustab üks kunstniku hilisem artikkel „Päevalehes“ 1932:

„On tõsiasi, et igal isikul kui ka rahval on oma isemadused, omapära, nii kui iga isik kui ka rahvas enamjagu oleneb oma ümbrusest ning oludest, neist välja kasvab, välja areneb, neist oma isenäo ning -ilme saab.“

Ja edasi samas:

„Eestlase, s. t. endise eestlase — talupoja värvid olid „kahvatud“, s. o. polnud eredad, sest ta ümber ei leidunud veel väljast sisse toodud eredaid, kirevaid kunstlikult valmistatud vabrikuvärve ja ta oma värve alles metsast, loodusest — niisiis ka siin *natura artis magistra* —, sammaldest jm. otsis ja valmistas. Need värvid olid lihtsad-ilusad, vaiksed ja tagasihoidlikud-harmonilised ja olid siiski in sich väga värvikad.“ („Päevaleht“ 1932.)

Niisuguste pehmete siniste, punaste ja roheliste värvitoonide esitamine on jäänud Laikmaa loomingule omaseks tänapäevani ja ta õlivärvi-maalimisele siirdunud õpilastegi tõis annab tunda see summutatud pastelliiline mahedus (Oskar, Miikmaa jt.).

Oma välismaa-matkalt saadetud kirjades („Päevaleht“ 1910, „Teelt“ I) arutab Laikmaa lähemalt meie rahva iseloomuomadusi, rõhutades seda suurt teadmiste janu, mida isegi raske orjajelu ei suutnud summutada:

„Meie lihtrahvas on tõsine, terane rahvas, sellepärast pole ka meie Eesti kirjanduses tõlplase talupoja laadi leida. Ta on kõige oma sagedase koolipuuduse juures vaba mõtleja, kes iga asja juures „põhja peale“ tahab saada ja ainsa kirjatarkusega, mis tal vast on — piibel — tükib ta isegi oma õpetaja kallale, et sellele „jalga“ panna.

Ma olen neid nii varrudel ja pulmadel maal huvitusega vaadanud. Ja kui neist hulk üle terve meie maa Tartu suurel kongressil olivad, viisin ma oma sõbra, kunstnik K., kellega seltsis me Saksamaal sagedasti koosolekutel ja miitingutel olime käinud, neid aulasse vaatama ja ta ütles neid kuuldes tõsise vaimustusega: „Need on Stucki kujud (nende lühikesed kõned) massiivsed ja ümargused.“

Ta elab raske rõhumise all, aga siiski — meie talupoeg nimelt Eestimaal — nõuab ta, võrdlemisi teiste suuremate rahvastega, südisti kooli ja haridust, seda tunnistab meie haritlaste kogu, kellest isegi üle Venemaa ja väljamaale saab, kõik talupoja, mitmed saunamehe lapsed.“ („Päevaleht“ 1910, „Teelt“ II.)

Rahva iluarmastusest, mis avaldub maitsekais rahvariideis ning inimest iga päev ümbritsevate väikeste asjakeste kaunistamises, kirjutab Laikmaa samuti „Päevalehes“ 1910, „Teelt“ XX:

„Ja siin on see Vigala mehe — ja üleüldse Eesti mehe — välise uhkuse- (ilu-) armastuse seletus: Mis ta oma maja pidi ehitama, ilustama, kui see homme-tunahomme kellegi

võõra kätte minna võis! Välised iluasjad võis ta aga igale poole kaasa võtta. Ehk need iluasjad sagedasti just ta koha pealt väljatõukajad (renditõstjad) olivad, oli armastus selle ilu järele ometi nii loodussunniline suur, et seda sootuks maha salata ei suudetud, ennem lahkuti armsakssaanud kodupaigast.“

Kuid A. Laikmaa kodumaa- ja rahvaarmastus laieneb kaugemailegi aladele. Võõrsil uhkeid ehitusi nähes seisavad kunstnikul alati meeles kodumaa vastavad hooned. Ei ole huvitusega Laikmaa arvamused Tallinna rackojast, kus ta rõhutab suurema ruumi vajadust — rahva jaoks („Päevaleht“ 1910, „Teelt“ XII):

„Võõraid kohti vaadates tükivad aga ikka kodukohad kaasa. Kerkib mu ette Tallinna rackoda. Algupäraline ja huvitav ehitus vanast ajast, mis alale peab jääma. Aga tal on suur puudus, mida olev aeg ära ei kannata; ta nõupidamisesaal on väike ja rõhuv kui mõni maakirikku käärkamber, paras õpet. palga vastuvõtmiseks, aga mitte koosoleku tarvis. Vanast õiendas üks mees linna asju, polnud siis suurt kogumisruumi tarvis, meie aga oleme demokraatilise aja sisse sammumas, meil läheb ruumi tarvis rahvale.“

Ka kunstiküsimusi käsitleb Laikmaa oma reisukirjades. Oma julgeid seisukohti eesti kunstis ikka veel seisukohta omavate „vanade“ vastu avaldab Laikmaa kirjutuses, mille on inspireerinud vanade meistrite loominguga tutvumine Viini maaligaleriis („Päevaleht“ 1910, „Teelt“ XIII):

„Ma viibisin nädalate kaupa nende vanade kangelaste juures, ja mida kauem ma nende juures viibisin, seda ligemale nad mulle tulivad... Need vanad! Meie „vanad“ armastavad endid oma lakkumise, lihvimisega hea meelega nende vanade peale toetada. Nad on päris vanade (mitte nende aastate, vaid kauge mineviku järele) iseloomuta ilalakkujad paljalt. Maalimine ei ole eestkätt lõuendi katmine ega kivi lihvimine, milleks loodusest mõni mudel ette võetakse, maalimine on kunst, kiviraiumine on kunst, kui värvide ja kujude abil mõtteid, aateid, lugusid ja tundeid ilmutatakse.“

„Meieaegsed vanad vahetavad kujukülluse laki libedusega ära, meie vanadel ei ole sisu — nad lakeerivad pinda, nad on maalrid (värvijad) ja kivilihvijad. Hea, kui pildi sujet (süžee) neid vabandaks, nii kui siis, kui kunstitehnika alles esimesi sammusid käis, ehk nagu praegu mõne primitivisti või mõne muu -isti juures.

Päris vanadel aga oli selge mõte ja mõttekohane terve kõne, keel ja käekiri. Ei nad lakkunud, lihvinud, kui nad ka libedasti maalisivad või raiusivad. Käekiri aga ei olnud neil peaasi, see resulteeris oma peremehe geeniusest, hingest, laadist ja tulest (temperamentist), ilma milledeta keegi muusade riiki ei pääse. Tühi vagatsemine taevauksi ei ava. Kui keegi vanadest (Raffael, Lucas Cranach, Holbein, Rembrandt) libedalt maalib, siis tuli see nende subtiiltundvast hingest, mis niisama õrnalt, peenelt nende käevarrest ja pintslist läbi käies lõuendi peale ilmus, ilma et selle all kunagi maalitav aine oleks kannatanud. Õrnal hingel on enamasti ka õrn keel, aga iga nõrk hääl ehk õrn häälitsemine ei tunnista veel õrna hinge.

Nende — vanade — juures tunneme kõige libedama töö juures aine olekut, kas kusagil kont liha all, või paljas pehme liha, kas teras või raud, siid või kotiriie on. Meie „vanade“ juures on kõik „üks kama“ — „töö“ peab libe olema. See on see vahe, mis vanade ja „vanade“ vahel on. Õnneks on viimane „vanadus“ lõppemas ja noored otsivad uusi teesid. Eksigu nad sealjuures ka, kui nad aga otsekoheselt otsivad; see on iseenesest väärt ja sünnitab vilja.“

Sellest tsitaadist selguvad Laikmaa töökspidamised. Ja on arusaadav, et just see kunstnik tekitas murrangu meie ühelt poolt balti-maitselise „lakutud“ ning „lakitud“, teiselt poolt tardunud akadeemiliste traditsioonidega kunstis, tuues värskust ja uusi tuuli tuuli.

Ka Laikmaa suhtumine kunstniku isikusse erineb valitsevast seisukohast. Ta kirjutab: „Mulle on see suurem kunstnik, kes, kui külas tulekahju lahti pääseb, veeämbri võtab, kui see, kes värvid, pintsleid kätte kahmab, sest ta kaitseb elu, mis laiema kunsti alus on kui üks üksildane pilt.“ („Päevaleht“ 1910, „Teelt“ XXV.)

E. L.

TÄHELEPANEKUID JAAN KÄRNERI LÜÜRIKU-TEEKONNALT

ERNA AAVASAAR

Pühitsedes käesoleva aasta mais Jaan Kärneri 50 a. sünnipäeva, huvitavad meid esma-
joones muidugi Kärneri luuletaja-aastad — tema lüüriku-teenkond. Kuigi Kärner ka
prosaistina on olnud vähimalt kvantitatiivselt nüsama viljakas kui luuletajana, siiski
luules avaldub tema kirjandusliku isiksuse põhikude avameelsemalt ja siiramalt kui
proosas. On õigusega väidetud, et luule on aja baromeeter; võiksime lisada, et mitte
ainult ajatendentsid, vaid ka looja enda vaimne põhijoonistus avaldub luules vahetumalt,
enam alasti kui proosas, kus on tihti peale rohkem kombineerimisvõimalusi, kus oludegi
surve on sageli võimelisem ette dikteerima nii- või teissuguseid käänakuid. Kärneri
esimene luuletuskogu ilmus a. 1913. See kandis pealkirja „T ä h t e d e v a r j u d“. Nagu
sellest romantika-raskest tiitlistki juba järeldada võib, need värsid siin on nii sisuliselt
kui ka vormiliselt enamasti mineviku pärimuste kütkeis. Siin on kajasid Juhan Lii-vilt,
muidugi aga jälgi ka varasest Gustav Suitsust. See kõik huvitab meid aga vähem kui just
see, et kõigest algelisusest hoolimata meile paistab siit vastu see Kärneri luuletaja-isiksuse
põhimuster, mida me nüüd oleme võinud jälgida läbi kümnekonna värsiraamatu. Eks näe
me siingi juba teataval määral seda heitlust vastandlike äärmuste vahel, mis on nii ise-
loomulik Kärneri põhilaadile kuni „Käidud teedeni“. Näiteks võiks tuua kaks armulaulu:
kui ühes igatsetakse „sinuga üksinda olla kusagil kauguses, / kusagil mägede rinnal, kõr-
gete metsade süles“ („Sinuga üksinda“), siis teises leiame juba hoopis tormisema elu igat-
susi. Seal hüütakse (hüüdjaks on küllalt tähenduslikult siin just naine): „Tule sa minuga!
Äikeste kooris / laulma me läheme...“ ja edasi: „Elu ei halasta. Meie ka mitte. / Teeme
kõik puruks, tasume kätte / neile, kes kardavad südame laule, / neile, kel hing on —
kivine maja“ (Ühe naise laul“). Siin näeme juba seda teotatelist, aktiivsusele püüdlevat
elementi, mis Kärneri hilisemas luules etendab kui mitte domineerivat, siis küllaltki tähele-
pandavat osa. Samuti näeme vihapurskeid nende vastu, „kel hing on kivine maja“. See
koputamine südametunnistusele, kisendus humaansuse järele, võitlus hinge „kivise maja“
vastu juhib meid otse Kärneri mõttesuundade ja kujutluskäikude südamikku.

Agaga sellele näitab see tagasihoidlik esikkogu meile kätte muidki allikaid, kust on
pärit Kärneri luule nukker, eeleegiline põhitoon, mis on omane tavaliselt tema värsside
paremikule. Meile hakkavad silma hüüatused nagu „mu elu läheb nagu tuule tiivul“,
„kui nooled lendavad mu elu kaunid aastad“ jms. Hirmu ja lõpuks resignatsiooni, nuk-
rust tekitab tunnetus, et elu libiseb käest, enne kui teda oleks saanud maitstagi täisi
sõõmu, enne kui oleks saanud midagi parandada, uueks muuta, enne kui oleks saanudki
anda seda ühiskonnale, mida poeedi sotsiaalselt tundlik mina nii tarvilikuks peab. Just

sellest tunnetusest tilgub alati mõrkjat mürki Kärneri ka kõige õnneraskemaisse meloodiasse, samuti ta võitlusele ja teole õhutavate laulude rütmi.

Nii Kärneri esikkogu, mida kannab vähem nooruslik paatos ja uljus kui sentimentaalsekoeline harras musikaalne lürism, samuti sellele järgnev värsiraamat „M a i s e s r i n g i s“ (1919) ei tähistanud eriti suuri kunstilisi võite, kuid nad näitasid, et eesti luules on endale kohta nõudmas luuletaja, kes hindas loomulikkuse ja ehtsuse võluseid, kel oli veres loomupärast rütmitunnet, kelle tugevam külg ei seisnenud mitte niivõrd konkreetsetes nägemuslikkuses kui just muusikaalses voolavuses. Kuna „Maise ringi“ luuletused sisaldavad värsse, mis on loodud 1913.—1918. aastate vahemaal, siis me võime tookordset Kärnerit vähimalt ajalises mõttes kõrvutada nende pesuehtsate siurulastega, kes debüteerisid kobaras a. 1917. Ja muidugi me märkame kobe, milline suur vahemaa eraldab Kärnerit näiteks Underist ja Visnapuust kui esinduslikemaist meelte-laulikuist. Ka Kärner maksab lõivu ajale, riimides „violett“ ja „kokett“, kõneldes naiseringide võlustest ja mitmevärvilist õhtusist ihaldusist, kuid see kõik on nii rohkem muuseas. On küllalt iseloomustav, et Kärneri kireneitsi astub kergelt väikeste siidkingadega üle maa, nagu me kuuleme „Maise ringi“ avaluuletusest, temal ei ole seda erootika hukutavat lõõma, mis ühtaegu hirmutab ja kütkestab. Nagu Visnapuulegi ta diskreetsemates lauludes, nõnda ka Kärnerile on naine enam õeks kui emaseks saladuseks. Õe-motiivi huvitavat varieerumist näeme läbi kogu ta loominguga. Looduspiltideski ta ei näe mitte niivõrd naiselikkuse ja mehelikkuse heitlusi kui siurulased; talle on võõrad leitsakulised armastusest rasked suveööd, ta joonistab pigem põhjamaise kargusega: „Õöd jälle ilusad ja päevad imevalged: / kui lapse naeratus on taeva sina, / veed sini-sinised kui õitsev lina, / kus lõkendavad saamisrõõmu alged.“ („Kevadine mälestus“.) Kärner on diskreetne ja tagasihoidlik, sageli aga kahjuks tagasihoidlik kuni värvituseni, verevaesuseni. Tema „Maise ringi“ lauludel ei olnud sellist kunstilist värskest, millega üllatasid Under ja Visnapuu. Juba siis võidi vististi aimata, et Kärneri talent on põhiliselt põhjamaine, hilja-küpsev — tema loomingulist haritippu ei tule otsida mitte ta luuletaja-teekonna algult, vaid pigem vahest lõpu poole.

„Maise ringi“ lõpul hüüab Kärner: „Ei laula ma enam / ajast ilusast... / On laulda kenam / ajast tumedast, kadunuist õitseva ilma seest / all sõjatraavli kapjade, taudide, nälgade, / ja kehast tardunuist ja auku vajund silmadest / on laulda kenam.“ Tähendab: ka Kärner on teinud pöörangu koos siurulastega, sugereerides ennast süttima inetuste ilust. „A j a l a u l u d e s“ (1921) ta laulabki teistega võidu aja jubedusist, halastamatuses. On küllalt fraasi ja Kärnerile põhiliselt võõrast elementi selles, kui ta hüüab, et tema laulud on ropud ja verised, et veri hulluks teeb inimese ja surm peksab iga päev suurema rehe. Parema aja võikuste pisut edeva kriiskavusega maalimisest (nagu see oli üldiselt omane toleaegeisele ajalaulikuile) on Kärner seal, kus ta sotsiaalselt tundlik süda kihvatab ühiskondliku ülekohtu nägemisist. Oma vabrikulauludes ta laseb kumada uut ühiskondlikku tõde ning samast inspiratsioonist on pärit ka ta „Laulud Venemaal“.

Kuigi „Ajauludes“ ei saavutanud Kärner veel kuigi silmapaistvaid, tugeva omapäraga hingestatud värsse, mõjus ometi sinne järsk väljapoole pöördumine avardavalt ja värskendavalt tema andele. „L õ i k u s k u u s“ (1925) ja „Õ i t s v a s s ü g i s e s“ (1926) on ta juba üsna kaugele taandunud sellest sentimentaalsekoelisest subjektivismist, mille kütkeis ta oli veel esimestes kogudes. See on nii ehtsalt kärnerlik, kui ta hüüab: „Ma lihtsalt laulan oma lihtsat viisi, / ei sõnu tundmatuid ma ritta säe.“ („Lihtne viis“.)

Just loodus oma mitmepalgelisuses on poodi võimsalt siin oma rüppe haaranud. Kärneri loodusunägemustes siin aga on juba tunduvalt kunstilist intiimsust, ehtsat elamulikkust. Heliseb korduvalt siinsetest lauludest läbi elu käest libisemise motiiv, süvendades eeleegilist põhitooni. Eks ole selles juba haaravat joont ja värvi, kui poeet küsib: „Mis piinab mind, et kevadel ma / laulan lõikuskuust, / mai valgeil öödel vikatite terast / vilja sees.“ („Kaduviku triolett“.) Kui Visnapuu on andnud tõeliselt helisevaid kevade- ja talve-värsse, siis Kärnerit võiksime põhjendatult hinnata eriti sügise-, lõikuskuu-laulikuna. Ta suudab hästi tabada sügiseste maastikkude kurba kirglikkust, täis surma ja saagikoristamist, aga ka sügispäevade mõtlikku selgust: „Kui vaikes palves viljapõllud / mu ümber tummad kastevees, / ja kõrte vahel viimsed hõllud / kui lapse silmad isa ees.“ („Selge hommik“.)

Järgmises kogus „Rändur vilistab“ leiame samuti väga tihedaid loodusunägemusi, loodusega ühes-hingamist: „Meri magab oma lindudega / hämaruse sametise vaiba all... / mina hingan ühes pöösastega / vaikust imelist ja kosutavat ööd.“ („Rannal“.) Aga tipuks on siingi just eeleegilised sügislaulud oma värvide lõkkamise ja rõkkamisega: „Nagu veretav ohvripann lõkkab ida — / männid põlevad, kuused täis valutuld, / aias vahtrad ja kased kui sulakuld, / ülal sinise suitsuna pilverida.“ (Päikesetõus sügisel“.)

Rändur vilistab... Me eksiksime ja pettuksime, kui me selles vilistavas rändurirõõmus otsiksime mingeid nipernaadilikke las-käia-meeleolusid. Kärneri rändur vilistab, sest sellega saab teha elu talutavamaks, leevendada elu vastuolude ja ebakohtade nägemisest johtuvat kurbust.

Kogude „Rändur vilistab“, samuti „Lõikuskuu“ ning osalt ka „Õitsva sügise“ mõningaid looduslaule me võimegi pidada teatavaks loominguliseks tipuks Kärneri lüürikas. Kogudes „Tormilüüra“ (1929) ja „Inimene ristteel“ Kärner ei ole kaugeltki oma meeli sulgenud looduse ees, ta luuletaja-vaist käsib teda siingi laulda suveõhtusest päikesest, vaiksetest metsadest, tuulest, kes „pöõsa varjus seisab valvel / kui väike laps, kel sõrm on suus“. Ometi on just nendes kogudes vastandlike äärmuste kokkupõrkeid enam kui kusagil mujal Kärneri luules. Siin on ängistusi, siseheitlusi, kibedust ja viha. Juba varem lipsas Kärneri värssidesse küllalt tähenduslik risttee-motiiv, siin see on sattunud koguni värsiraamatu pealkirja. Tõepoolest ollakse siin igal sammul nagu teelakmeil. Romantilise elutunde lõhkikäriristatus, heitlus äärmuste vahel valitseb klassikalise harmoonia ja selguse üle. Ei või just ütelda, et Kärner oleks eriti mõjuv luuletusis, kus ta on kuju anda püüdnud n.-ü. puhtisiklikele haavumisile (näit. „Avalaul“); kus ta salvab kriitikuid-kisakõrisid ning võitleb klatši vastu. Need laulud on sapist rasked, kuigi siin igas mõttes mõjuvam oleks olnud muidugi nobejalgne ironia. Küllap Kärner isegi on olnud teadlik sellest, et luules seesuguseil arveõiidamisil pole sellisel moel palju mõtet, kuid Kärner on spontaanselt loov luuletaja, ta ei kalkuleeri ega kombineeri, vaid laulab otse sellest, mis ta südant puudutab, küsimata milleks ja kuidas.

Juba algusest peale oleme võinud jälgida Kärneri luules ka saatuse-motiivi. „Lõikuskuust“ leidsime salme fataalsusest ning kõikjal näis Kärner olevat arvamisel, et inimese enda tahtel pole suurt mõtet. Korduvalt ta toonitab, et fataalsus, „ränk ja vääramatu“, juhhib meid. On huvitav tähele panna, kuidas just Kärneri viimastes kogudes sünnib selles suhtes muutusi. Kärner näib uskuma hakkavat, et inimese tahe võib allutada endale saatuse. Lauldes rõhutuist ja kurnatuist ta hakkab korduvalt toonitama, et

hädast päästab välja ainult inimese enda jõud. Sagenevad ülestõusu-, revolutsiooni- motiivid. Selles on juba tõepoolest hoopis mehisemat meelt, kui autor hüüab kogus „Sõna- sütega“ (1936): „Sõna-sütega sütitan sütt ma, / lõõmavat, leekivat tahte-tuld, / kaldub veri mu karmi rütmi: / minevikule pääle — muld.“ („Sõna-sütega I.“) Samuti näiteks luuletuses „Saatusetrots“ Kärner hüüab nagu imestades mineviku üle, kuidas saatus on teda oma seljas kandnud nagu peru hobune. Meenutades ebaõnnestumisi ta lõpetab aga luuletuse siin hoopis teises toonis kui varem: „Ei terveks saa, mis elust puru — /, mis ees, ei tohi olla juhus, / vaid oma tahtega ma surun veel saatuselle valjad suhu.“ („Saatusetrots“.)

Värsikogu „Sõna-sütega“ me võimegi pidada üheks tipuks Kärneri loomingus. Olles läbi käinud heitlustest ja valudest on poeedi vaim siin nagu karastunud, mehisemaks muutunud. Eks voola hoopis punasemat verd kui paljudes ta lauludes varem siin näiteks luuletuses „Õine jalutuskäik“. Meeleoluliselt väga puhtad on siin aga ka paljud loodus- laulud, näiteks kas või „Kevade õnnistus“, „Suvistelaupäeva õhtul“ jmt.

Mainides veel Kärneri kümnendat värsikogu „Käidud teedelt“ (1939), kus minevikumälestused segunevad olevikupiltidega, kus autor pääseb mõjuvusele oma lihtsa, pretensioonideta hoiakuga, meie kiirustav jalutuskäik läbi Kärneri lüürika ongi jõudnud lõpule. Ja me tunneme, et Kärneri luuletajapale on meile imponeerinud enamasti just oma siiruse ja lihtsuse tõttu. Võisime tähele panna tema kasvamisest saatuseskujast saatusetrotsijani, siseheitluste ängistusist väljajõudmist mehisema tahteluuleni, mis ei küüni tõsiküll seesuguse dünaamika ja hooni nagu Barbaruse tahteluule, kuid millel ei puudu oma usaldatavus ja ehtsus.

Eriti sümpaatsena paistab meile silma Kärneri pidev kiindumus tagahoovides sirguvaise elu võõraslastesse. Rõhutagem veel kord, et ta ei lähe targa ja tähtsa näoga õpetama sellele väikesele inimesele töörõõmu, nagu meil mõned teised luuletajad, ega manitsema teda armastama kui venda, vaid ta püüab torgata sügavamale üldise inimliku õnne probleemi südamesse. Ta tunneb end võrdsena rõhutute ja kurnatutega ning ta süda kihvatab alati ühiskondliku ülekohtu nägemisest. Sotsiaalseid väärnähtusi arvustavad ja võitlusele kutuvad laulud on Kärner hiljuti koondanud kogusse „Võitluslaule“ (1940), mis võimaldab pilti saada autori võitlejapalge kujunemisest. Me näeme, kuidas kogu alguses valitsev viha, kibedus, sarkasm annab aset kord-korralt virgumise-, ülestõusu-, revolutsioonimotiividele. Kalduvus vasakule, kapitali- ja sõja-vaenulikkus on Kärneri värssides silma paistnud juba ammu enne juunipööret.

Ei ole vististi liialdus väita, et Kärner oma põhilaadilt ongi võitleja-loomus. Ta ei saa kitsalt sulguda enesesse mõnulema ja ilutsema; teda ärritavad ja sütitavad ümbritseva elu nähtused. On teine küsimus, kuivõrd hea või halb võitleja ta on. Ideaalsest uljast mõõgakeerutajast jääb ta igatahes kaugele just oma sisemise lõhestatuse, ristteedel heitlemise tõttu. Seepärast me leiamegi tema võitlusluules ka tagasitõmbumisi, valulisi alistumisi.

Kärner algas oma lüürikutekonda musikaalse romantikuna. Laulvus, rütmi sujuv voolavus on jäänud tänapäevani ta tugevamaks küljeks ka siis, kui ta pärastistes kogudes realismituuled on värskendanud ta kujutluste käike (näiteks kogu „Sõna-sütega“). Tihti laseb ta end meloodias niivõrd kaasa kiskuda, et tagaplaanile jääb kujutluste puhtus. Aga oma paremais lauludes ta on saavutanud siiski õnneliku tasakaalu. Musikaalsuse ja

lüürilise meelcolurikkuse poolest on silmapaistev ka tema värssromaan „Bianka ja Ruth“.

Kärneri osa cesti lüürikas kunstilise õnnestumise seisukohalt vaadeldes tuleb meil hindavalt esile tõsta esijoones just tema hingestatud loodusnägemusi, kus sageli nii õnnestunult on tabatud valguse ja varjude värinat, värvide mängusi. Tagaplaanile jäävad tema poleemilis-sarkastilised raevutsemised, samuti ka mitmed programm-luuletused. Lauludes aga, kus ta süttib sotsiaalse õiglusetuse nägemisest, kus ta pilk tabab vaesuse julmust, tagahoovide traagikat, ta jõuab sageli välja ehtsa mõjuvuseni. Proletariaadi mured ja rõõmud näivad olevat Kärnerile niivõrd südamelähedased, et suudavad anda tuult tiibade alla ta värssidele. Kuna me oleme võinud tähele panna, et Kärner on olnud pikkamisi ja hilja küpsev anne, siis meil on eriti põhjust loota, et ta oma tuleviku-värssides mõjuvalt peegeldab sotsialismimaa mitmepalgelist elu. Ta ei tarvitseks aga karta tema loomusele nii vastavat lüürilisust, hellameelsustki, et rutata seda asendama kõmisevama paatosega.

R I N G V A A D E

LERMONTOVI TEOSTE ILLUSTREERITUD VÄLJAANDEIST



N. Puzõrevski

joonised suurepäraselt kujundatuina ja hästi reprodutseerituina. Loodi harukordselt terviklik raamat, mille illustratsioonid on täielikus kooskõlas Lermontovi poemiga ja väljendavad võrratult hästi „Deemoni“ metsikut romantikat.

Esimeseks toredaks, puht-bibliofiilseks väljaandeks on 1913. aastal „Elegantsete väljaannete sõprade ringi“ poolt kirjastatud „Laekuri naine“. Ülihästi trükitud raamat on varustatud raamatumeistri M. Dobužinski joonistega, evib värvilist tiitelpilti, graafilist tiitellehte

XIX sajandil ja XX sajandi alguses ilmunud Lermontovi teoste enamikul on vähe kunstilist ilmet. Need teosed kirjastati rohkem spekulatiivseil kaalutlusil, vähimagi hooleta ja isegi tähelepaneliku suhtumiseta. Nende väljaannete hulgas vääriavad mainimist ainult K. Charlemagne'i joonised Lermontovi 1865. a. väljaandes ja S. Solomko joonised „toredas“ Suvorini 1896.—1897. aasta väljaandes.

Murrang algab XX sajandil, kui ilmuvad Zitši joonised „Printsess Mary's“, kui ilmuvad Lermontovi teosed K. Makovski, V. Serovi, Vrubeli, Korovini, Regini ja paljude teiste kunstnike joonistega. Üksikud joonised on läbi imunud ajastu vaimust, on kooskõlas poeedi teostega, kuid on halvasti trükitud ja kujundatud, seepärast on paljugi kaotsi läinud. Kirjastus „Akademia“ poolt 1937. a. uuesti kirjastatud „Deemon“ taastab M. Vrubeli

ja kaht tugevatoonilist vinjetti. Kõik joonised, erinedes oma faktuuri poolest, on küllastunult läbi imbunud kaasaegse „Laekuri naise“ ajastust; ainsaks puuduseks, mida võiks märkida selle väljaande puhul, on pildimaterjali teatav kehvus.

1932. a. ilmus Riias A. Jubatovi väljaandel väike, kuid meeldivalt kujundatud väljaanne: poem „Roimar“ läti graafikakunstniku N. V. Puzõrevski puugravüüridega. Raamat ilmus kõigest neljakümnes eksemplaris ning jäi tundmatuks laiemale lugejate massile. Poem on kaunistatud M. Lermontovi portreega ja kahe gravüüri eri lehtedel.

Vene klassikute teoste hulgas, mis hulgaliselt välja anti Saksamaal inflatsiooni ajal seentena tärnanud kirjastuste poolt, on vähe Lermontovi teoseid.

Väärrib märkimist poemi „Tamara“ peaaegu luksuslik väljaanne, mis ilmus 1923. a.

„Tirrema“ kirjastusel 150 suurekaustalises eksemplaris. Kunstnik M. Lagorio gravüürid on tehtud hooletult, evivad formalistlikku ilmet ja neil puudub tähtsus Lermontovi teksti saatena. Väljaandes on 6 gravüüri terve lehekülje ulatuses ja 6 vinjetti.

Tagasihoidlikum ja ühtlasi kunstipärasem ilme on 1922. a. „Orchos-Verlag“i kirjastusel ilmunud romaanil „Meie aja kangelane“, tõlgitud saksa keelde A. Lütheri poolt. Teos on illustreeritud V. Masjutini puugravüüridega. Gravüürid on tehtud peaaegu vahetult pärast kunstniku lahkumist Nõukogude Liidust, kui ta oli Favorski tugeva mõju all, millele lisandub saksa ekspressionismi kaasmõju. Pildid on tulvil tegevust, joonte kompositsioonis on sujuvust ja omapärast rütmi, kuid nende formalistlik laad ei loonud Lermontovi „Meie aja kangelasele“ adekvaatseid illustratsioone.

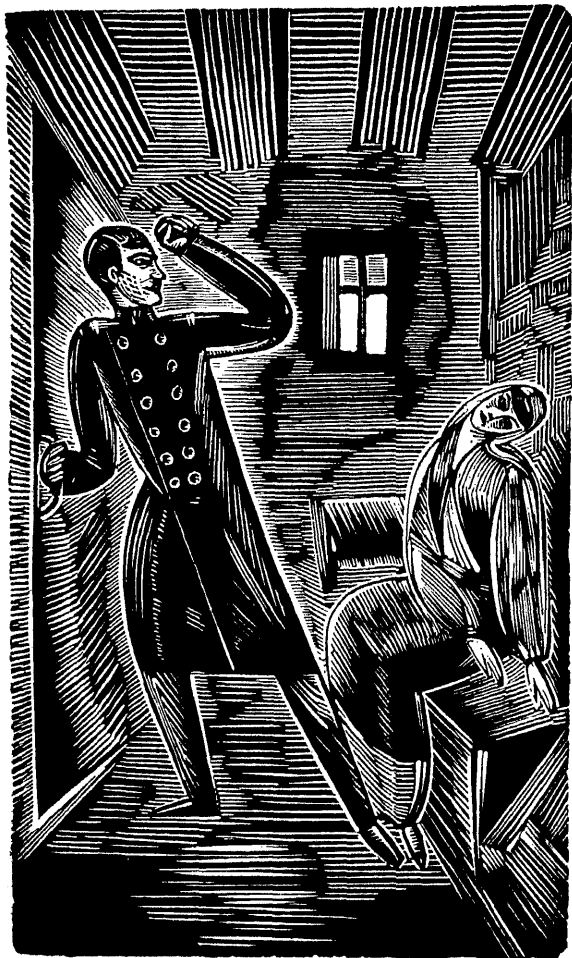
Kirjeldatud väljaanded on neiks väheseiks, mida nende ridade autor võib kirjeldada *de visu*. Ent on valmistamisel terve rida kunstilisi väljaandeid Lermontovi 100. surma-aastapäevaks, mida tähistatakse käesoleva aasta juulis. Leningradi Nõukogude Kunstnike Liit valmistab kunstnik Hinsinski autolitograafiate albumit kahes värvis. Lermontovile pühendatud album sisaldab 16 litograafia-poognat lisaks tekstile.



N. Puzõrevski



M. Lagorio



Leningradi kunstnike kollektiiv valmistab puugravüüride albumit Lermontovi teoseile „Meie aja kangelane“ ja „Mtsõri“ ning lisaks sellele kollektiivset autolitograafiate albumit Lermontovi teoseile, kusjuures kunstnikele on antud täielik vabadus teema valikul.

Kõneldes Lermontovi teoste illustreerijaist, pole ülearune märkida, et suure vene poedi üks parimaid säilinud portreid on tehtud eesti kunstniku Aleksander Klünderi poolt. Kunstnik Klünder tegutses Peterburis edukalt portreemaalijana ning miniaturistina. Eriti õnnestusid tal akvarellid, mis paistsid silma väljatöötuse harukordse täpsuse ja korralikkuse poolest.

Lermontovi surma-aastapäev kutsub kahtlemata esile terve rea uusi illustreeritud väljaandeid, mis täiendavad väheseid varem illustreeritud teoseid.

JULIUS GENSS

U. Masjutin

KUNSTIDEKAADI EELVÕISTLUSE PUHUL TALLINNAS

Selle aasta varakevadel valitses Tallinna eesti teatrielus mõnda aega isesugune pinev ning elevusrikas õhustik. Vaevalt on midagi säärast kogetud isegi eesti kutselise teatri rajamise päevil. Ei võisteldud enam individuaalsete loorberite pärast, vaid suures ühises ürituses, ENSV noore sotsialistliku ning rahvusliku teatri omailme viimistluses ning demonstreerimises. Rida esietendus-õhtuid andis ülevaate saavutustest, millede najal tuleb välja kujundada ENSV sõnalavastusteatri esinemine tulevasel eesti kunsti dekaadil Moskvas, Nõukogude Liidu rahvaste ühises pealinnas.

See ülevaatus August Kitzbergi kahe näidendi lavastustest pakkus erakordselt palju huvitavat ning meelde jäävat teatrikülastajale ning rikastas teatreid endid kindlasti väärtuslikemate kogemustega. Otsene valiku tulemus oli aga paraku kompromissiline, esialgset laadi, nii et alles tulevases töös peab antama lõplik kuju meie klassikalise rahvusliku draama dekaadilavastusele. Lahtiseks on jäänud koguni tekstilisi ja olulise tähtsusega sisukujunduslikke küsimusi. Nii igatahes peaks mõistma dekaadikomisjoni otsust võtta „Libahundi“ dekaadilavastuse aluseks „Eesti Draamateatri“ konseptsioon ja arvestada seejuures sama draama lavastuste erijooni „Estonias“ ja „Vanemuises“. Kitzbergi rahvatükk „Püvetalus“ aga, mille esitamiseks eesti teatril on võib-olla enam traditsiooni kui ühegi teise näidendi jaoks, jäi dekaadikavast päriselt kõrvale. Põhjuseks küllap on see, et „valla vanema“-tüüpi taluomanikku idealiseerivad elemendid ses näidendis ei lase end kõrvaldada ilma teose lavalise mõju olulise kahjustamiseta.

Ses ühenduses kerkib üldse üles küsimus eesti nõukogude teatri suhtumisest Kitzbergi lavateostesse. Kahtlemata on Kitzberg eesti kirjanduse, teatri ja kogu kultuuri arengu seisukohalt klassik, ja seejuures rahvalähedane klassik, mitte romantismi ja valeklassitsismi epigoon enamiku läinud sajandi eesti kirjanike kombel. Muidugi, üsna tuntavad idealistlikud ja natsionalistlikud-„eduerakondlikud“ seisukohavõttud, mis kahjustavad eriti 1905. aasta draamat „Tuulte pöörises“, rikuvad Kitzbergi klassika tarvitatavust vähimalt sääraseks ots-tarbek, nagu on sotsialistliku Eesti teatrikunsti esitamine dekaadil sotsialismimaa pealin-nas. Kuid lähemal vaatlusel ei saa jätta tunnistamata, et Kitzbergi „eduerakondlus“ on õige pinnaline ja vähese sisulise tähtsusega ta kunstnikuvõimete ja sügava inimestenägemise kõr-val. Näiteks „Tuulte pöörises“ arvab Kitzberg end kohustatud olevat pooldama Kaarli revolutsioonivaenulist, väikekodanlikku idealismi, kuid ta on selle poolduse esitanud kire-tult, ilma veenmisjõuta, kuna samas Jaani revolutsioonilised tungid ning võitlus oma eluliste õiguste eest kisuvad ülevõimukalt kaasa niihästi autori kui ka lugeja. Samataoline on „Liba-hundis“ lugu vanaema „rassiteooriaga“ ja alistumise soovitusena pojapoeg Margusele, kes kõigub Tiina vabadusvaimu ja orjatradsioonide vahel. See tark vanaema ei ütle, et alistu-mine on õige; ta peab seda vaid paratamatuseks antud juhul. Ei või ka ütelda, et isegi ajal, kus mõisa võimu vastu võitleva eesti pärisperemhe idealiseerimine oli peaaegu endast-mõistetav, Kitzberg oleks oma Püve Peetri hallparunlikkust idealiseerima läinud. Jalaka-Jaani jutustus oma kibedaist sulasepõlve kogemustest on siin antud igatahes hoopis teis-suguse sümpaatiaga kui poemeeste-mõldrith, nende algavate kapitalistide, tuleviku-unistused.

Kitzbergi tegelased, eriti ta sümpaatsed kujud, on alati suuremad ja sügavamad kui need üksikud sõnad ja mõtted, mida nad parajasti kõnelevad. Tavalises ajakajalises näite-kirjanduses kipub aga asi olema otse vastupidine! Kehvas „tehtud“ lavateoses on tegelane lookas oma suurte sõnade ja probleemi all, kuna aga Kitzberg ei tarvitse i-dele üldse punkte peale panna, ei tarvitse lasta deklameerida neid tõesid, mis on ilmsesti antud teema põhi-käsitusega ja tegelaskarakterite vahekordadega, lõppeks teose kogu õhustikuga. Seepärast kõlasid lausa liigsetena näiteks need Marguse sõrmega-näitavad seletussõnad, milledega „Draamateatri“ lavastuses „Libahunt“ lõpetatakse.

Ei saa lahti muljest, et samataolisi „üleparandamisi“ on juhtunud enamgi „Draama-teatri“ esialgses „Libahundi“ lavastuses, hoolimata sellest, et parandusmaterjaliks on kasu-tatud aina autori enese varasemaid redaktsioone. Sellele on arvustus juba korduvalt tähele-panu juhtinud nii üldsõnaliselt kui ka üksikasjalisemalt. Mõisameeste ja kupja sissetoomine

jaanitulevaatuses näib olevat otsustatud asi, ja õieti pole palju põhjust selle vastu vaielda, kuigi selle vaatuse senine väline kujundus „Draamateatris“ vastab vähemgi dekaadil esinemise nõuetele kui sama pilt „Estonia“ standard-tekstilises lavastuses. Igatahes avardab see oluline muudatus eriti võõra vaataja silmis draama sotsiaalset alust, mis küll pole kuidagi hooletusse jäetud ka Kitzbergi lõplikus redaktsioonis. Kuid hädavajalik oleks kaaluda, kuidas lahti saada näiteks halvasti mõjuvast ja liigest kähistamisstseenist 2. vaatuse lõpul (siin on liigne ka see motiiv, et Tiina peab Marit ekslikult Marguse õeks), ja kuidas kõrvaldada ebavastavusi 4. ja 5. pildi vahel (näiteks on siin nõrgestatud Tiina ootamise põnevus 5. pildi alguses, jne.).

„Püve talu“ võistluslavastuses „Töölisteatris“ on redaktsioonilised muudatused piirdunud vaatuste osalise jaotamisega eri kohis ja eri aastaaegadel mängivaiks piltideks; mõnes punktis on taoteldud ka sisulist uuestitõlgitsust senise teksti najal. Välise, dekoratiivse külje elustamine ning ilustamine ühes vanade mardi- ja pulmakommete sissetoomisega, nagu „Estonia“ ja „Draamateater“ on „balletlikuks“ kujundanud ka „Libahundi“ jaanitulevaatuse, oli kahtlemata õnnestunud. Paraku ei saa seda täiel määral ütelda muudatuste kohta, mis seisnevad selles, et on näidatud Püve Peetrit oma tütreid meheleminemisele sundivana ja tütreid sellest õnnetutena, õieti vaid ajutiselt löödutena. See miimikas ja hääles väljenduv ümbertõlgitsus ei sobinud täielikult tekstiga ja kahjustas paaris pildis tütarde kolmiku mänguvõimalusi, andmata ometi midagi olulisemat või selgemat „hallparunlikkuse“ iseloomustamiseks.

Erilise huvitavuse andis „Libahundi“ ja „Püve talu“ lavastustele kolmes Tallinna teatris see asjaolu, et iga trupp esines olulisemais osades kahe koosseisuga („Estonias“ dubleeriti küll ainult Tiina ja vanaema osi). Nägime nelja Tiinat, nelja vanaema, kolme Margust, kahte Püve-Peetrit ja Jalaka-Jaani jne. Ei või siiski ütelda, nagu tundunuks mõni koosseis oma tervikus vaieldamatult kohasena meie lavakunsti demonstreerimiseks Moskvast. Üllatavate üksikaavutuste kõrval pidi ikka jälle kahju tundma mängulistest ning tõlgitsuslikestki puudujääkidest ühes või teises punktis, koguni terveis osades. Pole küll midagi ebaloomulikku või masendavat selles, et meil ei näi esialgu leiduvat Tiinat, kelle mäng kõigis eriilmelistes stseenides ühesuguselt rahuldaks. Selles osas vajalik tunnete skaala ja temperamendijõud on igatahes erakordsed; neid pole üldse võimalik endastmõistetavalt nõuda. Ometi pole „ehtne Tiina“ ka mingi võimatus; eesti teatris on praegustest tugevamaid nähtud. See fakt ühes „Libahundi“ dekaadilavastuse ümber tekkinud keerukate küsimustega kipub tõendama, et meie teater pole oma klassikas paraku mitte täiel määral kodus. On armastatud rõhutada, et „eesti näitleja kasvab ainult eesti repertuaari najal“, kuid on kõrvale hoitud kõige nõudlikumaist ja ühtlasi tänuväärsemaid ülesandeid omarepertuaari alal. On liigutud nõrgema vastupanu suunas. Dekaadilavastustel jälgitud arvustuseski kippus kahe silma vahele jääma üsna olulisi puudusi „Libahundi“ üksikute tegelaste tüübistuses mõlemas võistlevas teatris. Praegu ei näi olevat põhjust üksikute „süüdlaste“ nimetamiseks osatäitjate ja näitejuhtide seas, kuid äärmisele nõudlikkusele kutsuda pole kunagi liigne — ei ühiskonna ülesehitustöös ega eriti mitte kunstide alal, kus puuduste leidmiseks ei piisa just tollilpulgaga mõõtmisest¹.

H. PARREST

¹ Toimetus ei jaga kõigis H. Parrest'i arvamusi, kuid arvestades eeloleva dekaadi tähtsust, avaldab käesoleva artikli, et virgutada sõnavõtte ja arvustuse avaldamist.

TÖÖTAJATE OLUKORRAST PRANTSUSMAAL

Vaherahu tingimused asetasi Prantsusmaa erakordselt raskesse olukorda. Sõda tõi kaasa suuri purustusi Prantsusmaa territooriumil ja rikkus majanduse normaalse funktsioneerimise. Majandusliku desorganisatsiooni tingimustes tõuseb Prantsusmaa ette täies teravuses tööpuuduse probleem. Tööstusminister René Belain ütles pärast vaherahu sõlmimist, et peamisteks küsimusteks, millega valitsusel tuleb tegemist teha, on tööpuudus ja — gasoliin.

Pariisi kesk-tööstusbüroo andmetel oli Prantsusmaal 1940. aasta oktoobris 1 100 000 töötut; raudtööstuses ja masinahituses oli töötute arv 300 000, nendest tunduv osa autotööstuses; õmblustööstuses oli töötuid 500 tuhat, kaubanduses 100 tuhat jne. Pool kõigist töötuit langeb Pariisi piirkonnale.

Pariisis oli tugevasti arenenud sõjatööstus; pärast relvastuse tootmise lõpetamist tuli sel tööstusharul põhjalikult ümber korralduda. Palju töötuid on ehitustööstuses, õmblustööstuses, kalandus- ja eriti panga-, aga samuti ka kindlustusettevõtete ja ametnike hulgas. Hulk majateenijaid on jäänud tööta.

Kõnelemata sellest, et ametliku statistika andmed on ilmselt vähendatud, nad ei võta arvesse osaliselt töötuid (ja neid on Prantsusmaal praegu palju) ja töötuid välismaalasi. Ometi oli 1939. aastal Prantsusmaal umbes 2 miljonit välismaalast. Kaksikümne protsenti nendest tegelesid kaubandusega, 60% olid ehitustöödel, ülejäänud tegelesid põllumajanduses. Kui võtta arvesse välismaalased ja need, kes ei tööta kõigil tööpäevadel nädalas, siis on töötute arv 2—3 korda suurem sellest, mida näitavad ametlikud andmed.

Töötud saavad närust toetust. Näiteks Seine'i departemangus saab perekonnapea kahteist franki päevas, asulates rahvaarvuga üle 15 000 — 10 franki päevas, asulates 5000 elanikuga — 8 franki ja teistes asulates 7 franki, s. t. ainult natuke rohkem kui tööliste tunniteenistuse, mis enne sõda oli 8 franki.

Töötud on kohustatud toetuse äravõtmise ähvardusel vastu võtma iga pakutud töö.

Tööpuuduse vastu võitlemise eesmärgil andis Vichy valitsus välja dekreete, mille järgi ettevõtjad on kohustatud tööle palkama neid demobiliseeritud, kes varem nende juures töötasid. Peale selle kõik tööstus- ja kaubandusettevõtted, kus alaliselt töötab üle 10 inimese, ja samuti kõik põllumajanduslikud ettevõtted, kus töötab üle 15 inimese, on kohustatud andma tööd määratud arvule demobiliseerituile. Selle korralduse mittetäitmise eest on määratud trahv.

Prefektidele on antud õigus lühendada tööpäeva pikkust ettevõtetes võimalikult suuremale tööliste ja teenijate hulgale töö võimaldamise eesmärgil.

Üheaegselt sellega on Vichy valitsus tõstnud üles loosungi töö ühtlasest jaotamisest kõigi prantslaste vahel: „Igas perekonnas mitte rohkem kui üks töötaja!“ Valitsus on asunud arvukate töölikatgoriate töölt väljasulgemise teele. „Journal Officiel“is on avaldatud dekreet kõigi üle 65-aastaste ametnike pensionile saatmise kohta.

On antud välja seadus, mis piirab naiste tööd. Abielus olevatel naistel on keelatud teenida ühiskondlikes ettevõtteis. Abielus olevad naised vallandatakse töölt ja viiakse üle pensionile. Vallalised naised, kes töötavad eraettevõtteis, võivad saada 10 000 franki ühekordset toetust, kui nad loobuvad tööst. See seadus, mis võtab naistelt õiguse tööle, on maskeeritud eesmärgiga „kergendada naiste tagasipöördumist kodukolde juurde“.

Valitsus, visates naised ettevõttest välja, proklameerib loosungit „Isamaa, perekond ning töö“ ja nõuab, et naine teeks oma elu peaesmärgiks lastesünnitamise ning kasvatamise.

Ühel ajal sellega prantsuse ajakirjandus alustas suurt kampaaniat „kõrvaltööde“ vastu. Ajaleht „Eclairer“ teatab, et valitsus on keelanud täiendavate tööde tegemise võimude nõusolekuta. Vastuvõetud seaduse põhjal on teenijatel kaubanduses ja tööstuses õigus teha maksulisi töid ainult oma erialal ja kindlaksmääratud hulgal. Selle seaduse rikkumist karistatakse kõrge trahviga. Erandina on „metsik“ töö lubatud teaduse, kirjanduse ja kunsti alal.

Lõpuks püüab Vichy valitsus osa töötuid linnadest maale ümber asutada. „Prantsusmaa“, kuulutab valitsus, „peab saama selleks, mis ta on alati loomu poolest olnud, — agraarmaaks.“ Ühenduses sellega populariseerib valitsus laialt loosungit „tagasi maale“, lootes meelitada töölisi väikeperemeesteks-eramaanikeks saamise perspektiiviga.

Kuid kõik need Vichy valitsuse poolt rakendatud vahendid on andnud tühiseid tulemusi.

Mis puutub töötasudesse, siis selle kohta annab ajakirjandus materjale napilt. Kuid üksikud andmed annavad tunnistust töötasu järsust langusest. Nõnda teatab „Nachrichten für Aussenhandel“ (10. XII 40), et „ikka enam ja enam tuleb kaebusi madala töötasu pärast, kaebusi selle kohta, et reaalteenistus on äärmiselt madal“.

Reaalteenistuse suurus on tihedasti seotud tootlusprobleemiga. Sõda, põldude laastamine, kehv saak, saagi täielikuks kogumiseks võimaluste puudumine — see kõik on vähendanud miinimumini Prantsusmaa toidutagavarad. Sellele tuleb juurde lisada veel kariloomade arvu järsk vähenemine.

Toiduainete puudus annab ennast tunda juba ammu. Richard Alleen, „Punase Risti“ saadik, teatab, et „seisukord Prantsusmaal on praegu raskem kui Belgias pärast Maa-ilmasõda“. Ja seisukorra halvenemine kestab edasi. Maa jaotamine kaheks osaks annab ennast halvasti tunda elanikkonna toiduga varustamisel. Seisukord halveneb veelgi enam seetõttu, et Prantsusmaa on isoleeritud oma kolooniaist ja muust maailmast. Inglise blokaad võtab võimaluse kaupade juurdeveoks Prantsusmaale. Sügisel juba seati sisse ühtlased tarbimismõõdud niihästi okupeeritud kui ka okupeerimata aladel; leiba — 350 g inimese kohta päevas, jahusaadusi 250 g kuus, riisi — 100 g kuus lastele, rasvaineid — 100 g nädalas (tähendab 5,2 kg aastas, kuna enne sõda tarvitati rasvaineid keskmiselt 17 kg aastas inimese kohta), seepi — 125 g kuus. Piima antakse ainult lastele ja haigetele. Neid norme on vahepeal veelgi kärbitud.

Otsides pääseteid raskest seisukorrast propageerib Vichy valitsus igasuguste asendite, surrogaatide tarvitamist.

„Journal Officiel“ avaldas korralduse restoranide töötamise kohta. Määrati kindlaks nimestik toitudest, mida on lubatud serveerida. Nõnda näiteks on lubatud anda igale külastajale vastava kaardi põhjal ainult üks liharoog, mis sisaldab maksimaalselt 90 g liha.

„Mitte kunagi varem pärast 1870. aasta näljajärgi pole olnud Pariisis nii raske toiduaineid saada kui praegu,“ kirjutab „Japan Advertiser“. Nii koore- kui taimevõid on kadunud müügilt, samuti juust, munad, kohv. Riisi, makarone, piima ja šokolaadi saab suure vaevaga pika sabasseismise järel. Iga asja peale on praegu sabad.

Fikseerida normid paberil ei tähenda veel nende saamist elanikkonnale kindlustada. Kaugeltki mitte kõike, mis kuulub normide hulka, pole võimalik saada. Siit kolm järeldust: 1) pikad toiduainete sabad; 2) hindade tõus; 3) spekulatsioon.

Valitsus on fikseerinud kindlad hinnad, kuid see omakorda on toonud kaasa mõningate kaupade täieliku kadumise müügilt ja meeletu spekulatsiooni.

Majandusliku laostumise, töötaolu ja toiduainete puuduse tingimustes on eriti raske noorsoo olukord. „Effort“ kirjutab, et praegu Prantsusmaal 400 000 noorel mehel 17 kuni 21 aasta vanuses pole tööd ega tegevust ega lootust töö ning tegevuse leidmiseks. See arv ei iseloomusta kaugeltki täielikult tööpuuduse ulatust noorsoo hulgas, sest siia hulka pole arvatud töötuid noori tüdrukuid, kelle huvisid valitsus kavatseb piirata „perekonnarõingiga“.

Kõige tarviliku terava puuduse juures tuleb rahval hoolitseda oma omaste ja sugulaste — sõjavangide eest.

Prantsuse rahva olukorda iseloomustab kõige ilmekamalt teade, et üks tuntud ameerika arstiteadlane on sõitnud Prantsusmaale selleks, et uurida alatoitluse mõju inimese organismile!

Töölisklassi ainelise olukorra halvenemisega käib käsikäes reaktsiooni pealetung ja töölisklassi organisatsioonide likvideerimine.

Valitsus on laiali saatnud üldise töö konföderatsiooni. On teada, et konföderatsiooni liidrid proklameerisid oma solidaarsust Prantsusmaa praeguste juhtidega. Kuid Vichy valitsus nähtavasti põlnud kindel, et konföderatsiooni liidrid suudavad endaga masse kaasa tuua, ja eelistas üldise töö konföderatsiooni laiali saata.

Prantsusmaa kommunistlik partei — prantsuse rahva õiguste ja nõudmiste tõeline kaitsja — on tänapäeval ainsaks parteiks, mis jätkab võitlust rahva huvide eest rasketes põrandaalustes tingimustes. Prantsuse ajakirjandus on täis teateid kommunistide tegevusest. Juba kommunistide hulgaliste areteerimiste fakt kõneleb partei aktiivsest tegevusest.

Ülireaktsiooniline „Gringoire“ kirjutab, et Prantsusmaal on taas elustatud kommunistlikud organisatsioonid. Nad käivad koos salaja. Liiguvad ringi illegaalsed lehekesed „Humanité“.

Toulouse'is ilmuv ajaleht „Depeche de Toulouse“ teatab, et kommunistliku propaganda üheks keskuseks on Toulouse. Siin levitatakse öösiti agitatsioonilisi lendlehti. Mitmes kvartaalil on levitatud „Releve'i“ ja „Humanité'd“.

Seine'i departemangu prefekt André Grizoni on ütelnud: „Paljud agitaatorid on kvalifitseeritud töölised, keskmisest kõrgema haridusega, midagi intelligentide taolist. Peame jälgima nende liikumist, et hoiduda rahvarinde režiimi kordumisest.“

Kõik see tunnistab, et prantsuse rahvas ei kavatse leppida raske majandusliku ja poliitilise olukorraga, millesse ta on tõuganud prantsuse buržuaasia, ja et prantsuse rahvas on valmis võitlema oma eluliste huvide eest.

P. VIIDING

M. GORKI: OKUROVI LINNAKE

(„Ilukirjandus ja Kunst“. Tartu, 1941)

Soode vahele lükitud maakonnalinn Okurov oma mandunud elanikkonnaga — see on tsariaegne Venemaa. Okurovlased arutavad sageli ülevenemaalises ulatuses. Ühesilmaline Tiunov, kes on teoses kõige kaugemale küündiva pilguga tegelane, arendab järgmist mõtet:

„Mis seal's on — Venemaa? Riik on ta kahtlemata maakondlik.“ Ja tsariaegse Vene maakonnalinnade rahvast M. Gorki iseloomustab nii: „See koosneb inimestest, kes tegutsevad joomisega, kaardimänguga ja misantroopiaga.“

Sääraast väherõõmustavat seltskonda kujutab M. Gorki „Okurovi linnakeses“, taustaks Jaapani sõda ja sellele järgneva revolutsiooni mõningad Okurovisse ulatuvad lainetused. Linn ja tema elanikkond jagunevad kaheks, Jõeäärseks ja Jõetaguseks. Ühel pool me näeme tolleaegse Venemaa linnakodanikke, ametnikke ja haritlasi, teisel pool vaeseid inimesi. Aga nii siin kui seal valitsev rumalus on üldiselt siiski jagamatu. Sõjaväeülem Pokivaiko põlgab skeptitsismi ja arvab, et parem elada püksata kui skeptitsismiga. Arst Rjahhin ja maksuinspektor on rikutud inimesed. Jõetaguse esindaja Burmistrov ja teised on julmad kaklejad. Burmistrov peksab inimesi, ilma et ta sellest rõõmu või headmeelt tunneks. „Paradiisis“, kus mõlema linnaosa esindajad käivad, haritlased laulavad niivõrd ropppe laule, et see isegi lõbunaises Lodkas vastikust äratav. Kuid Sima Devuškin, luuletäjalihhtmees, unistab puhtast luulest, mis oleks nagu palve. Ja mitte arst Rjahhin või mõni teine parema seisuse inimene, vaid Tiunov Jõetagusest on jõudnud arusaamisele, et tarvis on elada armastusega millegi vastu, „sest ilma armastuseta ei ole elu“.

Sima Devuškin, Tiunov ja Tšetõhher — need on inimesed, kellele Gorki on pannud oma lootused tsaristliku Venemaa pimeduses. Nende lihtsate inimeste päralt oli M. Gorki armastus ajal, mil isevalitsus väsimatult töötas selleks, et Venemaale lüüa peale kitsavõitu raudvitsa. K. E.

Vastutav toimetaja A. Hint. Kunstiosa toimetaja B. Lukats. Toimetuse sekretär E. Krusten. Väljaandja ENSV Hariduse Rahvakomissariaat. Kirjastaja RK „Pedagoogiline Kirjandus“. Toimetuse kolleegium: A. Jakobson (ilukirjandus), M. Laosson (marksism-leninism), K. Taev (kirjandusteadus ja NSVL kirjandus), A. Vaarandi (Lääne-Euroopa kirjandus), I. Käspär (kunst), A. Kolli (arhitektuur). Toimkond: A. Alle, N. Andresen, A. Anson, A. Bach, J. Barbarus, J. Genss, A. Johani, M. Jürna, H. Haberman, P. Keerdo, J. Kärner, J. Lauristin, N. Ruus, R. Sirge, A. Uibo. Toimetuse ja talituse aadress: Pärnu mnt. 10, k. 1. Toimetuse telef. 411-34. Talituse telef. 412-18. Ladumisele antud 16. mail 1941. Trükki antud 27. mail 1941. Trükipoognaid 11,5. „Ühiselu“ trükk, Tallinn, 1941. Tellimise nr. 1517. MB-6095. Tiraaž 10.000.

Журнал „Вийскурк“ — на эстонском языке. Ответственный редактор: А. Хинт. Редактор художественного отдела: Б. Лукатс. Секретарь редакция Э. Крустен. Издатель: Нарком просв. ЭССР. Государственное издательство „Педагогическая литература“. Сдано в набор 16 мая 1941 г. Подписано к печати 27 мая 1941 г. Печати. лист. 11,5. Напечатано в типографии „Охисэлу“, Таллин. 1941 г. Зак. № 1517. MB-6095. Тираж 10.000.

LAURISTIN, J.	„Viisnurgale“ EK(b)P-lt	7
LUKATS, B.	Kunstiküsimusi	150
”	Staronossov	181
MARX, ENGELS	Kunstist	193, 303
MIHKLA, K.	Joh. Barbaruse kujunemisaastad	56
NEUMANN, M.	Nõukogude skulptuur	43
NÕVA, E.	Rahvakorteri sisustusest	167
PARREST, H.	August Alle satiirikuna	63
”	„Džangarit“ lugedes	298
RAAM, V.	Eesti NSV kunstimuseumidest	78
”	Jaan Koort	272
REUŠ, M.	Kapitalistlike maade intelligents uute teede otsingul	437
SARV, M.	Põhinõudeid rahvakorterite kavandamisel	292
SEMJONOV, V.	Vene NFSV draamateatrid	401
SEREBRJANSKI	Ilukirjandus VNFSV-s	390
SIPSAKAS, A.	Elagu suur sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon!	211
”	Valime NSVL Ülemnõukogusse parimad Eesti töörahva pojad ja tütreid	325
ŠUMAKOV, J.	Mihhail Šolohhov	159
ZOSTŠENKO, M.	Taras Ševtšenko. Katkend eluloost	487
TAEV, K.	Vulgariseeritud marksism kirjandusteaduses	81
TARSIS, V.	Nõukogude Ukraina kirjandus	504
VARES, JOH.	Viisnurgale ENSV Valitsuselt	8
Toimetuse poolt NSVL Kirjanike Liidu, „Rodina“ jt. kogu- ja üksikteoste andmeil koostatud:		
	Kirjanduslike kaardrite kasvatamine NSV Liidus	115
	Prof. Nikolai Triigi mälestuseks	88
	Ukraina NSV	467
	Ukraina rahvakunstist	495
	Vene Nõukogude Föderatiivne Sotsialistlik Vabariik	340

RINGVAADE

AAVASAAR, E.	Eve Curie: Minu ema Marie Curie	313
A(AVASAAR), E.	David Bergelson	316
”	Martin Andersen-Nexö autobiograafilisest teosest	542
LUKATS, B.	Reproduktsoonide puhul kunsti sügishäitusest	541
PARREST, H.	Nõukogude Eesti teatriite esimene sügishooaeg Tallinnas	535
ŠUMAKOV, J.	J. German ja Bjalik Tallinnas	207
Š(UMAKOV), J.	Mälestusi Leo Tolstoi majast	429
T. T.	PBML teater 10 a. juubeli eel	310
VAARANDI, A.	Andersen-Nexö — Taani Gorki	89
”	Knut Hamsun — natsist	93
”	Bernard Shaw'le suukorv pähe	95
VARIKA, A.	Ülevaadet läti kirjandusest	430

Toimetusele tulnud andmeil:

Edouard Vuillard	201
Henri Barbusse viis aastat surnud	204
Kalmõki rahvuseepose juubel	206
Kiri Moskvast „Viisnurga“ toimetusele	318
„Looming“ (oktoober)	431
„ (november)	544
Mida arvab lugeja „Viisnurgast“ — F. Purro ja L. Sillart	319
Mida arvab lugeja „Viisnurgast“ — J. Helsblum	432
Mida arvab lugeja „Viisnurgast“ — E. Küla	544
Miks pooldan Nõukogude Liitu — M. Andersen-Nexö kiri „Nyt Land'ile“	203
MOPR	318
Mustlaste kirjandusest	317
Nõukogude Liidu kaitsjate teater hooaja avajana Tallinnas	199
Usuvastane liikumine Nõukogude Liidus kasvab ja kannab vilja	312
Võistlused kunstnikele	96
„Üksinduse“ autor Tallinnas	318

REPRODUKTSIOONID

ADLEN, M.	416/417
ANDREJEV, N.	72/73
AREN, P.	536/537
BRODSKI, J.	392/393
DEINEKA, A.	408/409
DEREGUS, T. G.	488/489
GAPONENKO, T. G.	408/409
GERASSIMOV, A. M.	392/393
GONTŠAR, I.	496/497
GRINEV, A.	144/145
GRÜNBERG, J.	528/529
HAAMER, E.	536/537
HOIDRE, A.	128/129
JAKOVLEV, B. N.	416/417
JARMUHHAMEDOV, A.	384/385
JEFIMOV, I.	32/33
JOHANSON, B.	392/393
JÖESAAR, E.	536/537
KASSIAN, V. I.	488/489
KELINOV, G. I.	56/57
KITS, E.	368/369, 528/529
KOORT, J.	272/273, 288/289, 304/305
KRAVTŠENKO, A. I.	356, 473
KULL, N.	144/145
LEBEDEVA, S.	72/73
LIIMAND, K.	112/113
LIPHART	224/225
LJUBIMOV, K.	384/385
LJUBIMSKI, A. P.	412/413
LUKATS, B.	520, 523, 524, 525, 530, 533, 534
LUTS, K.	128/129
MERABIŠVILI, K.	48/49
MIKO, L.	112/113
MUHHINA, V.	32/33, 72/73
MÄTIK, E.	160/161
PAVLENKO, G.	512/513
PAVLOV, I.	342, 355, 356
PEHAP, E.	536/537
PETROV-VODKIN, K. S.	408/409
PLASTOV, A.	408/409
PRÕIMATŠENKO, M.	596/597
RAUD, K.	144/145
REPIN, I.	224/225, 240/241, 256/257
RODTŠENKO, A.	416/417
SAHNOVSKA, O.	469

SAGRITS, R.	128/129
SAMPILOV, U. S.	384/385
SOKOLOV-SKALJA, P. P.	384/385
STARKOPF, A.	536/537
STARONOSSOV, P.	184/185, 343, 347, 350
ŠADR	48/49
ŠEVTŠENKO, T.	432/433, 471, 488/489
ŠVARTS, D.	56/57
TALDÖKIN, A.	416/417
TOMSKI	56/57
ULJANOV, N. P.	408/409
VASSILJEV, P.	1. lk. ees.
VIIRALT, E.	128/129, 144/145
VILENSKI, V. M.	56/57
VINOGRADOV, K.	16/17
VUILLARD, E.	184/185
VÕERAHANSU, J.	160/161

RAHVAKUNSTIST

UKRAINA	496/497, 512/513
VEENE	400/401

FOTOD

„Viisnurk“ nr. 1: Peasissekäik NSVL pm.-näitusele, näituse paviljon, Uzbeki NSVL paviljon, Gruusia NSV paviljon, Azerbaidžani NSV paviljon, Armeenia NSV paviljon, Kazahhi NSV paviljon, Kirgiisi NSV paviljon, Turkmeeni NSV paviljon, Leningradi oblasti paviljon, Ukraina NSV paviljon, kiosk Ukraina NSV paviljoni juures, mehhanisatsiooni paviljon öösel.

„Viisnurk“ nr. 2: Karl Marx (kriitpaberil).

„Viisnurk“ nr. 3: Friedrich Engels (kriitpaberil).

„Viisnurk“ nr. 4: M. Gorki (kriitpaberil), Jaan Tomp (kriitpaberil).

„Viisnurk“ nr. 5: Harkov. Tööstuskeskus, ukrainlannad. Kreml. Saadikukandidaadid NSVL Ülemnõukogu Liidu Nõukokku: Karl Säre, vr. 647, Vladimir Botškarjev, vr. 644, Johannes Vares, vr. 645, Johannes Lauristin, vr. 646. Saadikukandidaadid NSVL Ülemnõukogu Rahvuste Nõukokku: Juliana Telman, vr. 689, Feodor Okk, vr. 690, Jüri Nuut, vr. 691, Anatoli Konjaev, vr. 692, Heinrich Ansip, vr. 693, Olga Lauristin, vr. 694, August Jakobson, vr. 695, Jaan Neemsalu, vr. 696, Joann Ellam, vr. 697, Boris Kumm, vr. 698, Johannes Somson, vr. 699, Elfriede Piip, vr. 700, Enn Plekksepp, vr. 701, Johannes Kruusi, vr. 702, Oskar Sepre, vr. 703, Arnold Veimer, vr. 704, Ivan Savin, vr. 705, Alice Haberman, vr. 706, Voldemar Sassi, vr. 707, Viktor Kihno, vr. 708, Johannes Sommer, vr. 709, Erich Tarkpea, vr. 710, Nigol Andresen, vr. 711, Herman Arbon, vr. 712, Meeta Luhakõiv, vr. 713.

KAARDID

NSVL kaart	344
Vene NFSV kaart	345
Koola poolsaare kaart	349
Ukraina NSV kaart	475

REPRODUKTSIOONE „VIISNURGA“
1941. A. KUNSTIOSAST



S. Lebedeva

A. Stahhanov

„... Ilma teaduse, kunsti, kirjanduse ja kultuurita ei saa inimene olla inimene — ammugi sotsialistliku riigi kodanik.

Ajakirjal „Viisnurk“ on täita vabanenud eesti rahva ees suur ülesanne — kaasa aidata teaduse ja kunstide arenemisele ja neid levitada laidesse töötava rahva hulka.

Kaaskodanikud — meie kõigi kohus on olla „Viisnurgale“ abiks selles vastutusrikas töös — kaastöölisena, lugejatena, levitajatena ja arvustajatena. Selleks käed külge!

„Viisnurk“ saagu kogu rahva tõeliseks viisnurgaks — millelt ammutame ja millele anname.“

JOH. VARES

„Kommunist“ nr. 49 21. aug. 1940.

„... Vaadelda, uurida eesti rahva kultuurilist pärandit, esile tõsta sellest kõik väärtuslik, see on noore marksistliku ajakirja „Viisnurk“ peamisi ülesandeid.

Ent tähtsaim on teine ülesanne: hoolikalt jälgida kaasaegset eesti elu, luua kunstilisi teoseid unustamatuist sündmustest, mis arenevad praegu noores nõukogude vabariigis.“

L. TOOM

„Izvestija“ nr. 235 9. okt. 1940.



Lado Gudiašvili
Gruusia

Illustratsioon gruusia rahvuseepose
„Šota Rustaveli“ juurde

„...„Viisnurgas“ pole leigust ega laveerimist, vaid autorite ridadest õhkub julget revolutsioonilist kirklikkust, tahtmist ohtudele kokkumatult otse näkku vaadata ning rõõmsalt võidelda.“

ERNA AAVASAAR

„Sirp ja Vasar“ nr. 3 19. okt. 1940.



B. Nurali
Burjaat-mongoolia



Portree. Öli Mangussarov *Puuvillakorjajad*
Azerbaidžan



A. U. Mizin
Kirgiisia

Kirgiiside ülestõus 1916. a. Fresko



Kr. Raud

Rukkilõikus. Sõejoonistus

„Viisnurga“ vastutav toimetaja on A. Hint. Toimetuse kolleegiumi kuuluvad: A. Jakobson (ilukirjandus), M. Laosson (marksism-leninism), K. Taev (kirjandusteadus ja NSVL kirjandus), A. Vaarandi (Lääne-Euroopa kirjandus), B. Lukats ja I. Käsper (kunst), A. Kotli (arhitektuur). Toimkonda kuuluvad: A. Alle, N. Andresen, A. Antson, A. Bach, J. Barbarus, J. Genss, A. Johani, M. Jürna, H. Haberman, P. Keerdo, J. Lauristin, N. Ruus, R. Sirge, A. Uiibo.

Väljaandja RK „Pedagoogiline Kirjandus“. Toimetuse ja talituse aadress: Tallinn, Pärnu mnt. 10—1. Toimetuse tel. 411-34. Talituse tel. 412-13.

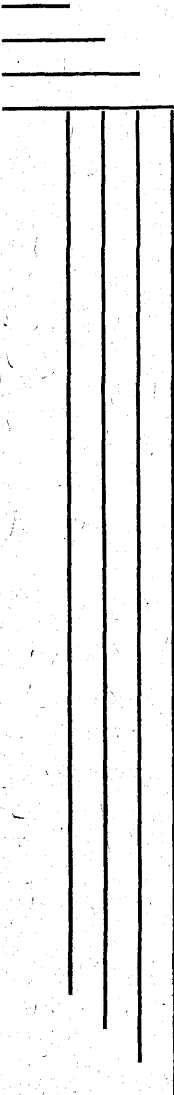
„Viisnurga“ tellimisi 1941. a. peale võetakse vastu igas Side(posti)asutuses, iga suurema käitise-ettevõtte juures koha peal selleks määratud isikute poolt ja „Viisnurga“ talituses Pärnu mnt. 10—1. Talituse telef. 412-13.

„Viisnurka“ ilmub aastas 12 numbrit. Aastatellimishind rbl. 30.—, mida võib tasuda ka kahes osas; poolaastas rbl. 15.—; kolmeks kuuks rbl. 7.50. Üksiknumber rbl. 3.—.

RK „Pedagoogiline Kirjandus“. Tallinn.

Trükikoda: „Ühiselu“, Tallinn, Pikk 42. Nr. 3109. MB-50. 25.000 eks.

Бесплатно. Первое издание. Госуд. Изд. «Педагогическая литература». Tallinn, 1940 г. Репродукция журнала «Viisnurk» за 1941 г. Рекламная брошюра журнала «Viisnurk» за 1941 г. На эстонском языке.



Ulevaateid ENSV ja NSVL lava- ja muusikakunsti arengust, kokkuvõtteid näite- ja helikunstnike elust ning tööst, lava- ja muusikakunsti teooriat ning praktikat sisaldab ENSV Kunstidevalitsuse väljaandel ilmuv illustreeritud kuukiri

TEATER JA MUUSIKA

Tellimishind aastas rbl. 17.—, poolaastas rbl. 8.50, veerandaastas rbl. 4.50. Uksiknumber rbl. 1.50. Tellimisi võtavad vastu: RKK MUUGIOSAKOND — Tallinn, Pärnu 10; RKK raamatukauplused, ajalehtede kontorid, postiasutused-sidekontorid ja RKK usaldusmehed.

Ar 941
Vishvak

HIND RBL. 6.-